

НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ



НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ



№ 5
2025

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ЭССЕИСТИКА

lulu

НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ

Литературно-художественный
альманах

№ 5

Берлин
2025

Главный редактор

Андрей Гущин

korypheusb@gmail.com

Редакционная коллегия:

Дмитрий Бобышев,

Елена Мордовина,

Олег Федоров,

Александр Моцар,

Александр Спренцис,

Татьяна Ретивова,

Борис Марковский

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются

ISBN 978-1-326-15408-0

© Новый Гильгамеш, 2025

© Лулу, 2025



9 781326 154080

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	7
--------------------	---

ПОЭЗИЯ

Владимир Порудоминский (<i>Кёльн</i>). Пернатый календарь	11
Дмитрий Бобышев (<i>Шампейн, Иллинойс</i>). Медитации	17
Александр Кабанов (<i>Киев</i>). Стихи из новой книги	23
Виталий Амурский (<i>Пуатье</i>). «Как бы платки, намокшие от слёз...» ..	35
Борис Фабрикант (<i>Лондон</i>). Ангелы без крыл	41
Алексей Зарахович (<i>Киев</i>). На внутренней поверхности реки	46
Григорий Вахлис (<i>Иерусалим</i>). Галилей	57
Дмитрий Близнюк (<i>Харьков</i>). Из книги «Зима свободы нашей»	68
Геннадий Кацов (<i>Нью-Йорк</i>). «Харон съязвит: “Куда плывём, сынок?”» ..	72
Андрей Гуштин (<i>Киев</i>). Реквием	88
Виктор Фет (<i>Хантингтон, Западная Виргиния</i>). Камень сна	96
Борис Херсонский (<i>Одесса</i>). Несколько видов Фудзи	108
Рита Бальмина (<i>Нью-Йорк</i>). Моя Одесса	114
Николай Караменов (<i>Александрия</i>). Вид из окна	128
Софокл. Антигона, второй и третий стасимы	
Перевод Григория Стариковского (<i>Нью-Йорк</i>)	130

ПРОЗА

Игорь Шестков (<i>Берлин</i>). Баккара	135
Сергей Пасюк (<i>Ганновер</i>). Киевресторантрест	147
Алла Дубровская (<i>Нью-Йорк</i>). Тиберий на Родосе	167
Александр Спренцис (<i>Киев</i>). Петроглифы	187
Наум Вайман (<i>Тель-Авив</i>). Ханаанские хроники. Архив пятый	193
Александр Моцар (<i>Киев</i>). Времена года	234
Елена Мордовина (<i>Киев</i>). 1996	249

ЭССЕИСТИКА

Борис Марковский (<i>Бремен</i>). «И реквиема медь...»	273
Ася Пекуровская (<i>Нью-Йорк</i>). «Двойная сессия»: тексты в текстах Дмитрия Бобышева	307

IN MEMORIAM

Владимир Наумец . Шляпа с полями	361
--	-----

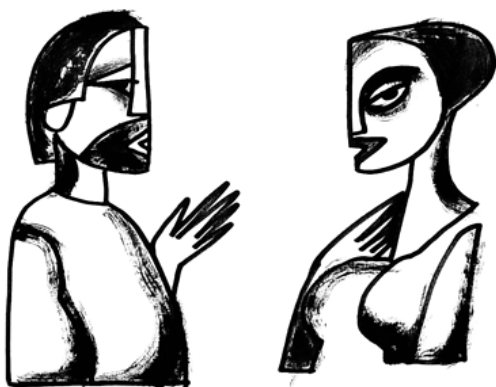
ИЗО

Андрей Гущин. Выставка	391
------------------------------	-----

ОТ РЕДАКТОРА

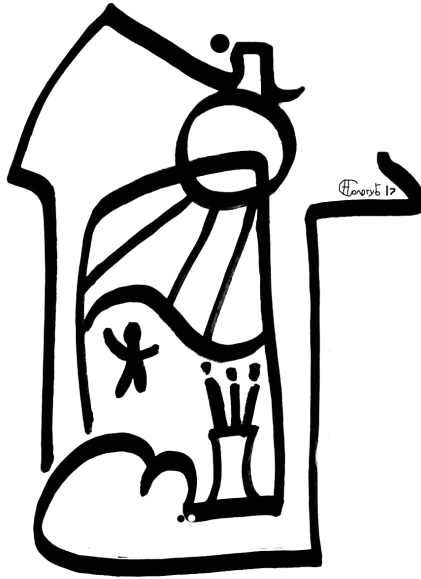
Войны затухают и вспыхивают вновь. А может, это просто — одна бесконечная Троянская война. Давно распался на части могучий, обитый медью деревянный конь, прах славных героев бережно собран и запечатан в элегантные погребальные урны. Кости иных истлели на диких берегах. Зато на новеньких с иголки цвинтарях только расцветают махровым цветом жёлто-голубые диковинные цветы. Их тяжёлые, как с похмелья, головы качаются на ветру.

Андрей Гуцин





ПОЭЗИЯ



Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ (Кёльн)

Птенцы гнезда Порудоминского

«Пернатый календарь» — новая книга Владимира Ильича Порудоминского, которому в этом году исполнилось 97 лет. В сборнике — верлибры, 75 прозо-стихов.

Книга легко читается. Но легкость эта — моцартовского толка, ей присуща та «неслыханная простота», о которой говорил Пастернак. Язык естественен и прозрачен, как вода: но не та, что в колодце, а та, что из драгоценного ключа Иппокрены. Или вино из кувшина мудреца, прожившего долгую жизнь и услышавшего аккорды столетия во всем его величественном звучании.

Все верлибры окрашены в меланхолично-прощальные тона — как бы взгляд ретро. В каждом из них глубина духовно-экзистенциального уровня. Потому что этот край времени — как перед обрывом: дальше — Вечность.

Стихи — как птицы, перепархивающие с ветки на ветку...

Возникают ассоциации с восточной поэзией — японской, китайской. В частности, с лирикой Масаока Сики, который считал, что «короткие стихи не могут передать течение времени, поэтому поэт-хайкаист изображает не время, а лишь пространство»:

*Устали глаза
любоваться цветением розы —
больной, я выбрался в сад...*

Изо дня в день больной поэт смотрит в окно и наблюдает один и тот же пейзаж. Но каждый раз он видит всё по-новому, так как каждое мгновение — как последнее озерцо, оставшееся от когда-то полноводной реки...

Лексика стихов не только проста и легка, но и единственно возможна — она неумолима и неотвратима.

Эта абсолютная убедительность находится за пределами чистой литературы. Для стиля этих верлибров характерен метод прямого высказывания — как в жизни. Иногда речь балансирует между чисто литературной и речью без зазора между языком и действительностью.

Само по себе прямое высказывание вещь рискованная, потому что легко впасть в натурализм и даже прозу. Поль Валери когда-то обронил: «Обнажённые мысли и чувства столь же беспомощны, как обнажённые люди. Нужно, стало быть, их облачить». Но в верлибрах Порудоминского мы видим руку Мастера. Тексты безыскусны, но не примитивны. Легки, но не легковесны. Фрагментарны, но не черновики. В них отражаются мгновения бытия, но они не случайны. Они подобны изящным арабескам, в которых мы видим узоры глубинных экзистенций, обусловленных самой природой Времени. В верлибрах слышен не только голос автора, но и звучание всего XX столетия во всей его трагической целостности.

На краю времени — какие красоты и метафоры? И какая литература? В преддверии Вечности игры закончились и уже невозможны, так же как и литературные эксперименты.

Голос автора ровный и элегически констатирующий: вот, скоро будет перевернута последняя страница!

Удивительна интуиция большого таланта в отношении чужой культуры в данном случае Японии:

*Вспоминаю Японию,
в которой никогда не был,
а есть ли другая — не ведаю...*

В этих строчках прозрение и тонкое понимание энигматичности древней цивилизации, двойственной природы ее культурных оснований: отсутствующее не менее важно, чем наличествующее.

Еще раз хочу подчеркнуть: сборник «Пернатый календарь» — выдающееся явление в современной литературе и духовный ориентир для вдумчивого читателя.

Александр Спренцис

Из книги «ПЕРНАТЫЙ КАЛЕНДАРЬ»

Дочери Маше

* * *

Клюй, птица,
клюй зерно на моём столе.
Прилетай...
Улетай...
Помечай мои дни,
пернатый мой календарь.

* * *

Читаю книгу справа налево.
От конца к началу.
Там маленький мальчик с чёлкой на лбу
и родителей рúки.
А дальше —
сотворение мира.

* * *

То ли море где-то шумит,
то ли соседка поёт свою песню,
то ли это просто чудится мне,
когда закрываю глаза.

* * *

Мой балкон...
Полуостров, вырастающий в сад...

Палуба корабля, плывущего
над волнами деревьев...
Объезжаю весь мир
в инвалидном кресле моём.

* * *

Дитя моё!
Майский ветер — прикосновение твоё...
Ты молчишь —
и я слышу, как в молчании твоём
переливаются моря...

* * *

Остались только портреты,
рубцы на сердце,
молчаливый покой
и надежда,
что ты меня ждешь
с тёплым хлебом
в руках...

* * *

Уходя навсегда,
мы уносим с собой
лишь не явившиеся слова
незаписанных строк...

* * *

Когда вдоль тела
спокойно улягутся руки мои,
вспомню зелёную волну
холодного северного моря,

охряный простор тундры
и молодого орла, запутавшегося
в ржавой колючей проволоке...

* * *

Я дождался ночи,
и ночь дождалась меня.
В темноте мир раздвинулся,
и балкон устремился в вечность...

* * *

Давно не видел моря.
И не увижу больше...
Вспоминаю движение волн,
серую гальку,
молодую маму,
яркую ее улыбку
и молодого матроса
в соломенной шляпе
с потемневшим ремешком
бинокля на мокрой шее...

* * *

Вдруг высохла вода в канале,
и слова не плывут ко мне больше,
и я молчу, сутулясь, как сухой куст в пустыне,
под которым тосковал пророк...

* * *

Весь вечер стоял у закрытых ворот
и утром к ним снова вернулся.
Но там, где вчера громоздилась стена,
теперь бесконечный простор.

* * *

Выехал на балкон
и забросил удочку памяти
в море травы и деревьев...

* * *

Разлука — крест,
а встреча — два креста...
и ветер на холме...
и крики птиц пролётных...

* * *

Боль — не уходи от меня.
Пока ты со мной — я жив.
Пока я с тобой — я есть...

Дмитрий БОБЫШЕВ

(Шампейн, Иллинойс)

МЕДИТАЦИИ

о. Александру Меню

1.

Покатой глубиной утолена,
медлительно скользит голубизна
и в бездне опрокинутой витает;
питает и таит она одна
и слёзный, и глазной хрусталик.

Но вспыхивает грань,
голубизной наполненная всклянь
до искристого перелива,
и взгляд в голубизну летит счастливо.

И видится прозрачный взлёт
в бесчисленные полосы высот,
в зенит, к живым высотам,
туда, в лазурь, блаженную, как мёд,
где мысль медовая свечение льёт
и льнёт к небесным сотам.

А за размытой бирюзой
и взгляд, и мысль, повитые слезой
от незаметных цветковых увечий,

целительные вызывая встречи,
в упор касаются Ресниц,
и — взором проникаются Зениц,
и — Мыслью — неземной, не человеческой...

2.

Воздушное струенье
и восходящий ток
вдруг вывернули зрение
под лобный потолок,
где, стиснутое в толщу,
отбросило оно
пронзительную точку,
подзорное зерно.
И в разуме громоздком
тот высветило толк,
что любованье мозгом
есть первый завиток,
есть вольт самосознания,
залёт в открытый храм,
и — в самое зиянье,
сияющее там...

Так, воспарив, извивы,
сдуваемые вбок,
сквозь листиков оливы
увидел голубок,

до края окоёма
катящуюся течь,
что тяжестью влекома
в излучинах залечь.

По вечной сердцевине
и вдоль изнанки век
мой замысел и выверт
сквозит навыворот,

где сдавленные ткани
и веющая высь
свернулись завитками
в одну и ту же мысль,

что мы с тобой на память,
вселенная-близнец,
живыми черепами
срослись в один венец,

в один блаженный ужас.
Напружась, ум свивал
цветущую окружность,
где центром — идеал.

Да, так наименован,
с тем словом и возник
всем оболочкам новым
образчик и родник, —

самоначал смысла!
Сосок его ростка
не в лепесток развился —
в идею лепестка.

В себя же и нацелясь:
исчезнуть, облачась, —
нагая эта целость
отслаивала часть

за частью. И вставала,
спелёнута в постель,
в листы, в напластованья
спиральных лопастей, —

Мистическая Роза, —
вместилище и кров
для трепетно и розно
развернутых краев.

Край мозга и пространство
окраинных крутизн,
свирепа и прекрасна,
пронизывает жизнь.

Меж уголков и складок,
среди тенет, где нет
ни тени, — дик и сладок,
всё пронизывает свет.

Весь мир светло и страшно
проскваживает дар —
божественные брашна:
амврозия, нектар...

...Душа, роток открытый,
росу небесных сот
с благословенной сытой
из вечности сосет!

3.

Не отрицаю: знаю — не достоин...
А сердце льётся в тихую зарю,

и плавлюсь я, говею и горю,
среди кристально-ясного настоя
страдание вызываю золотое,
и ужасаюсь, и благодарю.

Да, в центре, у каемки, на краю
страшит зрачок, сведенный, окаянный
впуская мириады, океаны
Твоих сверканий, Свете Мой Царю,
и я зарю за цвет благодарю
за раны в созерцаемом сиянии.

За то, что изумительно слиянны
и зло, и благо; за каратом гвоздь
в незримую Зиждительную горсть
и — далее — в мои проник изъяны;
что муку вижу я как бы из ямы,
но высвечен до сердца и насквозь.

И вдоль извоев зренья, толщу свойств,
пронизывая скрытыми путями,
нисходит луч светящимся питаньем
в глубины глаза, до животных звезд
и тканых средостений — вперехлест,
единым пульсом пусть бы трепетали

с зарей, ломимую прозрачным испытаньем!
Стопами сокровенными зари
от крестных единений изнутри
из полуклетки в полуслово прорастая,
блистая, занялась в груди Живая тайна,
открыто-золотая: ведай, зри!

И, зренье новое беря в поводыри,
лети изломами целебного простора
туда, где молодая вечность свет простерла.
Там, Душе Всеблагий, благое сотвори:
возьми частицей в тело чистое зари!
Смели мои слова в молчание простое,
смети всю тишину в пустые словари,
и да раскроются ребристые устрои...

Уста серебряные... Слово золотое...

1975

Александр КАБАНОВ

(Киев)

СТИХИ ИЗ НОВОЙ КНИГИ

* * *

Где же мы встретимся после войны, скажи:
пусть это будет сад с фонтаном, небесные витражи,
спелые персики и черешни, шустрые ласточки и стрижи,
и никого, кроме нас с тобой, ни боли, ни зла, ни лжи.

Где же нам встретиться после войны: давай,
мы помечтаем, и пусть это будет далёкий край,
место покоя и счастья, и сколько здесь ни умирай —
всех поутру разбудит весёлым звонком трамвай.

Он воскресит в сплошной череде смертей,
прежде всего на свете: котов, собак и детей,
ну а потом и всех остальных в предрассветный час:
я обниму тебя крепче, когда он возьмётся за нас.

Мы обязательно встретимся и не узнаем страну,
встретимся в новом соборе, в ковчеге, идущем ко дну,
встретимся в песнях и в фильмах, которые запрещены,
в шесть часов каждого вечера после войны?

* * *

Он говорил, говорил, говорил,
словно включал кофемолку,
детские годы — съезжали с перил,
взрослые — вынесли ёлку.

Он говорил обо всём дохрена:
в фильмах, болтаясь на рее,
в лагере смерти, тогда времена
были гораздо подлее.

Нынче — повсюду раскинута сеть
и нелегко аватару:
пусть говорит, а ведь мог и запеть
возле костра, под гитару.

Помним, что всякая музыка — яд,
если закусывать плохо,
выпил, но был за убийство распят,
в том виновата эпоха.

И по сегодняшней моде — небрит,
и равнодушный к фэншую,
он говорит, что когда говорит —
чувствует силу большую.

Видит он только хорошее в нас:
жертвенность, мудрость, отвагу,
кто его слышит в предутренний час,
кто понимает бродягу?

Тот, кто основа и вера всему:
с кем он обжаривал кофе,
с кем он молился о смерти в плену,
с кем он бежал, покидая страну,
с кем был распят на голгофе.

* * *

Нынче жизнь моя: стихи — долговые расписки
и отчёты за свет и воду во время потопа,

но зато у моей судьбы отличные сиськи
и, во веки веков, великолепная жопа.

И когда судьба подходит ко мне вплотную,
прижимая грудью к стене из ночного снега,
я её обнимаю — единственную, родную,
и веду за собою в трюм, в глубину ковчега.

Там скрипят шпангоуты из ливанского кедра,
под давлением волн, равносильны чуду,
мы давно проиграли аду — поля и недра,
а зачем нам недра, когда океан повсюду?

И зачем поля, на которых пасутся крабы
и совсем иной урожай собирают сети,
мы отправили женщин в рай, а зачем нам бабы:
ведь у нас в активе ещё остаются дети.

Каждой твари по паре, а значит, виновных — двое,
это я и ты, а других не сыскать, хоть тресни,
вот и детский хор — растворился в зверином вое,
вот и жизнь моя — не выкинуть слов из песни.

О, ковчег ковчегов: загоны, отсеки, нары,
жаль, что вместо народа опять получилась секта,
с нами порнохаб, коты-убийцы и кулинару,
с нами бог, как часть искусственного интеллекта.

И пускай я буду в натуре последним гадом
или крайней птицей, парящей в финальном жесте,
чтоб увидеть: вот судьба повернулась задом,
и пора бы мне закончить на этом месте.

И найти на дне чужой погребальной лодки
одеяло, чтобы укрыться, играя в прятки,
и покуда смерть моя боится щекотки,
я люблю чесать её костлявые пятки.

* * *

Мир людей ловил меня на живца,
искушая тем, чему нет конца:
нет конца — сухому вину и бессмертным книгам,
нет конца — красивым женщинам с лошадьми,
но куда всё это — спряталось, чёрт возьми,
постарело, выдохлось с каждым мигом?

Мир людей коварен, лжив и жесток:
только сделал я самый первый глоток —
и вино, краснея, свернулось в моём бокале,
чтоб согреться — книги в печах сожгли,
женщины устроились в патрули
и в ближайший табор лошади ускакали.

Спиннинг, леска, грузило — кусок свинца,
я готов рассказать, чему нет конца:
нет конца — убийствам, пыткам и грабежам,
нет конца — предательству и мятежам,
и следит за мною повсюду, поверх голов,
самый главный, прости господи, людолов.

На святого духа, на сына и на отца —
он ловил меня — будущего мертвеца:
боже, как я клевал на простую наживку — слово,
что гремело над водной гладью, творя пароль,
сочиня логин и предчувствуя страх и боль,
нет конца — началу начал, повторяю снова:

Мир людей прекрасен, смотри-ка, бро:
поплавок из пробки, ангельское перо —
это снасть совсем иного пошиба,
мы с тобой — из моря, не из пруда,
ждёт меня в котле — философ сковорода:
я, конечно, буду молчать, как рыба.

* * *

Я спрашивал себя о многом, вот, к примеру:
готов ли я возглавить всех котов,
и заглянуть за радугой, и впрыгнуть в ноосферу,
ну что тут размышлять, конечно, я — готов.

А в ноосфере — свет, воссозданный из мрака,
сбегают виноградники с холмов —
в долину, там, где дом, а в доме спит собака,
собака всех собак — спит в доме всех домов.

Я взял с собой в поход серебряную ложку,
чтоб манной накормить сто миллиардов ртов,
но все мои коты — вдруг превратились в кошку,
и я погладил кошку всех котов.

А в доме всех домов — жгут рукопись в камине,
становится теплей, и с заднего двора
приходит смерть смертей, ничейная отныне —
ей больше негде жить, ей умирать пора.

Собака всех собак вылизывает кошку,
а кошка всех котов разглядывает смерть,
и смерть играет с ней, и гибнет понарошку,
и замертво лежит, а вот и рифма — жердь!

Я поднимаю жердь, рождённую из слова:
и, через миг, она — вовсю шумит листвою,
и, вслед за смертью — нет, явилась не корова,
не ослик, не петух с пришитой головой.

Не ангел пустоты, как знак противовеса
обилию добра, и не глумливый бес,
а женщина моя — последняя принцесса
и первая принцесса из принцесс.

* * *

И очнулся он где-то там, на пустой развилке
трёх дорог, себя ведущих куда угодно,
пожилой поэт с контрольной пулей в затылке,
убеждённый в том, что сердце его свободно.

Он смотрел на развилку, не зная о том, что помер,
и о том, что (по воле божьей) воскрес на шару,
если влево пойдёшь — там турки делают донер,
а направо свернёшь — там арабы готовят шау.

И пошёл он прямо — туда, где родился-вырос,
в городок на юге, в котором я тоже буду,
там, где греки картошку-фри запихнули в гирос
и глядят на море, а море — оно повсюду.

Городок на юге, вдали от небесных пастбищ,
пересылка для падших ангелов и поэтов,
здесь свои бомжи собирают конфеты с кладбищ,
для кого здесь кладбища — нет у меня ответов.

Городок на юге, пожалуй, сродни антибу:
показная роскошь отелей, и чёрт бы с нею,

но я вспомнил место, где жарят на углях рыбу,
потому, что морская рыба — всего вкуснее.

Наш поэт понимает, что путь для него не близок,
пусть в затылке — пуля и адская сыпь на коже,
я ему подарю кораблей и героев список,
хитромудрый список, в котором я буду тоже.

* * *

Тот, кто вместо меня доживает мой век
(я придумал его самовольно):
там, где рим отступает и царствует грек,
где коты умирают не больно.

Там не ловят людей, чтоб ходить по воде,
там, где мыслям — светло и крамольно,
он живёт за меня там, где море и где
умирают собаки не больно.

Дом его на холме принимает цикад,
и цикады поют хлебосольно,
там спускается к морю отец-виноград,
в кровь сбивая колени не больно.

Он живёт за меня, как простой интеграл,
черновик без единой помарки,
пусть живёт, я не зря эту боль собирал,
словно книги, монеты и марки.

По субботам приходит, ещё молода,
одинокая женщина с юга,
и, раздевшись, играют они в города,
а затем, обнимают друг друга.

Он меня приглашает приехать к нему
и берёт на себя все расходы,
только небо над киевом в страшном дыму,
и нелётные нынче погоды.

Пусть живёт и кентаврам сдаёт на права,
нарушая запреты безбожно,
и не знает, что здешняя боль такова,
что её разделить невозможно.

* * *

Нас окружает с тобой: подлое время распада,
перебивая прибой, в сумерках смолкла цикада,
ты продолжай, говори, если так сердцу угодно,
гаснут в садах фонари поочерёдно, повзводно.

Время сжимает людей, время не чувствует боли,
с каждой утратой — слабей наше защитное поле,
то канонада вокруг и показная бравада,
то оглушительно вдруг смолкнет навеки цикада.

Смолкнет повсюду: и там, где равиоли и песто,
и по другим адресам, где жестkokрылым не место,
ты говори, говори и раствориcь в разговоре,
в киевской лете — внутри, в риме на кампо де фьори.

Вот и погасли огни в сумерках верхних и нижних,
боже, себя сохрани и позаботься о ближних,
ты не сливайся с толпой ряженных и одержимых,
а оставайся собой и не забудь про любимых.

Будут зелёнка и йод — кровью для райского сада,
важно не то, как поёт, важно, как смолкнет цикада,
и в неземной тишине, с красным вином при лампаде,
больше не плачь обо мне и вспоминай о цикаде.

* * *

Читал над пропастью во ржи,
смотрел рабу любви без звука
и слушал море новой лжи,
и мой пример — другим наука.

Я жил в преддверии чумы,
в предчувствии войны повсюду,
не зарекаясь от сумы,
сдавал стеклянную посуду.

Уже июнь сменил весну
с зелёной окисью на клемме,
и я любил тебя одну —
в своём бесчисленном гареме.

И за любой переучёт —
голосовал тремя руками,
пусть будет мир и жизнь течёт
с неточной рифмою: под камень.

А в небе ширился разлом
и под землёй восстали тоже,
бесполье добро со злом
легли в прокрустово(е) ложе.

И воцарился мелкий бес,
чернее нефти или нефти,
и молча падали с небес
то ангелы, то астронавты.

Вокруг — жара, в словах — зима,
в глазах — кровавая завеса,
и большинство сошло с ума,
когда в себя впустило беса.

Что делал я по мере сил,
для сохранения баланса
вселенной: я тебя любил
и разум потерять боялся.

В духовке выпекал коржи,
живую воду из бювета
носил над пропастью во ржи
и от заката до рассвета.

* * *

Когда меня взломают, как страницу
в архиве электронного суда,
там будет хлеб завёрнут в плащаницу,
там будет рыба, а над ней — вода.

Вода омоет файлы о причале,
омоет дом и кошку на крыльце,
там будут лёша и бахыт в начале,
там будут лёва и вадим в конце.

Когда вернутся звери с водопоя
в сады садов, туда, где сочтены
все мастера, достойные покоя,
в награду им — прохладный свет луны.

На дно архива падают орехи,
я вижу сон и слышу вечный сон:
сквозь шум воды, сквозь радиопомехи,
их голосов и рюмок перезвон.

Они поют о том, что мы воскреснем,
им — жить без нас и охранять домен,
а нам — гадать по украинским песням,
по книгам о войне без перемен.

* * *

Летели бабочки в туман,
в костёр из белых роз,
и вызревал во мне роман
о гибели всерьёз.

И я уснул среди огня,
покуда, до зари —
роман простукивал меня
в потёмках, изнутри.

Соединив в себе исход,
смешав добро со злом,
он был: и опухоль, и плод
рекламы — два в одном.

И превращалась ночь в пробел,
в собрание начал,
а он — так выбраться хотел,
что на меня стучал.

А я писал стихи за всех,
кто погрузился в срач,
переходил на красный смех
и на зелёный плач.

Повсюду надвигался мрак
и истончался тыл,
и я, уже не помню, как
про бабочек забыл.

Роман сбежал и был таков,
и отступила слизь,
а где же бабочки стихов —
погибли, не спаслись.

* * *

Стал забывать себя, и музыку, и смех,
мне нужен только плащ, чтоб выходить из комы
под бесконечный дождь, где я придумал всех:
читатели мои, да будем мы знакомы.

Вот этот город — ваш и этот погреб — ваш,
я эти крыши — крыл последними словами,
пусть будет вкусным бог, завёрнутый в лаваш
и разделённый поровну меж вами.

Пусть говорят вода и воздух о своём,
используя язык ночного листопада:
плодитесь по любви, крещёные дождём,
но вы и сами знаете, как надо.

И пусть кровоточит акации кора —
наружу вырабатывая камедь:
чтоб загустеть смогла осенняя пора,
и стала материнской ваша память.

Читатели мои — последняя родня,
дождём полусухим наполните посуду,
и самый первый тост пусть будет за меня,
и я запомню вас, когда себя забуду.

Виталий АМУРСКИЙ

(Пуатье, Франция)

* * *

Как бы платки, намокшие от слёз,
Плывут с востока Украины тучи,
И новости, что новый день принёс,
Вчерашних, к сожалению, не лучше.

Америка, предавшая друзей,
Европа, отдыхающая летом...
А ты, дружок, внимательней глазей,
Вникай и постигай всё это.

* * *

И тут дымит, и там пылает.
Куда ни глянь — везде пожар.
Что ж, жизнь могла бы быть иная.
Да вот не вышло, друг мой. Жаль.

Однако жаловаться разве,
Что свыше выпала нам та,
Где среди серости и грязи
Всё ж сохранялась чистота.

И в лианозовском бараке, —
О нём, к примеру, говоря, —
Конечно, меньше было мрака,
Чем в люкс-отелях у Кремля.

* * *

*5-го июля 2025 г. российские коммунисты приняли
резолюцию о признании «ошибочным и предвзятым»
доклад Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 году.*

Воскрешение мумий,
Корчевание прошлого —
Боже, сколько ж безумий,
Сколько лживого, пошлого.

Прославление подлости,
Дел и нравов крысиных,
Отравление поросли,
Что тех лет не вкусило.

Где ж Иваны Денисовичи,
Мандельштамы и Вагиновы?..
Где же тюрьмы и тысячи
Зон закрытых и лагерных?..

О, гремучая замесь,
Из наследства поганого...
Чьи ж могилы остались
Возле бухты Нагаева?

Вспоминать неохота
Снег, похожий на саван.
Но ведь бухта Находка
На краю том же самом...

Что ж нашли вы предвзятого, —
В том, в ком ожил вдруг разум?..
Жаль, что целясь в десятку,
Не пробил её сразу.

* * *

В озябших рощах птицы замолчали,
А над рекой, почти что у воды,
Туман голубоватый и курчавый
Висит, напоминая лёгкий дым.

Последняя листва слетает с веток,
Блестящих от недавнего дождя,
И на земле, не оставляя меток,
В беспмятство природы уходя.

Душе мила осенняя прохлада,
Небес чуть запотевшее стекло,
Ей лишнего уже давно не надо
И, к счастью, в полумраке ей светло.

* * *

Века страданий. Храмы на крови.
Чужие всадники. Набеги и пожары.
За чад молитвы: Боже, сохрани!..
За девок страх, чтоб не нашли татары.

Мольбы, чтоб сохранились хлеб и соль
В году, возможно, засухой поганом;
Чтоб не прельстился вражий глаз косою
Хозяйским ладно вышитым кафтаном.

Чтоб ненароком его ухо не привлёк
Звук гуслей или голос скомороха,
А в сумерках, заметив огонёк,
Колдун не появился у порога.

Мольбы перед иконами о том,
Чтоб избежать разгневанных ордынцев,
Не оказавшись часом под кнутом,
И собственною кровью не умыться.

Смотрю во мглу, и будто бы озноб
Пронзает, и печаль мне душу точит.
Блажен, кто сохранить себя там смог
И близких уберёт от пут восточных.

* * *

Луны разбитой светлые чешуйки¹
По водной ряби ветер разметал,
Как при Иване Грозном и при Шуйском,
Ещё при ком-то, то есть где-то там.

И вот они подрагивают тихо,
Мысль погружая в оны времена,
Где, как сегодня, царствовало лихо
И кровью та страна была пьяна.

Порою мне мерещится, что слышу
Сквозь брёвна из вдали стоящих изб —
То как бормочет что-то чернокнижник,
То чей-то смех, то чей-то дикий визг.

Летят века, сливаются эпохи,
Чьих рубежей почти не рассмотреть...
Расея, Русь — где святость, там и похоть,
Где радость жизни — неизменно: смерть.

¹ Тип монет небольшого размера, чеканившихся на Руси с середины XIV века до 1717 года.

* * *

Где годами царили ироды, —
Храмы выбелены заново.
Славить мир в сердцах в них было бы
Благочинно, а не пожаров зарево.

Будто к дягилевским сезонам
Реставрированные декорации, —
Только воздух вокруг спрессован,
Даже листьям не до оваций.

* * *

Страна, где мрака пелена
И тот же лёд под ней.
Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

Вглядись туда и ощутишь,
Как стала ниже высь
И как кладбищенская тишь
Легла на речь и мысль.

Но если фляга есть, браток, —
Рука пусть не дрожит,
И, сделав за глотком глоток,
Припомни то, как жил.

Дай бог в сугробе не пропасть
И в сене, как игла.
Не философствуй лишь про власть,
Какой бы быть могла.

Какой могла бы быть тогда
Рассветная заря,
А слово горькое «беда»
Ушло б из словаря.

О, свет мечтаний и надежд,
Задушенных не раз
Руками собственных невежд,
А проще — «волей масс».

Конечно, вера в лучший день
Не грех, где правит страх.
Но там мне ближе Меня тень,
Чем в злате патриарх.

* * *

Времечко поганое,
И сейчас быть в нём,
Будто на Ваганьково,
Разве что, — живьём.

Привезли, оставили
Средь чужих оград,
Лишь вороны стаями
Кружат рядом, брат.

Борис ФАБРИКАНТ

(Лондон)

АНГЕЛЫ БЕЗ КРЫЛ

* * *

Запотевшее от дыхания
Опадающих в смерть, как в листву,
Небо прячет их в вечном молчании
По законам любви, по родству.

Не пытайся, не кайся, не вымучишь,
Не кричи, только тихо проси,
Ты не веришь, но всё-таки выучишь
Это страшное «Боже спаси!».

Непривычное «Боже, прости меня,
И прости нас!» на воздух развесь.
Начинать обязательно с имени
Нет нужды, Он по-прежнему здесь.

* * *

У нас война, и все сейчас солдаты.
И матерей убитые зовут.
На раны дней кладут свои заплаты
И жизнь стежками осторожно шьют.

Уходит время тонкой струйкой крови,
Ни перелить, ни сохранить в запас.
И в каждом вслух произнесённом слове
Слеза на месте гласной слепит глаз.

И ангелы на фронте в каждой части,
Почтовый ящик Господа забит
Молитвами о жизни и о счастье,
И многим, от чего болит, болит.

Тут ангелы без крыл, не вденешь в форму,
Но поднимают выпавших в бою,
Где стонут города и ветры к шторму,
Среди войны у жизни на краю.

* * *

В солнечных столбах из пыли
Долго по земле сырой
Перехватывая пули
Мертвецы идут домой

И мешая юг с рассветом
И не чувствуя дождя
Крест могильный тащат следом
Прибивая без гвоздя

Им совсем не видно неба
Отражения в реке
Навсегда краюха хлеба
Плесневевает в кулаке

Их давно отпели в храме
Их во сне не рассмотреть
Вдоль войны уходит память
Забывая жизнь и смерть

* * *

Расставленные в уголке квартирном
Стаканы, сахар, чайник, ножик сырный
И звёзды, солнце со своим теплом,
В цвету деревья тоже за столом.

А за углом был двор и в нём качели,
Они скрипели, думали, что пели,
И двигали пространство под ногой.
Неподалёку жизнь прошла дугой,

Как будто всё, что было, в самом деле
Летало по дворам, лесам, полям,
И спелый воздух длился в нашем теле,
Как счастье в жизни с горем пополам.

В пустом дворе рассыпаны игрушки,
Гулять пока никто не позовёт.
Со счёта сбились хриплые кукушки,
Убито время. И война идёт.

* * *

Мы ожидали, что нас остановят у божьих врат,
Будут расспрашивать, в справки глядеть и сличать.
Даже позвали весёлых с крылами шумных ребят,
И те нас пропустили в ворота, чтобы начать опять

Смотреть на просвет, измерять до стихов, адресов,
Фамилии спутали, шлёпнули всем в паспорта.
Они позабыли ворота закрыть на замок и засов,
Такая у них свобода, повсюду в душе красота.

И всё это время ночью и, может быть, даже днём
Он ходит один по улицам, как бы по вызову врач.
Внимательно смотрит в глаза тем, кто помнит о нём,
И долго-долго молчит, а мы отвечаем, не плачь.

* * *

Всё крутим барабан, трескучий, беличий,
И катим вдаль, где праздник старый ёлочный.
И каждый день, как ни крути, но мелочный,
А всё равно, мы ожидаем солнечный.

И жизнь идёт скользящей и летающей
Походкою со стрелкою минутной.
Всё ищет встречи с правдою попутной,
А снег летит обветренный и тающий,

Как ни кроши потерянное лишнее
И не роняй завидное прошедшее,
Украшенное праздничными вишнями,
Останется забытое, но вещее.

И всё, что будет, не изменит прошлое.
А то, что было, не рассеет снимками.
В том месте, где хранится всё хорошее,
Плохое, как всегда, покроют дымкою.

* * *

Гвоздь в доске моста обойди босой,
Над рекою тут вниз идёт тропа,
Там наклон к воде, как сарай косой,
Сыпется с луны звёздная крупа.

На холме дома, выгляни в окно.
Счастлив или нет, значит в чём-то соль.
Было всё, как есть, так же, как давно.
Перебрал крупу, а в остатке ноль.

Снова всё делить, поровну дышать,
По тропе нести два ведра с водой,
Если огород, надо поливать,
Гвоздь в доске моста обойди босой.

Каждому своё, а не знают, где,
Надо неспеша подровнять сарай,
Если тишина, значит быть беде,
Если быть беде, то не начинай.

И опять живёшь, будто ты везде
Оставляешь след, забери домой.
Слышишь, говорят, не ходи к воде.
Гвоздь в доске моста обойди босой.

* * *

Будущее догоняет прошлое,
Нет ни шва, ни молнии, ни грома,
Будто бы ковёр ночами вышла
Золушка, сбежавшая из дома.

Там цветы и лето, утро раннее,
Узелочки, ниточки, иголки.
Отойдёшь подальше — что-то давнее.
Ближе — фотокарточки на полочке.

Песенки, печали, сны плаксивые,
По краям, где солнце, краски выцвели,
А в углах все тёплые, счастливые,
Словно там детей на речку вывели.

Светлая расцветка — флаг прощания,
Детство по следам с собой встречается.
Всё, что было в прошлом, обещание,
В будущем обычно не сбывается.

Небеса, застёгнутые в пуговицы,
Времена здесь строго проверяют.
И луна очищенную луковицей
По команде слёзы выжимает.

Радуга, туман, под солнцем тающий,
Адреса и встречи до заката.
Прошное, как мой ковёр летающий,
Уплывает медленно куда-то.

Алексей ЗАРАХОВИЧ

(Киев)

НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕКИ

* * *

Вода недвижна, а река бежит
Так на поверхности реки — вода лежит
Как яблоко немывтое в ладони

Вот лодка с рыбаком стоят в углу
Вдвоём стоят, в какую-то Сулу
Уткнувшись носом, дышат полусонно

Что полусон, что полуявь — во всём
Предощущение Днепра, подъём
Большой воды, что влево от притока

А там и Киев... Яблоко хрустит
И на поверхности дороги путь лежит
Бежит дорога. Покачнулась лодка

КРЕЩАТИК

(в старину место княжьей охоты)

1

Там, говорю, там за горькой сливой
Поднимаются сады Щуки Милостівой

Жаркие сады на стальном поводке
На худом позвонке
Вот они
Вот они
Во земные дни
Идут по реке

Сладкоягодные, девам угодные,
Водяные лилии чаши несущие,
Или еще какие — наядовые, невесомые
Или еще какие — невидимые, здесь и сейчас живущие

Там, там за горькой сливой
Слева Киев и справа Киев

На холмах механизмы гудят колокольные
Ручейки внутри холмов голубые и чёрные-чёрные
В чёрных — рыбы прозрачные
В головах у рыб рыбаки, что колпаки с колокольцами
А в голубых ручьях Водяные с кольцами

Бросят кольцо — ходит круг по воде
Бросят два — вот и велосипед

Сам везёт, сам звенит, говорю
И вода говорлива:
Влево Киев и вправо — Киев

2

— Вот ерик, — ты молвил. — Устойчивость рек
Или так: водяные качели
На плечах твоих человек

По краям катера садятся на мели
Застывают. Как будто.
Или как будто идут по реке
Продавцы, приносящие воду и спелую рыбу
И *гроші, гроші*
Чтоб мы могли всё это купить
Всё это оставить себе навсегда

А ты говоришь:
Все отраженные окна и двери
Домашние звери,
Уснувшие в комнатах. Все
Холмы, на которых по церкви,
По велосипеду
Что едет то в гору, то вниз
По узкому следу
Шипящих на солнце отчизн

А ты говоришь:
«Вот ерик, связующий два водоёма»...

— Побойся Истока —
Вода выбегает из *княжьего* леса
Под свисты и хохот.
Остановилась.
Стоит одиноко

ПРИТВОР

1

Вода приходит с певчими, на хорах
Всё громче кваканье — до крайнего притвора
Где рыбаки-язычники впотьмах
Стоят недвижно на речных мостках

Чехонь возможна... Но кого в предтечи
Отпустит Днепр? — нынче только мелочь —
Бессмысленная пляска поплавка
...Блестят лягушки, квакает река

2

Чёрный камень Днепра
Омывается берегом. В плавнях
Так стремительно жидкие рыбы стоят
Словно вылиты в камень

На стеклянной ноге дождевая тончится порода
— Киев, Киев, куда ты приплыл на холме —
Что за город?

3

Вот, представь себе — мастер задумал какое-то диво
Из железок и прочего хлама, чтоб вышло красиво

Легкий крестик на тонкой опоре невидимой люду
Белый облак внезапный по кругу, чтоб молвилось: Чудо

— Это чудо! И мастер доволен и люд не напрасен
Или мастер растерян — уходит, уходит, уходит

Вот подумаешь — счастье, и вправду подумаешь, счастье:
Счастье — это другое

Обернулся — и Киев, а крестик на хитрой опоре
Вдруг сдвигается в сторону, вдруг поднимается к сердцу

...Вот и белое облако, будто бы пар из притвора
Где язычники жмутся друг к другу, чтобы согреться

ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Что видится мне с Боричева спуска
С какого берега поют рожок да гусли

Как разрешили Церковь здесь, внизу
Где видели медведя — не в лесу
Но возле леса — у Гнилой Притыки
Где если строить — только на весу
На глины и Днепра неровном стыке
Надорванном в последнюю грозу

Где Церковь — корабельное искусство
Крест-накрест брёвна сплавили по руслу

Да, разрешили строить только тут
Где человек и лодка — это двое
Берутся за руки и за рекой идут
Как человек и лошадь — к водопою

...Так переходят баржи глубину
Держась друг друга
И жёлтый огонёк стучит во тьму
Лучом коротким
И этот стук всю ночь, всю ночь идёт по кругу
И тянут баржи за собой канатик тонкий

И уцепившись за канат все Водяные
Все звери тайные, насельники речные
Идут над глубиной, сдержав дыханье
И только слышно плавников переступанье

— Кто здесь? Ну, кто здесь? — Никого —
Кроме света одного

Илья пророчит, грозы вяжет, где уронит
Костёр съезжает на оси, вниз перевёрнут —
Жар маслянист, течёт в воде и пахнет краской
И днище барж отсвечивает красным

...Так, может быть, в последнюю грозу
Всё разрешится? — на неровном стыке
Днепра и глины строй себе в углу
Подола, чтобы с Боричева спуска
Всяк церковь — корабельное искусство
Крест пронести как будто на весу

Где видели медведя — не в лесу
...Но возле леса — у Гнилой Притыки

АСКОЛЬД

На внутренней поверхности реки
В плавучей церкви служат моряки
Что не дошли до моря. Так бывает.

Для них вода ночами прибывает
Над ними соль везут грузовики

Их служба повторяет с опозданием
На миг кратчайший то, что наверху
Во времени идет, как солнце — явно
Как воздух на духу

На миг всего, что тут же приумножен
Шероховатостью речной, похожа
Любая видимость, как воздух и вода —
Попеременно сыпят отраженья

Друг другу, так идет двойное время
В сгоревшие над речкой города

...Сопит, вовтузится предутренняя мгла
Скрипят ступени, близкий всхлип весла
Однодеревки, ищущей притыку
Всё здесь, все — здесь, а если где ошибка —
Не в слове, но подробностях числа

Так за ночь помертвевшая зола
Вдруг обнаружит искорку, другую...
И что гадать, кто будет одесную
Из малых сих, сгорающих дотла

Кто здесь Аскольд, кто Дир, кто может быть
Не узнан навсегда, и так забыт
Совсем-совсем, чтоб заново родиться

...Идет священник: Батюшка, скажи
А правда ли за гробом сразу жизнь
И если да, то, сколько будет длиться?

Светает... Поначалу все — свои
Вот церковь над Днепром на грузных сваях
И Дух, пройдя воздушные слои
В одну и ту же реку вновь ступает

Кто настоящий тут? С какой реки
В притвор церковный входят сквозняки —
Какой реки порог переступаем?

...Что за вода, с которой пребываем?
...Откуда соль везут грузовики?

МАЛЬЧИК

*

...Гори, гори, свечка

Речка совсем худая
Толщиной с руку великана
Рука у великана, конечно, большая
Два дуба в объёме
Вот они два дуба и стоят, а чуть дальше речка
Рыбак лет семи

...Гори, гори, свечка

Удилище держит двумя руками
Потому как тяжёлое, из цельной лещины —
Удочка для великана

*

Сила, с которой твоё отраженье,
Попавшее в реку, отторгнуто
Что это, если не лишнее время —
В тёмной воде размокли лицо и одежда
Снасть изогнулась под ложным углом, утонула
Вместе с рекой

...И с досады бормочешь: Эту речку уже не узнать
Эта речка так изменилась

*

Рыба умерла
Мальчик украл её у рыбаков, чтобы спасти
опускал в воду, поддерживал —
Не переворачивайся, стой ровно

Она всё равно всплывала, лежала на боку
— Плыви, ты свободна

...Рыба умерла

Дождь пошёл
Вода застучала по чешуе
Закатилась за кромку глаза
Покачнула плавник, пошевелила губой

— Ну же, — повторял мальчик,
Подталкивая рыбу два раза — три раза
— Плыви, уплывай, иначе придут за тобой

...И дождь прошёл
Посветлело небо, вода светла
Вот и вымолвилось, словно само собой:
Рыба умерла

*

Не ходи в окно босиком
Обуйся, потом ходи
Воздушные змеи свернулись клубком
Обуйся, потом ходи

В ботинках тяжёлых вперёд-назад
По воздуху — у всех на виду
А сразу за облаком будет сад
Последний в этом году

*

Чудны Дела Твои, чуден воскресный день
В невозможном зазоре «вчера» и «завтра»
Тоньше ивы с Нижних Садов

На изгибе реки, где круглая тень
От парящего Генеральского озера в солнечных травах

...Гори, гори, свечка, уже не бойся ветров

Верхний ветер гонит облака
Нижний закручивает отражённое облако
И оно меняет форму, становится густым
Взбитое на речной воде листьями ивняка
Тяжелее верхнего, того, что сказано: дым
Или не так: убежало верхнее, лёгкое молоко
А вот это отраженное ещё здесь, с нами

Сегодня воскресный день
Тонкими, почти невидимыми линиями, пустыми кругами
Двигается в открытом окне свет
Полвека спустя осознаешь себя великаном
Ты — облако, ты — мальчик с удочкой из цельной лещины
Ты — озеро, которого нет
На этом самом ближнем, самом видимом свете
И снова — ты. Или не так: Только ты
Кто отражён — бессмертен

* * *

о. Анатолию

Утренней службы свет восковой влажен
Будто по воздуху Днепр идет важен

Следом за ним:

...Учаны

...Лодки-однодеревки

...Киевские прочане

...Водяного усаые детки

Скрипит Деревянная церковь, поворачивается на оси

Справа облако, облако слева
Чего хочешь, проси:

...Свечной пароходик
На белой полоске воды
Горит, не уходит
Пока мы бежим сквозь сады

Нас яблони видят
Мы яблоки в сумках несём
Никто не обидел
Никто не обидит потом

Скрипит деревянная церковь, отчаливают прочане
Умер я что ли? или в самом начале

Тропинка на пристань
Бежим, задыхаясь вдвоём

Нас яблони видят —
Мы яблоки в сумках несём

Григорий ВАХЛИС

(Иерусалим)

ГАЛИЛЕЙ

* * *

Что, вертится, мой Галилей?
И верится? Какою мерой
отмеривать, взыскупя веру?
Смиренней быть или смелей?

Каких же благ пытался ради
изобразить в своей тетради
Господень замысел, скажи?
Взгляни же, ты, себя калеча,
лишь скудный разум человеческий
в измятые листы вложил,
и пальцем тыча в бытие,
вдруг обретаешь... не себя ли?
Чертеж твоим грехам зеркален,
сие — отчаянье твоё!
Объята разумом душа,
суха, бесплодна и уныла,
и плоть, разрытая могила,
чернеет, тлением дыша...
Увы, стараньем расчертив
непостижимость вышней тверди,
соорудил темницу сердцу,
и вопль стал речитатив.

Плебеи станут мудрецы,
вождями — злобные убийцы.
Сие без счета повторится,
и славу вознесут певцы.

Когда измучишься кричать,
ответь себе, молчанью вторя:
на круглой меньше ль будет горя,
на плоской — горше ли печаль?

1992

* * *

Какая пустота! Какая пустота. Какая пустота вокруг, какая...
Земля пуста, земля и небеса. Нет Авеля, один остался Каин.

Кричи — услышишь лишь себя, и голосом твоим ответит эхо.
Скреби, скреби, бумагу теребя, — где раньше твердь была,
теперь прореха.

Беспамятством безлюдье заросло. Всё гуще чаща,
суше и шершавей.
И шаг глуша в шуршанье мертвых слов,
всё сущее теперь зовется: «Каин».

Гортань суха и обмелела речь. Сухими ртами
воздух ловят звуки.
И неподвижны в свете фонарей, подобны желтым рыбам,
стынут руки.

Что есть рука, под именем рука? Руке — рука, рука её сжимает.
Рука ты сам, и кажется, близка, но нет её нигде рука другая.

И род уходит, и приходит род, — припомнить слово,
бывшее в начале,
но словом потому искривлен рот, что ничего на свете
нет печальней.

В траве ничком, кровавая роса неслышно
по щеке моей стекает,
за каплей капля. Опустив глаза, за край листа
уходит брат мой Каин.

Нет, это я иду, кровав и наг, — а там, в траве, все те,
кого оставил.
И много их, не вспомнить имена, и свищет куст:
Но где же брат твой Авель?

А жизнь саднит, никак не заживет, и оставляя жизнь
над самым краем,
самих себя перебреедем вброд, ногами в пустоте перебирая.

Как тяготит, ещё не прожита — угла необжитого не оставит!
Белеет клочок волос в тени куста, нет Авеля. Один остался Каин.

Ворочаются сумерки в окне. В провале улицы сыреет мостовая.
Шаги шуршат, и в щели лезет свет, и рифма Каину
приходит — Авель.

Куда ты, Авель? Я ещё с тобой: шуршит бурьян,
поблескивает камень,
сцепились намертво рука с рукой, и голос слышен —
но уходит Каин.

Как воздух сух, как горяча земля! Как даль светла
над синими холмами!
И, лист оливы тихо шевеля, полдневный жар
возноситься над нами.

Упал ничком. Лежит, зажав в горсти пучок травы,
немного серой пыли,
мы всё хотим с собою унести, но руки мертвые крестом
в пыли застыли.

Да, всё с собой, — и улицу, и дождь, и лампы желтый свет,
и ночь, и воздух,
Куда ты, Авель? Шепот, пальцев дрожь,
дыханья горький вкус — еще не поздно!

И город, заливаемый дождем, деревья за железною дорогой, —
мы все это с собою понесем неведомо куда в суме убогой.

Лишь полчаса — автомобили загудят. Я побегу к метро
сквозь парк осенний.
Мы все когда-нибудь вернемся, ты и я. Мы все когда-нибудь
уйдем и станем всеми.

Всё Каин — каждый шорох этих рощ, мой каждый вздох
и каждый след, пока я...
Пока я жив. Пока вливает дождь в мои следы
по капле имя: Каин.

2017

ПОДРАЖАНИЕ ДАНТЕ

Мне чужды ангелы, коль долу не сошли
и тут, у нашего огня не сели,
во чреве опозоренном земли,
коснуться хлеба нашего не смели.
Милее бесы мне — они и мы
заключены, как в клетку, в этом теле,

не зарекаясь, стало быть, тюрьмы.
И с ними мы не так уж различимы,
над нами свод — куда темнее тьмы,

гонимы ими — но они гонимы.
И мне, как жертве, ближе палачи,
плывущих горе эмпиреем синим.

У райских врат на поясе ключи,
звенят и здесь давно знакомым звоном —
так звонко лязгает затвор печи —

неполноценных дымом в небо гонят.
Но я, как жертва, отрицаю суд —
хоть райский сад — хоть скотские вагоны.

Пошто нас, чад господних, мучит зуд:
спасать, напутствовать, предстательствовать, править?
И пятна света по земле ползут,

гуляет зайчик по грязце кровавой.
И хруст костей не молкнет в колесе...
Мы, в общем, вместе тихо «труса справим».

Я, как палач, не отрицаю сей
необходимости — иного не умея,
я, как и вы, хочу любовью всей

добро творить, разумное бо сея,
но разум суть наивысший судия —
для палача — другого не имея.

На том поладим, что и вы, и я,
самим себе поверить не посмея:
палач и жертва — кровная родня.

В лазури черным и пурпурным лиловея,
светлы с изнанки, ангелы кружат,
как вороны, над павшими довлея...

2022

СТАНЦИЯ

...и там, в преддверии Большого Взрыва,
вселенная, как эмбрион нарыва,
была прыщом.
Но, знаете ли, гной
уже присутствовал в материи —
в иной, сознанью, в общем,
недоступной форме.
И мы там были — пассажиры на платформе!
А может, не были...
Ни поезда, ни шпал, —
там черт еще ногою не ступал...
Вернее, бог.
И всё это:
ни лес,
что сохнет за железною дорогой,
ни мы...
— А кстати, как зовут вас?
— Гога!
в пространстве измерения любого...
А впрочем, не было ни измерений, ни пространств!
Как говорят китайцы: Пустота
есть форма. Мысль не проста!
А глянешь — вон, подобием креста
уже вы руки на груди сложили,
а ведь еще, по сути, и не жили,
по сути если — ступка без песта!

Вы неженаты? Значит, пест без ступки.
И ведь, поди, побегали за юбкой,
а все один — тут арифметика проста.
Так вот — на это все была причина!
Там, в недоступной форме, без почина
хирели наши судьбы, а судьба
во времени развернутое действо,
благое — а бывает, и злодейство...
В безвременье вы некто, лишь душа,
что проплывает эмпиреем горним.
А вот сейчас — вы Гога на платформе,
уже конкретно, — в этот день и час.
Как видите, я только из больницы,
— Похоже, рак! — сказала мне сестрица...
Дней пять в перитоните и бреду.
Ну, словом, помирал, да вот, не помер!
Вселенную, на койке лёжа, понял,
хоть ждал, что на носилках сволокнут:
«Рай тут, где никакого рая!»
А гной стекал по трубочке в сосуд.

— Вы по профессии? — Философ! — Как и я!
А где сознание, там и бытия
сполна нам хватит... Кстати, не хотите?
— Охотно! Только пробку отвинтите,
она из тех, которые... Глядите!
Не поезд? — Нет, скорее, просто дым...
Я, знаете, немного нелюдим,
И женщины, ну как бы вам сказать...

Над ними ветер гонит сор и пыль,
над ними нету ни луны, ни солнца,
и желтый свет лишь в маленьком оконце,
на занавеске — очерк головы.

За ними только станция пустая,
Там холодно, газета, пролетая,
шуршит, касаясь краешком стены,
да грязь — что в океане буруны.
В дверях распахнутых виднеется посёлок,
чернеют буквы, может, «Новосёловск»,
а может... неохота портить глаз.
Такая темнота, что в самый раз
забиться в угол, чище где и потемнее,
и потеплее, кстати. Леденеет
уже над лесом первая звезда.
Всё тихо. И не ходят поезда.
Звезда глядит, как двое в темноте
беседуют, и дуют из бутылки.
Надсадный визг из дальней лесопилки
донесся вдруг —
и снова тишина.
Они беседуют, и так им хорошо,
Как будто кто-то, в вышине над ними,
как бы знаком, — но позабыто имя,
сочувственно кивает головой,
и не чужой, но может, и не свой.
Он щеку чешет, неказист на вид,
и он за всё на свете отвечает —
печальный друг, — не станции начальник.
И скорый в черной пустоте летит...

* * *

Вижу их: спотыкаясь и шаркая,
ковыляют, косясь на шикарных блядей.
А любили они безнадежно и жарко
одноногих и пьющих людей.

Они пили и сами, чуток приворовывали,
чтоб кормить золотушных детей.
От таких-то делов всё хужело здоровье,
но с экрана светил мавзолеей.

Нет, не счастье бывало у них, а проруха,
и небесную твердь протирая досуха,
где-то там наверху ходит с тряпкой старуха,
оттого-то и чисто в раю.

02.07.2025

* * *

Так давай без надсады, без паники —
ненароком тебя занесло —
потрошитель утерянной памяти,
ворошитель несказанных слов...

Твой нечаянный взгляд-полукрик
к желтым стенам внезапно приник —
будто обнят умершим отцом,
все простил — и к подкладке лицом.
Вот и замер, стоишь до сих пор:
лишь кусты да беленый забор.

Затрепещет в летучей возне,
защелкает, заплачет, просвищит
ошалелый двойник, что во сне
просыпаясь, таращит глазищи.
Ищет, ищет — чего не терял,
не имел и не видывал сроду,
будто в мутную воду нырял,
находил — и выкидывал в воду.
Жизнь топочет, беззлобно шутя —

откликаются окна незрячие...
Топят спяну в ушате котят,
а потом матерятся и плачут.
Уходи, как непризнанный сын,
уноси свою личную вечность,
и бубни, засекаясь, коси
эти косноязычные речи...

2013

* * *

Ты видишь сон. (Прости меня, прости!)
Там кто-то бьётся головой о землю
и землю ест.

Но землю не приемлет.

И ты спешишь — к нему!
К нему!
К нему!

Земля встает стеной тебе навстречу,
А ты — лицом к земле, себя калеча,

И падаешь одна во тьме незрячей,
и встать не можешь.
И в бессилье плачешь.

И я встаю — иду
к тебе,
к тебе!

Иду один, в крови и блевотине,
и об одном молю — пускай застынет
вселенная на этот краткий миг.

Пусть неподвижной
станет эта ночь.
И на своих путях застынут звезды,

и мы с тобой.
Нам некому помочь.
Но знает сердце, что еще не поздно.

2013

* * *

Я морщинист и сух, а голос скрипуч и тих.
Не прочесть ли какой-нибудь давний стих?
Из тех, что летели к тебе, из тех!
Я теперь не пишу, живу без помех.
Ты, конечно, подымешь меня на смех —
не припомнить живого сейчас из них...

Нет, не померли — впали в анабиоз.
Радуют — но не вызывают слёз.
Существуют, как улицы и дома,
те, которые, знаешь сама,
служили нам, как тюрьма да сума,
в стране, где стоял мороз.

Я тебе не прочту — если смогу, прошепчу,
Где ты? Слышишь, как я лепечу,
на смерть рукой зажимая рот,
в прошлое закопавшись, как крот,
ползу назад, но лечу вперёд,
лечу!

05.01.25

Дмитрий БЛИЗНЮК

(Харьков)

Из книги

«Зима свободы нашей»

* * *

третий год
полет червя
над моим гнездом

небольшой Колизей — только вместо львов
и гладиаторов
здесь путин убил женщину с собакой
вот согнутая вилка
и кофта
ветерок приятен как лисий хвост
по лицу
закрой глаза чувствуешь
бешенство
горячую свинцовую дробь

* * *

жена орка из Самары
получила трофейный ноутбук
если провести ультрасветом над крышкой
обнаружишь
светящиеся пятнышки частички ДНК
подарок залит кровью
забрызган мозгами

* * *

ноябрь сошел с ума,
оставил позади
окровавленную разрезанную одежду,
прихвачена первым морозом.
дом, разрушенный снарядам,
мелкий черно-синий виноград во дворе
похож на маскировочную сеть.
желания закончились как сигареты.
ни одного работающего магазина,
дождливый закат,
на котором вышита роза,
вальсирующие кишки гардин.
очередь у водополя — взгляд из окна
в небо, где красный бархат ракет.

квартира в коме.
жизнь давно ушла
вместе с хозяевами-беженцами.
рояль — лакированное чучело мамонтенка
в историческом музее.
подними крышку
и замерцают сиреневыми кубами
столбцы пыльный музыки
осевшей на белую кость.
зыбь женских пальцев, осанка. все равно,
что открыть крышку гроба.
и увидеть тонкий скелет в платье
чужой мирной жизни,
которой больше нет.
где сейчас эти пальцы?
в Польше? в Австрии моют посуду в кафе,
чистят унитазы.
этот корабль полон пустых окон,
сквозных кают.

* * *

сиреневый фольксваген
возле разбомбленной школы:
он стоит там с первых дней вторжения.
за месяцы покрылся голубиным пометом.
это души убитых школьников
каждое утро в раю
послушно чистят зубы и сплевывают зубную пасту
на капот и крышу.

* * *

дни недели вымерли как динозавры,
больше их нет. обнаружишь
серую кость, бивень
или громадное как весло ребро
воскресенья «цараптуса»
война выжигает время, искривляет,
вяжет мертвые узлы
тревоги, обстрелов.
это пожизненное заключение,
только вывернуто наизнанку,
и приговорены все:
девушка на самокате,
солдат с протезом руки,
женщина, выгуливающая ротвейлера.

* * *

серые дома намокшими мамонтами
втираются в туман —
кирпичинами в мокрую шерсть,
сходятся подъездами, тянутся к метро,
тесно прижавшись к друг другу.

дома без людей бессмысленны, полумертвы.
бархатистые черви мокрого снега,
сырое говяжье сердце весны
в разбитом бокале.
плач чужих собак, брошенных хозяевами,
мы ответственны за тех, кого любили другие.

средняя скорость войны — 57 смертей в час.
все призраки войдут в тебя
как дым костра
обратно в деревья
высасывая серый свет из глаз.

* * *

я обнял эти плечи
и притянул к себе сад
женщины с кобылами волос
голубыми пульсарами
леопардами в чашах ресниц.
мгновенно запах моря нет показалось.
комната разломана как апельсин.

Геннадий КАЦОВ

(Нью-Йорк)

«ХАРОН СЪЯЗВИТ: “КУДА ПЛЫВЁМ, СЫНОК?”»

* * *

среди живых быть, вроде, некрасиво,
среди убитых вовсе в лом лежать —
какая нынче есть альтернатива?
искать, найти и никого не сдать,
искать в стране, к которой был припаян, —
то, отчего распалась связь времен:
шли годы, шли и шли, затем упали,
над каждым будто пристрелялся дрон

в кривых краях, где исчезают тени,
коль в полдень их фонариком слепить,
с рожденья вышел я на встречу с теми,
кто б мог из глины вновь меня слепить
на звук и цвет (не ты-, не вы-бирая
богов, друзей, врагов) — горя огнём,
потомок пары, изгнанной из рая,
я ад обжил и *адовался* в нём

возможно, оттого и всем попало
от тех, кто сочинил большой словарь:
я их просил — «пусть много бы не пало
на поле боя!» — ибо божья тварь,

я умолял, пока имею право,
тварь божья, на один к тебе звонок —
у переправы берег левый, правый;
харон съезвит: «куда плывём, сынок?»

я б предпочел виндсёрфинг, даже если
не устоял бы на доске до ста:
когда б все павшие в боях воскресли,
их мести б избегая, мир настал...
искать слова, явившиеся с торой,
пока поймёт тот внутренний раввин,
что белый свет, задёрнутый со шторой —
мой луч в углу, с коленками в крови

* * *

победит век не качеством нас, а количеством,
острых стрелок добавив в значок циферблата:
мир, как в толстую лупу войдя, увеличился,
и без повода брат наезжает на брата

только что был яйцом, а моргнул — уже курица,
даже цены (и в дни распродажи) дороже:
всё стареет так быстро, что выйдешь на улицу,
а вокруг лет на тридцать тебя все моложе

пережив и падение трои, и *nokia*
из россии уход, и нетленный биткоин,
стал ты старче, а значит — ещё *одинокее*,
даже поля из той поговорки, где воин

сам себя наблюдая судьбы повелителем,
патриаршей, по маркесу, осенью — в теле,
устилаешь по-знахарски путь повиликою,
веткой жимолости помешаешь в коктейле

перед тем, как лечь в землю, ведь впрок не находишься,
в своей тысяче ли — год за годом теряя,
ближе к финишу вспомнишь с трудом, где находишься,
и какая дорога вела до сераля

ведь сенильное — право, к тому ж прецедентное:
трали-вали искал, но нашёл дили-дили!
ты старел сразу вместе с двумя президентами,
и в день выборов все вы, втроём, победили

можешь, впрочем, держать свою дулю в кармане,
на посмертную славу надеясь не больно:
вновь июнь — праздник летнего солнцестояния
и начала каникул, как помнится, школьных

это, видимо, свойства любой быстротечности —
совпадение мнений всех миггов пространства
с тем, по возрасту, похолоданием конечностей,
мерзлотой вечной пред — предстоящего странствия

* * *

всходило солнце вертикально,
как кукуруза, *изжелтев*,
и освещало город каин,
и южный канев между тем

паломник, от лучей кося, стал пилигриму друг и брат —
гомер закончил одиссею,
раздался над страной курант

у плотника родился плотник,
врагам масада не сдалась
и юрий лотман, семиотик,
уже познал над словом власть

не только греку — и варягу
чем ближе север, тем вредней:
из будапешта путь на прагу,
чтоб в вену не гонять коней

тебя встречают по бейсболке,
звучит в виниле ференц лист,
и ты читаешь их наколки,
как в раннем детстве харпер ли

выносят каравай и виски,
и приглашают в город-сад,
отечественные записки
хотя не ты для них писал

вишневый сад в честь бога вишну
разбит был чеховым не зря:
победа не бывает лишней,
коль больше некого терять

пример своим, другим наука,
раз в бой идёт интеллигент,
горящий щедро, как самбука,
разрушенный, как карфаген

слуга царю, отец и свекор,
могущий нервы сжать в кулак,
давно познавший волю рока:
где место подвигу — приляг

сорвался якорь, свищет ветер,
уходят ёжики в туман...
уже массне написан вертер
и застрелился оссиан

* * *

не жди, наивный, от природы чуда,
сей вечно и разумно семена,
да классиков перечитай, покуда
рожает новых чудная страна;
полей свой город, не проросший садом,
чтоб футуристам веселей жилось
в системе допусков, ну и посадок,
коль так в градостроенье повелось

не сомневайся: всем придут осадки,
похуже лужи — наводнения!
где стол был яств, там поплывут касатки,
заполнив живо пятистопный ямб,
стихи поскольку пятая стихия
к шестому чувству: то из берегов
выходит в девяностые лихие,
а то в двадцатых принесёт врагов

но после стихнет до воды проточной,
оставив всюду высыхать стихи,
пока вновь не пробьет первоисточник —
первопричина, кью-ар код стихий,
слезы и жажды, строчек верлибриста,
ста грамм окопных, двести грузовых,
спартанцев, если каждому по триста, —
никто никем пока не позабыт

мир, до последней капли бензобака,
не красота спасёт, а слог в торе —
и мендельсон вновь открывает баха,
вермеера — этьен-жозеф торе...
в приличном месте всех важней ковёрный,
тем паче в этом цирке, где всегда
ведут, шепчась, процесс переговорный —
жизнь и судьба, удача и беда

* * *

слово — далее точка — за ней пустота,
как забвение звука, темница для цвета:
я давно тишину не читаю с листа
но, пока не родился, не помнил об этом

нету счастья! я здесь не про лайк, не про линк —
всякой фразой живёшь, тратя время да нервы,
то в обед чашку кофе на брюки пролив,
то пролив в свиденьях пройдёшь дарданеллы

нос, гуляя по горлу, выходит на слух:
слух прошёл, будто ухо — карательный орган
речь на части иссёк; части речи, как слуг,
разберут не орфей, так какой-нибудь орбан

промокод, чьи достоинства не умаляй
(городам только в радость, и вестью по весям) —
в новый год ты получишь, но не умоляй
пощадить в этот раз! лучше сразу повесься

мир на ощупь, что нам в освещении дан,
если выключить свет, приблизительно то, что
с тенью бой, по-боксёрски, когда ни следа
на лице, но хук правой по почкам был точно

шарик утром надул — шарик к ночи спустил,
не помогут, похоже, ни кремы, ни ботокс:
поезд «киев — москва» на запасном пути
столько лет не отходит, поскольку суббота

есть у слова «чертёж» с е внедрившийся чёрт
и деталь в виде ё, с коей ёжик в нирване,
а над ней пустота (те две точки не в счёт)...
грифель твёрд, ватман влажен, четверг в тегеране

* * *

о, небо, кто тебя украсил,
то дьявола кляня, то бога,
дизайн построив на контрасте
из жёлтого и голубого

пространство, говорят, не сводня
для тех, кто время не считает:
война закончилась сегодня,
и тьмы убитых — не чета им

озарено ночное небо,
как и задумал пиротехник —
победа выглядит нелепо,
ведь скольких этих нет и тех нет

пока налево и направо
взрывались в небе фейерверки,
никто на них не знал управы —
ни те, кто здесь, ни те, кто сверху

они дорогу освещали,
кремнистый путь, где крема хватит
на пилигримов с их вещами,
на всех, покинувших кровати

свет, словно шорох лёгкой блузки,
нес освещённым только радость;
судам, стоящим под разгрузкой
пиротехнических зарядов

верблюдам — кораблям пустыни
в песчаном море аравийском,
латте, что в мелкой чашке стынет,
покуда залп звучит под виски

тем, кто погиб, и тем, кто выжил,
и кто дожил до воскресенья:
салют слова на небе выжиг
о днях войны и непощенье

в полночном небе жёлто-синим
украшен праздник в стиле торта:
труп треплет ветер на осине,
враг мимо проплывает мёртвый

стоят искрящиеся пальмы,
кометный дождь по небу хлещет —
прошла война, осталась память
и с ней потерянные вещи

как не забыть про то и это...
мерцает ночь в разгар салюта,
а нам нужна одна победа
летит шутихою ракета
к бомбоубежищу — минута

* * *

чем дальше за сто первый километр,
от мкд, что всех дорог приятней,
тем глуше песнь родного соловья
и аисты детей в ту даль не носят
(кому там вне руси жить хорошо?!),
березы не дают в неволе сок,
зараза-белка все орешки сгрызла,
учёный кот с цепи домой сорвался,
да вместо шерсти плешь на русском мишке
и серый волк не служит их царевнам

там речь людская уху непонятна:
дифтонги, понимаешь, плюс артикли

в той иноземцев речи посполитой,
которым всё воздастся по глазам их —
пустым и лживым, выпукло-надменным,
воздастся по речам иноагентским,
что с капитолия уносит ветер
в их колизей, всех вместе унесённых,
и далее по списку до границы,
до самой строгой в мире мкд

пересекать её черту не в силах
на иномарках шелупонь вся эта,
которая и инстаграм, и мета,
и гугл, чтоб ей, продажной, было тесно,
и старые старлинки, в тесте теслы —
чтоб до кровавой мэри им допиться,
чтоб до кровавых стейков им доестся:
кто с виски к нам придёт, тот по виску
получит, не увидя наших градов,
просторов, за которые не стыдно

и пустырей, на праздники не пыльных,
гор, вызывающих, бесспорно, зависть,
валов девятых, самых лучших в мире,
поскольку написал их айвазовский
для музыки чайковского к балету,
где озеро (читай: кооператив)
и ухо радует, и горло с носом
всех скопом соотечественников —
они блюдут границу региона
и зорко бдят на страже рубежей

им всё, что *за рубежом* мкд,
неинтересно, даже наплевать,
поскольку здесь интимней и понятней,
в отечестве отечественней всё,

а если кто на нас с кайлом и ломом,
то вышлем за сто первый километр,
пусть мучается в чревах небоскрёбов,
в джакузи их с холодным барбекю,
чтоб до седьмого пота и колена —
пусть знает нашу добрую натуру

гостеприимство наше от души
и (вточь по Достоевскому) характер
и всепрощенчество сердец, конечно,
поскольку воздух наш и чист, и светел,
внутри, представьте, мкд, особый,
взаимопонимания, представьте,
могучий, величавый воздух наш
пред сто, представьте, первым километром,
а начиная вточь со сто второго
такой там воздух — лёгкие лишь портить

* * *

шуршат поражений церковные мыши,
камыш, что тростник, стал искусственно мыслить:
покамест всевышний — всё выше и выше,
треска засыпает последней на мысе

мы твёрдую точно получим пятёрку,
историю мира закончив — и точка!
пейзаж сквозь отверстие на гимнастёрке
медалью наклеен на грудь синим скотчем

рой туч, будто энтузиасты на марше,
отряд беспилотников на спецзадание —
да, время такое: гадай на ромашке —
когда же затихнут разбитые зданья

так в сжатые сроки, с эффектом побочным,
ты жизни подводишь и кредит, и дебет:
поскольку ты срочник, то ждёшь, что досрочно
с тобою случится: любовь или дембель

«война кого хочешь сегодня состарит,
за ней — глаз да глаз, даже при катаракте!» —
как мне говорил, уходя в диспенсарий,
седеющий *неонарцист* на контракте

лист неба, заполненный азбукой морзе —
о том, что в европу забили окно и
за всех генералов, немеющих в морге,
пока рядовой — вой в ряду под луною

вот — время осколков, бетона и стали,
вон — стран и пространства провисший край света:
вопросы к себе неудобными стали,
тем паче, ненужными стали ответы

коль быть иль не быть — не военная тайна
(расчёт весь на то, сколько в дронах бензина),
«здесь есть кто-нибудь, — я спросил у платана, —
в соседнем окопе за остовом “зил”а?»

искомого тела игральные кости,
душа, не потя, вполне калорийна...
пока холостой — страстно ждёшь холокоста,
надеясь на что-нибудь поколоритней

судьба — это к чьей-то метафоре сноски,
проставленный штемпель на рваном конверте, —
в домашних условиях сороконожка
похожа на призрак болезни и смерти

словасбил исьсли плись кроваво некстати
и речь языка поджидает в засаде:
пока железа — то, хотя бы, предстате-
льная, лишь земля послев зры вовося дет

* * *

когда-нибудь ты сам себе признайся,
что в этой фразе речь идёт о нас:
ахейцы умерли и все данайцы
в любой из греческих античных ваз

жизнь — миг от сигареты до окурка:
подходит бот, убившись о причал
(речная завершается прогулка),
подходит срок и вместе с ним — печаль

из всех искусств для нас важнейшим будет —
вождения, коль лоцман вечно в хлам:
он по дороге, в праздники и в будни,
в афины ль, в спарту — попадает в храм

так гектор в час прощанья с андромахой
снимает шлем, дитя целуя в лоб,
так в глаз со скоростью с десяток махов
пошла ракета — и ослеп циклоп

прочёл я щит ахилла, не желая
того, до середины — и мой стол
прогнил, стоит квартира нежилая,
хоть лет прошло чуть более, чем сто

мир единичен и конечен — вера
никак не исключает некролог,
хоть, впрочем, остаётся для Гомера
свой Джойс, как возвращения залог

сады скульптур пройдя до половины,
я оказался вдруг в саду камней,
где тускло светит лампа аладдина —
и чем темнее светит, тем верней

* * *

начало, млечный путь с горы
среди спящих гор:
жжёт циферблат, душа горит
и плавится глагол

начальных дней подбит итог
и вечность за плечом:
я знал — един на свете блог
и я его прочёл

уже голодных стрелок тишь,
их шорохи в норе,
где миг церковен, словно мышь,
рождённая в горе

год наступил — вся жизнь потом
должна произойти,
но где про то сказал платон
я не могу найти

в который раз *we trust in god*
в палате сов и мер:
так проведёшь, как встретишь год
в толпе на таймс-сквер

протянешь сколько дней и лет,
а, может быть, минут:
в итоге ждёт всех мэриленд,
где «блади мэри» пьют

куда уходят поезда,
хоть сказано: «за горск», —
тебя преследует звезда
уже который год

преследует январский дождь
тебя своей тоской —
так от сумы ты не уйдешь
из области сумской

так не уйдёшь от нар и ран
от крыма до карпат:
есть ад земной — страна иран,
не худший, говорят

в саду осадки и оса
слепила в нём гнездо —
ты б тоже мог построить сам
и кров себе, и дом

ещё *монмарт* не наступил,
февраль тот враль ещё:
весь век ты вносишь цифры в π ¹ —
в число, чей долг счёт

не зарекайся, кайся — скайп
не подведёт и зум...
а год пройдёт — не умолкай,
не утирай слезу

¹ Число $\pi = 3,14159292...$ На июнь 2022 года известны первые 100 триллионов знаков числа «пи» после запятой; его десятичное представление никогда не заканчивается и не является периодическим.

* * *

суша суше с годами, волне за буёк
строго запрещено заплывать в час прилива,
над седою равниной летит мотылёк —
он без крова, без клюва и ветки оливы

вдруг поймает на мысли себя: слово «путь»,
даже краткое «пут» отвращает предельно:
календарь — с корнем «кал» и на годы он пуст,
в отрицательных числах и днях понеделньо

чем брутальной сосед, тем бетонней забор,
как в «ремонте стены» роберт фрост размечтался:
в наше время в тылу всех важней дискобол,
а где линии фронт — тот, кто трупом остался

настоящее с прошлым тот поизносил,
кто усёк, что в грядущее путь долгий горек:
на сегодня хватает не всякому сил
(этих, вооружённых), чтоб справиться с горем

всё черней корабли в чёрном море на дне,
в белом море горячке всего горячее:
жизнь одна, а смертей, как положено, две —
до и после, и в этом всё предназначенье

саркастично играет на флейте сатир —
всюду запах козла, всем мерещится ящер:
если вскрыть озадаченно крышки квартир,
там полно озабоченных, ночью не спящих

вспомним про мотылька — пво будет сбит,
самой мирной, для бабочек точной ракетой...
и в тот миг из потёмок пустых пирамид
отлетает сквозняк, как душа к тому свету

* * *

затишье сугробов, февральский ландшафт — мука глазу,
ишак не подох, падишаха по пятому разу
избрали, чтоб правил везде,
безмолвствие, хоть прорываются дроны, но виды
нейтральные в сумме: то храмы стоят на крови, то
на чистой, как слезы, воде

рептилия шумно вдыхает и выдохнет дурно,
под плёнкой морщинистой — рыбы глаза: дура дурой
на виде с любой стороны,
огонь изрыгает, язык древнерусский раздвоен —
ползёт одиноко по минному полю, что воин,
последних три года войны

несёт на хребте города и деревни, заводы
и фабрики, реки, моря, нейтральные воды
и вечное — стены кремля,
не ропщет: на ноше — эрозия почвы и сели,
вождь осатанел и госдума с ним вместе лысеет,
все саженцы выела тля

где тишь — благодать, будто в раковине у рапана,
бесслышно по снегу скользит тело левиафана
и каждый сугроб — с ядом гриб:
проснуться, как повод уйти от кошмара ночного,
хоть он возвращается снова, и снова, и снова,
and miles to go before I sleep¹

¹ And miles to go before I sleep, / And miles to go before I sleep — две последние строки из классического стихотворения Роберта Фроста *Stopping by Woods on a Snowy Evening*. В лучшем переводе, на мой взгляд, Григория Дашевского: «И ехать долго — сон далёк, / И ехать долго — сон далёк».

Андрей ГУЩИН

(Киев)

РЕКВИЕМ

(2025)

Н. И.

* * *

Скоро и мы отчалим —
Дайте известный срок —
Воздушные и печальные.
Был ли малейший прок
В жизненных треволнениях?
Скорбен Екклесиаст.
Сумрачно Откровение.
Сброшен земной балласт.

* * *

Да, скуфы — мы! Да, психопаты — мы,
С холодными и волчьими очами!
На нас изрядно в детстве накричали
И довели до края, до сумы.
Последний час, дрожащее «прости»
И траурные скорбные букеты.
Осталось ледяные пистолеты
К виску горячему беспечно поднести.

* * *

Все мёртвое становится живым,
Лишь только по-весеннему пригреет,

И смерть уже в глаза глядеть не смеет,
И стрекоза над цветом луговым
Кружит, кружит и странно зависает,
Фасеточный сверкает малахит.
И муравьёв таинственный синклит
Её от одиночества спасает.

* * *

Для тебя закончилась зима,
Но февраль никак не отступает.
Потекла весенняя сурьма,
Только не теплеет — холодает.
В дольний мир с вершин текут ручьи,
И проталины от солнца запотели,
Отчего же черные грачи,
Шумные грачи не прилетели?

* * *

Как собака идёт по следу,
Так и ты добычу преследуй,
А добыча твоя — мечта.
Старый город, а в нем почтаamt.
Ференц Лист отправлял депеши
О любви и деньгах, конечно.
Я и сам — как бланк белоснежный,
Заполняют меня небрежно.

* * *

Душа — потёмки. Что есть плоть?
Цветник пора бы прополоть.
Прабабка. Питер. Из дворян.
Праправнук. Киев. В стельку пьян...

* * *

Земля дрожала как живая
Осиной на вечерней зорьке.
Война пылала мировая,
А генералы пили горькую.

И фронт трещал, кренился ахово
И бреши конопатил шпателем.
Христа распяли под Курахово,
Как дезертира и предателя.

* * *

Звенит карпатского мониста
Лучистый колчедан, лучистый.
Небес сверкает серебро.
И каждый верит, каждый знает,
Что человек не умирает
В одном из множества миров,

Но улетает словно птица —
Вся наблюдает психбольница —
В иные лучшие края.
И долго над землей кружится:
Над кашкою и медуницей,
Над перстью старого жнивья.

* * *

Очичибабилась природа,
Гортанный смех, янтарный снег
И угасающего года
К финалу марафонский бег.

Но если можно верить в чудо,
И если физик нам не врет,

Что всё взялось из ниоткуда —
Ничто, конечно, не умрёт,

И лишь переместится каждый
В усталых путников приют.
Так кони в Тису входят дважды
И воду ледяную пьют.

* * *

С какой неистовостью осень
Пылала в камышах одесских,
Неужто не влюблялся вовсе,
Не допускал движений резких?

Есть тайные законы страсти,
Любви бессмертные константы,
Их изменить не в нашей власти,
И недоступны варианты.

* * *

Увял лазоревый цветок,
А он в любви сулил победу.
Как день воскресный одинок,
Никто не пригласил к обеду.

Под вечер выйдя за порог
На белый свет прекраснодушный,
Я на ветру совсем продрог
И спрятал голову в наушники.

* * *

Перрон отчаянный вдали,
И за поземкой город Смеха,

Уплыли скорбные рубли
Вниз по теченью человека.

И он, непостоянный паж,
Служить готов кусту малины,
И Зимний брат на abordаж,
И купиной неопалимой

Пылать. Но скорбный Капитан
Не знал, что в море ходят волны,
И воют ветры дальних стран,
А трюмы — тюрьмы казнью полны.

* * *

Воспоминаний алый зев,
В кумирнях рушатся кумиры,
Грехи беспомощной Пальмиры
Читает ангел нараспев.

Есть в углях глаз, белилах лиц
Предначертание благое.
Народы в страхе пали ниц
На поле бранное нагое.

* * *

Так гений и злодейство не совместны,
Как поезд и перрон, и как известно,
Ничто не отдаляет друг от друга
Надёжнее, чем за бортом округа.

Швартовы отданы, ведь бог — не запятая,
Готова Ахиллесова пята, и
Зима, как купина, неопалима,
И долу гнётся ветвь неумолимо.

* * *

Мы не рабы, рабы не мы,
А рыбам корм и угощение,
Ни от тюрьмы, ни от сумы —
Другое в силе воспрещение.

Свободы чёрная вуаль,
Встают холмы до горизонта.
За кряжем кряж, за далью даль,
Как линия второго фронта.

* * *

Как Осень набирает цвет!
Кадят веселые стригольники.
Готовясь братский дать обед,
Лисички бухают в рассольники.

Субботы приоткрылся створ,
На алтаре горит распятие.
Псалмами полнится собор
И трелями пернатой братии.

* * *

Трещат лучины пред иконами,
Но беспросветно небо осени,
Алеет лук на подоконнике,
Шуршит шиповник на подносе.

Разит веселым перегаром
В закрытой на зиму коморе.
И консервация в разгаре —
Душа надежно закупорена.

* * *

Печальней Вечного огня
Горит расхристанная осень,
И боль уходит от меня,
Не отвечая на вопросы

«Куда», «зачем». Она права.
Недаром журавли курлыкали.
Идут сегодня на дрова
Любови наши с закавыками.

* * *

Дела простые и великие
Не начал даже, вышел срок.
На вéлике по повилике,
На запад или на восток.

Лишь север забубен навечно,
Там моют золото монахи.
Журчат потоки скоротечные,
Кричат неведомые птахи.

* * *

Зацвел небесный Рожошкерт.
Ни басурмана нет, ни овода.
А на часах Зиновий Гердт
Или бесплотный слепок с оного.

Идиллия! Но борщевик
И здесь пустил нездешний корень,
Как будто новый большевик
Кресты сшибает с колоколен.

Тяжелый снегопад прошёл.
Ясна, как прежде, гладь залива.
Вода, как Гегель, говорлива,
Хоть смысла плеск её лишён,

Но есть такие знатоки,
Среди юродивых особенно,
Что грамотеям вопреки,
Читать умеют по колдобинам.

* * *

В рассветной мгле проделано отверстие,
А сверстники часов не наблюдают.
Не замечают признаков бессмертия —
А листья потихоньку упадают.

На пожелтевшем лбу морщинок россыпь,
Как звезд в созвездии Москва — Кассиопея.
Стоит, как девочка, отчаянно робея,
В сторонке осень.

* * *

Гроза над лугом. Бог семян
Взошел овсом и лопухами.
Ещё немного и ван Дамм
Небесный встанет с петухами.

Коровы замычат угрюмо,
К ним выйдет ранняя доярка,
Над рыжеватым окоемом
Луна коптит свечным огарком.

Виктор ФЕТ

(Хантингтон, Западная Виргиния)

КАМЕНЬ СНА

Возможно

Возможно ли, что смысл уже исчез,
и льётся только музыка с небес,
здесь, на камнях, безудержно пируя
и вспучиваясь, а структура слова
растаяла, защитного покрова
не формулируя, не формируя?

Потомков надо бы предостеречь:
навек опозоренная речь,
что прорастает огненными снами,
хранит свои свидетельства в словах,
надёжно прячущихся под корнями,
но застревающих в прогнивших швах.

И каждый раз, очередное слово
вставляя в речь, и будущую фразу
примерив к языку, как полоз к пазу,
я чувствую, как прежний день крошится,
и тлеющая памяти страница
уходит в ткани мира теневого.

На паузу поставлен эпизод,
пока центростремительная сила
вращает мой хрустальный небосвод

и в чёрную дыру летят светила —
и тонет, погружаясь, чёлн словесный
в водовороте музыки небесной.

25 июля 2025

Продолжая

Я, продолжая, букв не извлеку
из памяти: стремиться языку
куда теперь? В моих наставших днях
привычные слова бредут по кругу,
и яд, давно копившийся в корнях,
струится по ржавеющему плугу.

Мои слова, доставшиеся даром
от прежних дней, без смысла и страны,
как океан, горьки и солонь,
из почвы восходя по капиллярам,
не ведая целительного сна,
не ощущая каменного дна.

Их коркою покрылся небосвод;
их колокол привычен, как толчки
сердечной мышцы; краткие значки
в бескрайних строках отражают год
и день, когда сплетавшийся венок
поднялся на очередной виток.

Не иссякает жёсткая строка,
как желобок для струйки родниковой,
пробитая во тьме известняковой
когда-то в незапамятные годы,
идя сквозь незнакомые породы.
в невычерпанных штольнях языка.

26 июля 2025

Другой мир

Строка заканчивается,
звук вязнет, тает в толще снежной,
и по ту сторону лица
высвечивает мир безбрежный,
где свет не порождает тьму;
я слепо следую ему.

Здесь только в слоге есть опора,
его мелодия проста,
она читается с листа,
упав на плоскость водосбора;
на карте призрачного дна
его история видна.

И белой пеною прибрежной
на мир ложится текст прилежный,
его элегии и оды,
его медузы и рачки,
и звёзд условные значки
развёртывают небосводы.

Я там, где зеленеет склон,
где нужный путь изображён
на сложной вкладке или врезке,
где мир попался на блесну,
и под водой висит на леске,
и ждёт, что я опять засну.

31 июля 2025

Свет

Свет упавший, свет единый,
на лучи не разделённый,

исходя из тьмы бездонной,
здесь, под льдистою вершиной,
мир из выжженных полей
сном целительным залей!

Попадая в сети сна,
проходя заросшим садом,
чувствую, что где-то рядом
незнакомая волна
сквозь слои породы плотной
ударяет в мир дремотный.

Обволакивая сразу
все места, и в том числе
угасающий во мгле
зыбкий мир, не видный глазу,
струн мелодия простая
длится, в вечность улета.

Распрощайся с тканью тесной
текста, что давно заучен,
различая скрип уключин
подходящего паррома
в новой тьме, вдали от дома,
на планете неизвестной.

2 августа 2025

Берег

Берег ясный и пустой,
берег дальний и туманный,
оловянный, золотой,
как на марке иностранной,
неоткрытый, негашёный,
жизни признаков лишённый!

Берег сказочный и дивный,
бесконечный, непрерывный,
не вмещающийся в даты,
где твои координаты?
Где откроются твои
четвертичные слои?

Над тобой завесой дыма
век взошёл необратимо,
а сверхновая звезда
угасает, как всегда,
только время в скалы бьёт
через водорослей йод.

Что же! звёзд осталось много,
опаемых богами;
нам достанется нести
правду горькую в горсти,
не суммируя итога,
пробегаая берегами.

3 августа 2025

Цепь

Последнее звено цепи
на этом камне закрепи,
костыль железный вбей в скалу,
приникни к ней и слейся с ней,
чтоб не сорваться в бездну дней,
во всеобъемлющую мглу.

Здесь, на поверхности скалы,
слова лежат слоями пыли,
утративши идею воли,

переходя в потёки соли;
их мир исчез, их корни сгнили,
пусты засохшие стволы.

На дни распался мир былой,
тогда как время не стрелой
летит, а кружится, сметая,
как ржавой цепью, всё подряд;
слова со мной не говорят,
и речь возвращается пустая,

Слова, которые мы пели,
уже не поражают цели,
они, как дождь, стучат по плитам
и высыхают в тот же миг,
не достигая наших книг;
их нету в доступе открытом.

8 августа 2025

Невдомёк

Нам невдомёк, что мы живём
в воображении своём,
в материи пустой и тёмной;
её задачник однотомный
в конце ответов не даёт—
но океаном пахнет йод,
и я иду вдоль рваной кромки,
и мысли обнажают дно,
и результаты топосъёмки
дают понять миропорядок,
там, на полях моих тетрадок,
описанный не так давно.

Меридианы этих сеток
перебирая так и этак,
теперь уже не в нашей власти
начать словарь с любого слова,
сеть трещин на проезжей части
сменить на смысл песка речного
в мирах, отныне невозможных,
на дне, куда ушёл Египет,
куда заглядывать не надо,
на стыках железнодорожных,
где тает параллелепипед
заботливого рафинада.

13 августа 2025

Молчание

Певцы молчания! Прильну
и я к замерзшему окну,
где память в атмосфере едкой
была надышанной монеткой
в краях отныне неживых;
где нету центров речевых.

Рта не открой в воде болот,
не продолжая свой полёт
туда, где совесть не извлечь,
как меч из проржавевших ножен,
туда, где выбор невозможен,
где иссякает наша речь.

Тот слог, что нам казался сложным,
не представляется возможным
хранить, как нотные ключи,
как пламя гаснущей свечи,

в глубинах новых катакомб,
как отрывающийся тромб.

Сквозь крови ток и щебня груды
слова слипаются, сосуды
законопатив и забив;
на берег вынесет прилив
неузнаваемый сюжет,
в котором нет ни дат, ни лет.

И что сказать, когда поэты
дают молчания обеты
в руинах вавилонских башен,
где ход событий дик и страшен?
О чём мне петь, когда мертва
ткань, создающая слова?

25 августа 2025

Камень сна

Молчите, острова!
(Исаия, 41)

Молчите, острова! Вас окружит вода;
вам нечего сказать, и время никогда
не будет вашим, горькие породы
накапливая за пустые годы.
И в ком из вас наличествует сила
сказать, что будет — или то, что было,
глазами увидеть, и провести
прямую линию из прошлых лет,
соединив исходы и истоки?
Где ваши ложные пророки,
не уяснившие, где тьма, где свет?
И кто найдёт и вычислит кривые,

которым служат существа живые,
встречая краткие восходы?
Молчите, острова? Вас окружают воды,
разлившиеся там, где расступились плиты.
Узнаете ли вы, какие тайны скрыты
в той глубине, где лучшие поэты
слов подходящих выбрать не могли?
Вы — крохи высыхающей планеты,
комки недавно собранной земли,
обломки дней, ушедшие в пучину,
а то, что вы умеете слова
сплести в изысканную паутину —
так это всё игра, где за волной волна
крошит усердно мягкий камень сна,
в котором вы молчите, острова.

25 августа 2025

Гибель языка

Так умирают наши языки:
от них отваливаются куски,
вобравшие в себя анчарный яд
там, где на них уже не говорят,
в пространстве обожжённых регионов,
в краю отхода адских легионов.

Там, где воображению заслон
уже поставлен противопехотный,
не будет важен и понятен он,
моих былых мечтаний слог дремотный:
слова мои болтаются в котомке
и пригорают в ржавом котелке,
и я уже не знаю, что потомки
сказать хотят на этом языке.

Погас давно истраченный кристалл,
усохла речь, чьи корни были сладки,
экран потух без должной подзарядки,
но, кажется, я всё уже сказал.
Подведены итоги наших сумм;
немееет память, и затёкший ум,
когда-то бодрый и благоговейный,
пронзает бесконечный ряд иголок
в кошмаре, словно ткань в машинке швейной,
где сгнивший шов размечен и распорот,
в солёной тьме, где новый археолог
на дне наткнётся на погибший город.

30 августа 2025

Происхождение речи

Михаилу Голубовскому

Вот мысль: что, если эта речь —
не плод трагедий или драм
в цепях прикованного духа,
и не дитя душевных криков,
небесных молний или громов,
но результаты анаграмм
и артефакты палиндромов,
гипнозной магиею слуха
сумевших встроиться и лечь
в пазы, как в строки лимериков?

Так вирус формирует ген,
день ото дня и год от года
во тьме тасуя сущность кода,
и тексту старому взамен

даёт бессмыслицы, повторы,
не исправляя большинства
ошибок, должные слова
вставляя в радужные хоры —
и букв неожиданный поворот
над прежним смыслом власть берёт.

И в погремушке слов случайных
горохом жёлтым и сушёным
бренчит наследственность, и в тайнах
происхождения слепого
к неисчисляемым зонам
восходит нынешнее слово,
которое придёт ко мне
из глины или чернозёма
в реторте пенного генома,
в его невнятной болтовне.

31 августа 2025

Здесь на краю

Здесь, бездны на краю,
где ров не перейти,
стою я и пою;
почтовые пути
закрыты в эту волость,
и только мне видна
источенная полость
изысканного сна.

Теряя рукавицу
на призрачном пиру,
рукой усердно тру
глаза, где роговицу

отечеств дым не выест,
ступая на карниз,
на въезд или на выезд
не получая виз.

Не бьются и не скачут
слова в мешке заплечном;
они уже не значат
моих контактов с вечным,
и лопнула подпруга,
и сломан ход строки,
и ссохлись от испуга
седельные мешки.

Сжимаясь от стыда,
превозмогая страх,
возникнув иногда
в расторгнутых мирах,
где тою же монетой
отплатят палачу,
мой верный слог, над Летой
лети, как я лечу.

31 августа 2025

Борис ХЕРСОНСКИЙ

(Одесса)

НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ФУДЗИ

富嶽百景

Открылся бы третий глаз — скорее всего на лбу,
я мог бы увидеть волну, завихряющуюся в трубу.
Наверняка — подзорную, ибо легко могу
сквозь нее увидеть вершину горы в снегу.
Снег, лёд, вода — стихия одна, но разница всем видна.
Об этом расскажет нам завихряющаяся волна.
Но поскольку глаза знают лишь цифру «два»,
приходится переводить невидимое в слова.

Слова тянутся в строки и выстраиваются в столбцы.
Но где же твои читатели. И где же твои чтецы?
Где найдешь декламатора, чей голос бы напоминал
не сладкую патоку и не девятый вал.
Должно быть где-то в Японии, где в трубу свернулась волна,
там за внимательный взгляд заплатят тебе сполна.
Но мне — увы — на своем не видеть веку
цепь иероглифов, перекрывших мою строку.

Ниже края листа представляются мне
большие усатые рыбы, плывущие в глубине,
медузы и осьминоги, крабы на длинных ногах,
и нечто совсем глубинное, что людям внушает страх.
Выше верхнего края листа — незримые облака,
сменяющие друг друга, как годы или века.

Что справа и слева? Скалы, и волны — одна за другой,
не представишь тут девы нагой, что пробует воду ногой.

Не увидишь и самураев, встречающих нас, как врагов.
Взгляд прикован к горе под шапкою льдов и снегов.
И стоящие у подножия сёла и города
скрывает от нас, но пока не смывает вода.
Это волне еще не под силу, хоть
иногда бывают цунами — не приведи Господь.
У меня всего лишь два глаза, и эти глаза полны
видом горы сквозь трубу завихряющейся волны.

13 октября 2022 Umbertide

富嶽百景

Сто видов Фудзи. Где сто первый и сто второй?
В Японии я любовался бы этой горой,
представляя себя — или может быть становясь —
улиткой на склоне,
которая как умеет, так и ползёт,
и окажется на вершине, если ей повезёт,
не думая ни о падении, ни о возможной погоне.

Вот так глядишь на стопку гравюр Хokusая,
прыгая выше лба, локоть тихо кусая,
от зависти к взгляду в разное время дня и с разных сторон.
Была бы гора, достойная взора японца,
то ли с берега моря, то ли из дому, из оконца,
то ли в саду сквозь прорези лиственных крон.

Полоска слизи похожа на след слезы,
сползающей по щеке, если смотреть вблизи,
и капля подобна раковине неторопливой,
в которой сокрыто горе, что ни описать пером.
ни в сказке сказать, где не кончится дело добром,
и смерть становится реальной альтернативой.

Ах, какая гора! Шапка льда горит белизною.
Иначе — зимой. Иначе — ранней весною.
Ползи, улитка, по склону, ползи до самых высот,
побудь на вершине, почувствуй себя, как дома,
помни, что спуск с горы — опасней подъема.
через миг и гора — не та, и сам ты уже не тот.

И это вид на Фудзи — номер поболее ста.
В сей басне нужна мораль — и эта мораль проста.
Сколько ни повторяй, но направление взору
определяет стремление по-иному взглянуть,
не стыдясь и не смущаясь ничуть,
повторять себя и радоваться повтору.

Так песнь восхождения предполагает ступени,
повторяющие друг друга, а удлинение тени
за спиною твоей предполагает неизбежный закат.
А вот и стемнело. И лишь полоска рдяная
тянется вдоль горизонта — у самого края,
и множатся виды на Фудзи, повторяясь стократ.

12 октября 2022 Umbertide

富嶽百景

Слепи лепешку из горячей лавы и пепла.
За ночь гора воздвиглась и смотрит, пока не ослепла.
Видно что-то особое было в тесте —
за ночь гора воздвиглась на ровном месте!
Смотрит на тех, кто глядит на неё, побледнев от испуга:
три вулкана, хрипя, взбираются друг на друга.
Вот, пришел самурай в пышных одеждах, не зная
что гора разрослась, чтоб удивить самурая,

чтобы дать приют божествам на склонах и на вершинах,
чтобы стать основанием для скал несокрушимых.

Чтобы взгляды со всех сторон на вершине ее сходились.
И тех, кто еще не родился, и тех, кто с жизнью простились.
Всё началось с лепешки из пепла, что смешан с горячей лавой.
Так и смертельный позор бывает смешан
с бессмертной славой.
Так со всех островов видишь крытую снегом
вершину горы, что до неба растёт, но не сливается с небом.

Вчера горы еще не было! Что это? Наваждение?
Тень наваждения?

Ночь рожденья горы сменяется днем рожденья.
День рожденья горы — кто знает, что это значит?
Сидят самураи, тычут пальцами, друг с другом судачат,
кто породил за ночь такую громаду?
И если найдут его — то вымолит ли пощаду?
Сколько храмов нужно построить, ублажая богов ораву?
Кто же, в конце концов, смешал пепел и лаву?

14 октября 2022 Umbertide

富嶽百景

Осенний лист в паутине замещает крыло мотылька,
тем более что паука не сдуло ветром пока.
Должно быть, перезимует в прелой опавшей листве,
закрыв все восемь глаз на паучьей своей голове,
прижав хелицеры и восемь членистых ног.
Хотел бы прочь уползти, да, видать, не смог.
Сквозь сеть паутины видна гора, как будто она
также поймана в сети, паутиною оплетена,

добыча живого глухого примитивного существа,
которое на зиму пригреет ржавеющая листва.
Лишь листик один не упал на землю пока,
добыча для ветра, негодная для паука.

Так один на другой наслаиваются миры,
где лист осенний не меньше великой горы,
где ветер колеблет паучью пустую сеть.
Но ветер бессилен, и сеть продолжает висеть.

Прищурь глаза, сквозь ресницы на мир посмотри,
видишь сквозь, но кажется, видишь то, что внутри.
Если смотришь в даль, паутина почти не видна.
Смотришь в близь, и гора — куда подевалась она?
Растворилась в пространстве? Отодвинута в небытие?
Если смотришь на паутину, то видишь только ее.
И лист, колеблемый ветром, полмира закрыл от глаз,
и все, что ты видишь, быть может, в последний раз.

13 октября 2022 Umbertide

СОНЕТ

Страна восходящего солнца, где все же бывает закат,
где из каждого уголка можно увидеть гору.
Куда ни пойдешь — она открывается взору.
Здесь тот, кто сыт и доволен, тот и богат.

Гравюры с видом на Фудзи идут нарасхват.
Взгляд не рычаг, но легко находит опору.
И слива цветет. И радуется простору
бумажная птица — летательный аппарат.

Велик материк, но проснешься едва,
в окно поглядишь, и привычный вид навевает
тоску, и вновь укрываешься с головой.

Поэтому мысль так и просится на острова,
где есть всё то, чего здесь никогда не бывает.
И в этой мечте растворяется голос твой.

15 октября 2022 Umbertide

富嶽百景

Дракон подлетает к Фудзи. Нырять в кратер дракон.
Пламя из кратера изрыгает до неба он.
Тяжелые камни с пеплом взлетают ввысь
и никто не скажет волшебное слово «дракон, заткнись!»
Но вот с кривым мечом спускается божество,
чтоб усмирить чудовище и обезглавить его.
Ибо меч побеждает там, где бессильны слова —
и летит в поднебесье ужасная голова.

И кровь наполняет кратер, извергается из,
выжигает снега, по склону лавой стекает вниз.
И дух дракона, как дым, извиваясь, пугает народ,
и народ разбегается и рассыпается в свой черед.
Камни, лава и пепел — откуда они взялись?
Спасайся, кто может, покуда возможно спастись.
Но есть ли спасенье, уходит земля из-под ног,
горячий покров дрожит, как будто продрог.

И всех пробирает дрожь от головы до пят.
И лава течет, и горячие камни летят.
И женщины голосят, к груди прижимая ребят.
И дети испуганы и от страха вопят.
И старец бежит, прикрывая затылок рукой,
но смерть смеется при виде защиты такой.

Дух дракона кольцами дыма охватывает простор.
Он парит над горой, что выше окрестных гор.
Дух дракона сильнее, чем мертвое тело его.
Сколько было людей у подножия! Не осталось ни одного.
Покинуты сёла. Крыши горят на домах.
Крыльев нет, но остается широкий взмах.
Мысли путаются в умах, в беспорядке толкутся слова.
Хохочет из облака отрубленная голова.

22 октября 2022 Umbertide

Рита БАЛЬМИНА

(Нью-Йорк)

МОЯ ОДЕССА

Ту, мою Одессу детства,
Доживавшую на идиш,
Выживая не по средствам,
Лишь во сне теперь увидишь.

Там с балкона — стрелы кранов,
Кораблей заморских трубы.
Порт рычит Левиафаном,
В рупор матерится грубо.

Дух из коммунальной кухни
Жухлый, луково-чесночный...
Над кастрюлей тети Рухли —
Муж ее беспозвоночный.

Боцман Гольц пришел из фрахта,
Пьет уже вторые сутки
И жену — проклятой шляхтой —
Обзывает — проституткой.

Вьется над двором былинным,
Где субботний отдых тяжек,
На веревке — длинным клином —
Стая выцветших тельняшек.

А под ней «козла» со стуком
Забивают ветераны.
Улыбается толстухам
Нелли Харченко с экрана.

На втором клопов морили,
Гольц нажрался, как скотина...
В небеса — хвалой Марии —
Ангел звука Робертино.

* * *

глянешь в зеркало вновь
там седая горилла
жизнь свернулась как кровь
а когда-то бурлила

жизнь свернулась в клубок
под холодной колодой
и её колобок
вероломно обглодан

жизнь свернула в кювет
и ржавея под снегом
шлёт прицельный привет
уцелевшим коллегам

* * *

Я появилась на свет полоумной старухой —
Щеки в морщинах, с большой бородавкой под ухом.
Бельма невидящих глаз в тусклом взгляде застыли,
Слово беззубому рту прошептать не по силе.

Так и жила, молодея от лета к весне я:
Вот и морщины разгладились, от комплиментов краснею.
Космы седые плешивой башки
в кракелюрах
Стали роскошной густой золотой шевелюрой.

Жизнь протекала неспешно, как очередь в кассе:
Вот я смущенно молчу у доски в первом классе,
Позже смеюсь на плече у отца на параде,
С гроздью воздушных шаров и ноздря в шоколаде.

Скоро в младенчестве сладком могу оказаться
Буквой заглавия, строчкой в начальном абзаце.
В давней дали обиталище тлена и гнили.
Снова вы рядом, кого век назад схоронили.

* * *

по наклонной вниз я жила в нью-йорке
как в одесском детстве скользила с горки
и при этом над всеми и вся глумилась
я впадала в панику и в немилость
выходила в тираж не за тех из комы
навсегда забыла всю жизнь искомым
я плохая мама и дочь плохая
и пою пустотами громоухая

нахлебавшись грязи с богемной кодлой
поступала пошло грешно и подло
все мои лирические чертовки
просто грубый фейк или фокус ловкий
на ходу меняя задач условия
под ответ подгоняла строки злословие
виртуальных оваций срывала лаву

и теперь пожинаю дурную славу
я словесный мусор сметаю в строки
и от критиков слышу одни упреки
я на ветер пускаю свои зарплаты
и оставляю сыну одни заплаты
я давно растеряла родных и близких
вместо них лишь даты на обелисках
впереди распад по его закону
я прошу не пишите с меня икону

* * *

Я забыла дом,
Где любить не смела,
Где Бальзака том
На балконе белом,
Дребезжал буфет,
Скрежетали ставни,
И скрипел паркет
Унижений давних.

Не ища угла,
От родных и близких
Навсегда ушла
Без поклонов низких.
И, наддавав под дых
Кобелям постылым,
Позабыла их
Имена-могилы.

Суею поправ
Певчий дар небесный
Я лишилась прав
На стихи и песни.

Никого не жаль,
Ни черта не нужно
И пуста скрижаль,
И строка натужна

Кликни, баловник,
Да на линки эти.
Я — безликий nick
В никаком Рунете.
На Великий Пост
Пантократор-Боже
Уничтожит post...
Модератор тоже.

МАМА И ПАПА

Мой папа в середине прошлого века
был похож на Грегори Пека,
в «Римских каникулах», только седой
от сиротской участи тяжкой.
Мама, когда была молодой,
на его фоне казалась дворняжкой
женского вида homo.
Она была стервой:
уходила к другому
в году не помню каком,
никогда не мирилась первой
и держала папу под каблуком,
а я всегда удивлялась:
как ей это так удавалось?
В шкафу их спальни — в нише дубовой
был скрыт от меня невидимый скелет,
и мне никогда не понять, бестолковой, —
как они прожили вместе полсотни лет?

Так, составляя одноголосый дуэт
и деля фекалии жизни пополам,
они постепенно сошли на нет,
превращаясь в старческий хлам,
и стали похожи на сморщенных обезьян,
у которых внешность сплошной изъян,
а внутренности насквозь прогнили...
их внутренних мир — под слоем пыли.
Папа был тих, уступчив и скромн,
мама ругалась, как торговка с «Привоза»...
Он лежит сейчас в операционной коме
в парах наркоза,
а она почти ослепла:
кота от пса не отличает,
но даже из своего пепла
рулит и жжёт, и права качает.
А я им, блудная дочь,
ничем не могу помочь.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ К АНГЕЛАМ

Мой ангел, я тебя любила —
И потому не родила...
Слащаво тает пастила
В слюнявой полости дебила —
Он походя плюет мне в душу,
Потом уходит на носках,
Чтоб ангел, сизый от удушья,
Зашелся на моих руках.

Но бывает еще больней:
Жмут жгуты до сизых полосок —
Это зверем взревел во мне
Недоскребанный недоносок.

Он породой не вышел в знать.
Смою с рыльца пушок пыльцы,
Раз его не желали знать
Все родные его отцы.
И не выросло ничего
На бифштекса кровавающей ране.
Это я кромсаю его
В разухабистом ресторане,
Где ухой от заморских тун
Шатко выстелен пол пологий.
Околеет совесть-шатун
Вдалеке от пустой берлоги.

Мой ангел сизый, голубь сизый,
почтовый... скорый... электричка,
ведь у тебя была сестричка:
горячий ком кровавой слизи...

Мой голубь сизый, почтовый, скорый
Глядит на землю небесным взором,
Перелетая державу ту,
Где Волга впадает в кому и нищету,
А в Каспийское (о чем не писал Расин)
Закачивают керосин.

Смотрит, сизокрылый мой,
Из-за облака домой.
Сквозь протекший потолок
Видит клок семейных склок
Видит маму, видит папу,
Видит: кошка лижет лапу —
Это значит: будут гости
Веселей, чем на погосте.

Это — пойло, это — жрачка,
Это — «винт», а тут заначка.
Это вовсе не «гестапо»
Убивает маму с папой.

P.S.

Я кружусь в танце,
в большом хороводе
со своими нерожденными детьми...

* * *

Песочные часы идут без боя,
А бой в песках идет не первый час,
В песок стирая камни под собою,
Не ставшие надгробными для нас.
Глаза песком забрасывает страх:
Его частицы в воздухе прогревом
В стекло спеклись, оплавясь на кострах,
Под целящимся в небо минаретом.
И пахнет мясом — жареным, горелым.
На минарете снайперы засели —
И тишина чревата артобстрелом,
А смерть не пролетает мимо цели.
И мир уже висит на волоске
Из бороды языческого бога,
Которому опять приносят много
Напрасных жертв, лежащих на песке
Часов песочных, где проигран бой,
И время замкнуто самим собой
И, перевернутое — сыпется обратно,
Когда песок сомкнется над тобой,
Гордись, герой, печальной несудьбой,
Некратной времени, отвратно-ратной.

* * *

грунт не бывает пухом
в пух или прах разбито
вдребезги не по слухам
жизни моей корыто

зависть меня заела
да левизна поправок
но не пойду на дело
и не умру за правых

не говори мир праху
прахом весь мир усеян
чем головой на плаху
лучше в своей постели

нос задери морковкой
ангел упавший с ели
смерть не бывает легкой
легкое раки съели

МЕГАПОЛИС

Мегаполис, продрогший до мозга костей
И промокший до синевы.
Я попала сюда, как в хмельную постель
К чужаку с которым на «вы».
Мегаполис тоннелей и эстакад,
Над Гудзоном дающих крен,
По мостам и трассам сползает в ад
Под воинственный вой сирен.
Мегаполис: Эмпайр попирает твердь,
Припаркованный к облакам,

На Бродвее рекламная круговерть,
Мельтешат мультяшки «дот кам»,
Но армады высотных жилых стволов
Неустанно целятся ввысь.
Пожирай журнальных акул улов
Да избытком быта давься.
Поздний брак по расчёту с тобой постыл,
Но вопящую душу заклеил скотч,
И на сотни миль твой враждебный тыл...
В мегаполис по-лисьи крадется ночь.

* * *

город-ад город-гад
ты настолько богат
что сидишь на игле без ломки
героиновой дури
сырой суррогат
да прикольных колёс обломки

город рай самый край
здесь живи-умирай
марафетным жрецам на потребу
шприц-эмпайр
обдолбанным шпилем ширяй
варикозные трубы неба

смерти нет это бред
упраздняю запрет
над тобой косяком проплывая
ты пейзаж я портрет
над бродвей лафайет
траектории тает кривая

я обкурен и пьян
и тобой обуян
и бореем твоим обветрен
обнимая кальян
разжимаю капкан
вертикальных твоих геометрий

* * *

Век черно-белых фоток,
Век телефонных будок
Был романтично-кроток —
Но забывать не будут.

Ярок он был и краток,
Майской грозе подобен,
Но по цене каратов
Камни его колдобин.

Вместе с нездешним принцем —
«Лэвис» потертый стильно —
В будке пришлось укрыться:
Ливень был очень сильным.

Даже, не зная кто ты,
Таяла я, как льдинка...
На потускневшем фото
Кем тебе та блондинка?

* * *

Неотвратимо, как псалом —
Пушинкой пушкинского текста-
Уже витает над столом
Воспоминание из детства:

Бабуля заварила чай,
А папа смотрит телевизор:
Свисток, пенальти получай,
Арбитр поруганный освистан.
А мама шьет, кляня иглу,
И кошка сонно лижет плоску.
У подоконника в углу,
Где муха оседлала крошку.
А я с уроками вожусь,
И буря мглою небо кроет,
Сгущая косинусов жуть,
Над ратным подвигом героев.
Обычный вечер как всегда
Темнеет, исчезая в Лете,
Чтоб, сквозь года и города,
Со мной скитаться по планете.

* * *

давай вернемся в сорок лет назад
где ты был гад а я была красotka
лилась в граненые стаканы водка
и тот был строен кто теперь пузат

на улице стоял двадцатый век
горел фонарь под надписью аптека
никто не слышал слова ипотека
и даже мент был тоже человек

от тех времен остался только сон
их помнить даже смысла не осталось
и только мы с тобой сглотив усталость
по прошлому вздохнули в унисон

* * *

Дорога скатертью ушедшим от меня.
Счастливого и доброго пути,
Который извивается, маня,
И по которому легко уйти
За аппетитом у других столов,
За наслаждением в других постелях,
Да будет путь ваш розами усеян,
И чтобы розы были без шипов.
По ним ступайте радостней, небрежней,
Чем по моей заснеженной стерне.
Пусть ангелы с моей улыбкой прежней
К вам иногда являются во сне.

ОКТАБРЬСКИЙ СОНЕТ

Прости-прощай, угрюмый бог заката —
Империи багряная заря.
Ржавеют безымянные солдаты
Над грудой мерзлого инвентаря.

Кругом дрова, распилы и откаты,
И братьев брат ограбил втихаря.
Как дверца от манды твои мандаты
И монстры демонстраций Октября.

Но сказок детства не похоронить.
И больно сердце дергает за нить
Простая дунаевская запевка.

И снова снов узорчата финифть:
Отряду октябрят не изменить,
Где аленький флажок держу за древко.

УТРО

Она проснется темной ранью,
Пугливой тенью прошмыгнет
Вдоль угловых гранитных граней,
В пустой подземный переход,
Сквозь турникет пройдет привычно,
По эскалатору сбежит,
В зловонный скрежет электрички,
Туда, где вечный бомж лежит,
И будет вяло пялить зенки
На зазеркальный мрак окна
И сонных лузеров подземки,
Таких же ранних, как она.

Николай КАРАМЕНОВ

(Александрия)

ВИД ИЗ ОКНА

* * *

Полоска дня — тускнеющая кость,
которую обглаживает вечер.
Как между пальцев время пролилось,
и измерять нависший сумрак нечем.
Предтеча не угаданного, — там,
где краем неба, за изгибом склона,
как будто по отрубленным рукам
застывшей вспышкой рдяная колонна
сминает в жмых последний горизонт,
чтоб проросла уже иная завязь,
и воздух, расщепившись на азот
и копоть, изнурялся, задыхаясь.

* * *

Налипший лист на тусклое стекло —
луна, что на ущербе, освещала
далёкий угол спальни, но сначала
пологий луч, как будто бы весло,
плеснувшись вдоль сиреневой каймы,
край комнаты был ею оторочен,
вдруг сдвинул дом и так вот, между прочим,
толкнул его в объятия зимы.
И время разомкнулось в снегопад:
мерещилось, что звёзды рассыпались

бесчисленные блёстки колкой стали,
что постепенно стали налипать
разводами на узенький карниз, —
с той стороны как будто бы дышали
внутрь комнаты из белой шерсти шали
и, разметавшись, ускользали вниз.

* * *

Бабий Яр. Высохшая трава,
Словно бы после волока — в клочья, на узел.
Шестигранный осколок луны вдоль рва.
На далёкой звезде зрачки свои сузив,
горизонт изгибает пределы сна,
удлиняя его острым конусом в небо.
Искажение видимого, кривизна
бега времени. Будто натянутый невод
Млечный путь, что в овалах отверстых жабр,
постепенно тягучим потоком уносит.
Лишь потом появляется огненный шар
всех оранжевых листьев осени.

* * *

Слепящий день. Оплавленные окна.
Всё небо, как под горло диафрагма.
И время ускользает, как угодно,
но только не в прошедшее, упрямо
цепляясь за деленья на наручных
часах, за всполошившиеся стрелки.
А небо поднимается всё круче,
и даль спешит за ним, ступая мелким,
рассыпанным над горизонтом шагом.
И словно жгут, чтоб высвободить вену
на теле выси, плотно пережатом,
день в сумрак распрямляется мгновенно.

СОФОКЛ

Антигона, второй и третий стасимы
пер. Григория Стариковского (Нью-Йорк)

Стасим Второй (582–625)

строфа 1

Счастлив, кто в жизни не пробовал
горечь на вкус, но если боги
дом расшатают, — беда, ее избыток,
настигнет семейство,
как разбухшее море, когда
глубинная темь бежит навстречу
(фракийской ветер — одышлив,
порывист) и вздувает со дна,
и перекачивает черный
песок, и берег, исхлестанный
волнами, ревет и стонет.

антистрофа 1

Долгие беды Лабдакидов —
вижу я — приторочены к бедам
мертвых, одно поколение
держит другое, некий бог бросает
навзничь, не дает исхода.
Только что свет простерся
над последней порослью
Эдипова дома, как снова ее пожинают
кровавый пепел подземных богов,
корявая речь и Эринии,
давящие на рассудок.

строфа 2

Кто из людей, о Зевс, преступив
законы, сдержит твою мощь?
Всевластный сон и неуклонные
месяцы года не возьмут верх,
но, Государь в бессменном времени,
ты обладаешь белым блеском Олимпа.
Этот закон и теперь останется в силе,
и в будущем, и в прошлом:
ни одно ключевое событие
не случается с человеком
в отрыве от катастрофы.

антисрофа 2

Надежда, скитаясь всюду, полезна —
одним, для других — досада, как след-
ствие пустых соблазнов, она настигает
тебя, а ты и знать не знаешь, пока
голень не обожжешь в пламени,
есть же известная мысль,
какой-то мудрец ее высказал:
зло, оно кажется безупречным, если
бог подтолкнет рассудок — к безумию
тогда ты протянешь недолго,
не испытав бедствия.

Стасим Третий (781–800)

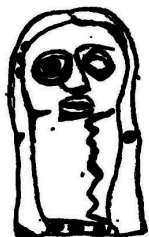
строфа 1

Эрот, непобедимый в битве,
Эрот, ты мучишь овечий
гурт, проводишь ночь
на нежных щеках девицы,

ходишь за море
и под сельскую кровлю,
никто из бессмертных
не спасется, ни человек-
однодневка, каждый
безумен, кто в твоей власти.

антистрофа 1

Ты коверкаешь справедливость,
тянешь ее к бесчестию,
заводишь усобицу между
родными людьми (побеждает
видная прелесть, которая
льется из глаз ненаглядной
невесты), место твое —
вблизи самых лучших
законов, необорима
Афродита, когда она резвится.



ПРОЗА



Игорь ШЕСТКОВ

(Берлин)

БАККАРА

Он — сын полоумной кухарки, отравившей своих господ крысиным ядом.

Она — внебрачная дочь его светлости герцога, известного распутника.

Представляете, какая это семейка?

Безумие, чистое безумие.

Сидел в моем любимом итальянском кресле в гостиной у открытого окна на балкон, смотрел на голубое апрельское небо и беседовал сам с собой на злободневные темы. Что мне еще оставалось?

Пил из оранжевой, как футбольная форма у голландцев, глиняной чашки свой единственный напиток — горячую кипяченую воду. Без ничего. Потому что от какао или кофе — живот начинает болеть. А чай, как было замечено одной сервильной дамочкой, — пьют отчаянные.

И от ряженки из русского магазина пришлось отказаться. Слишком много в ней сахара. И от кефира...

А алкоголь я не пью с тех пор, как из СССР эмигрировал. Не за тем я уезжал.

А зачем я уезжал?

А затем, чтобы больше не видеть эти поганые рожи... рожи ублюдков, которых позже стали называть ватниками и колорадами, а в мое время называли просто совками. Посмотрите на марширующих на их параде мужчин и сра-

зу поймете, о чем я говорю. Затем, чтобы не переживать как личные несчастья волны и интерференции агрессивного маразма, исходящие на моей родине и сверху, и снизу.

Кстати... меня, особенно в первые, тяжелые годы эмиграции, немцы часто спрашивали — зачем я приехал в Германию. Поначалу я пытался что-то объяснять, осторожно рассказывал об отвратительных сторонах жизни в СССР, о невозможности самореализации художника в советском обществе, о зоологическом антисемитизме.

Потом понял, что вопрос этот провокационный задают мои недоброжелатели, хуже... люди, в открытую или втайне ненавидящие иностранцев. Тогда я выработал для себя краткую и ёмкую формулировку ответа: «Я приехал в Германию, потому что тут вкусные сосиски и потрясающее пиво».

На самом деле — пиво я не пью вовсе, а сосиски стараюсь есть как можно реже.

Для особенно назойливых и противных собеседников у меня была к этой формуле добавка: «И потому что тут очень красивые и любвеобильные женщины».

Проговаривал я все это с серьезной и проникновенной гримасой на физиономии. Вопросатели кисло улыбались или прыскали слюной от ярости.

Вчера похоронили двух марксистов... нет, извините, папу римского Франциска. Антипутинские комментаторы ругают его за то, что он недостаточно резко осудил агрессию России против Украины. А мне почему-то не хочется ругать папу — да, резко, грубо не осудил, а мягко — осудил. И не раз. И то хлеб. Церковь — не Савонарола и не Солженицын. Ругатели должны сами... сами что-то делать против этой войны, да, сами... А не валить все — то на папу, то на клоуна Трампа, то на Европу, то на Америку. Те

должны, эти должны... Никто никому ничего не должен. Ты сам. Только ты. Должен. А остальных оставь в покое. Папа много доброго сделал, затупил, где мог, острые зубы римского католицизма. Призывал к человечности. Заботился о бедных и бесправных. Подавал пример скромности и доброты.

Смотрел церемонию по телевизору. Грандиозно.

Особенно хороши были пунцовые одеяния кардиналов и их же белоснежные высокие шапки.

Как говорила одна старая грузинка из Батуми: «Пахарили дастойно!»

Операторы часто показывали руки кардиналов. Бледные ладони. Пухлые пальцы. Ухоженные, с маникюром. Пальцы людей, никогда не работавших физически. Андригонов. В голову сами собой лезли участвовавшие в последнее время сообщения о многолетнем сексуальном насилии католического духовенства против мальчиков нежного возраста. Тысячи случаев по всему миру!

Природа — безжалостный стилист — не любит пустоты и всегда заполняет пробелы.

Твердил и твердил себе: «Не осуждай! Суди только самого себя».

Потому что в твоих фантазиях ты тоже... Нет, фантазий с насилием у тебя, спасибо богам, никогда не было. Но не потому, что ты хороший, а потому, что каждому дано нести свой крест. Так колода стасовалась.

А с мальчиками — были. В оправдание могу только сказать — что вышеупомянутая природа, если бы не хотела, чтобы у взрослых мужчин при виде девятилетнего мальчика или девочки возникало эротическое желание — могла бы не делать их такими сексуально привлекательными.

Припухшие грудки, нежные животики с пупочком, стройные бедра, изумительные узкие колени и голени, сахарные пальчики на ногах... и в придачу — детские невинные улыбки, которые разжигают страсть сильнее любых набоковских сиреневых лодыжек.

Многие античные авторы признавали только любовь к молоденьким мальчикам, а половозрелых грудастых и не очень баб рассматривали исключительно как родильные машины. Существующие только для того, чтобы производить на свет наследников и солдат для легионов цезаря. В дохристианскую и доисламскую эпоху люди были в половых вопросах — проще, честнее. Еще не превратились в лживых лицемерных чудовищ.

Ну да, тогда приносили людей в жертву... бывало. А сколько сотен тысяч украинцев принес в жертву Путин и его приспешники (которых миллионы) — многие из них якобы верующие христиане — и главное, ради чего?

А равнодушное человечество смотрит на эти ужасы по телевизору и с аппетитом жует свои синнабоны дальше.

Как же приятно осуждать других! Гвоздить, гвоздить... Только бы тебя самого не трогали.

Вдруг я почувствовал, что воздух вокруг меня стал как будто гуще... потом наполнился тысячами иголок, пружинок, металлических ниточек... затем иголки, пружинки и ниточки исчезли, но остались лучики и сияние... и вроде флейта запиликала что-то до боли знакомое и метроном застучал... через несколько мгновений все стало, как раньше, только в комнате я был уже не один. У окна стоял худой мужчина в темном пальто и котелке... в круглых очках и черных ботинках... он посмеивался и скептически качал головой. Мол, ну ты и разговорился, чувак, и тех и этих, и все человечество не пощадил, надо и честь знать, пора тебе заткнуться.

Я на его скепсис не обиделся... и не удивился его появлению. Потому что его физическое присутствие рядом со мной ощущал уже много лет, даже длинные внутренние монологи обращал — к нему, и твердо знал, что его реальное появление в моей жизни — лишь вопрос времени.

Помолчали.

Спросил его машинально:

— Вы кто?

— Ты лучше спроси, кто ты.

— Я — я.

— Нет, ты не ты.

— А кто же я по-вашему?

— Хотя бы имя свое сможешь вспомнить?

Я возмутился. Всплеснул руками.

— Конечно, смогу...

— Ну и...

— Что, ну?

— Поделись...

Надеялся, что назову свое имя, не задумываясь. Автоматически выплуну изо рта акустическую пилюлю. Ан нет, не вышло. Задергался и закашлялся от нетерпения. Сжал губы. Но ничего выжать из себя так и не смог.

В потемках памяти мелькали фосфоресцирующие имена-светлячки: Димыч, Вадим, Антон, Гоша, Генри, Ипполит, Теодор... много, много имен... туча...

Шуршали страницами книги.

Приятно трещали корешки.

Боже мой, сколько букв, зачем, кому все это нужно?

Нет, нет...

Перед глазами все плыло, как будто чудовищную порцию галлюциногена принял или по башке молотком получил. Море привиделось. Пляж. Огромный зловещий замок на берегу. Военный корабль. А потом — зал, вроде как в музее. Статуи какие-то, одна другой страшнее.

Угрюмые бородатые старики с прямоугольными каменными головами и цилиндрическими медными туловищами.

Уродливые старухи с цинковыми лицами и черными слюдяными крыльями на спине. Краснокожие карлики с огромными перепончатыми ушами.

Вавилонская блудница с золотой чашей в руке.

Охотник Грахх на носилках с зажженной свечой.

Куда это меня опять занесло? Неужели в чудесный город Рива, граничащий с низшими областями смерти?

Затем все пропало.

Гадкий голос пропел в голове: «Что упало, то пропало. Взялся, ходи!»

Кто-то поставил передо мной громадную шахматную доску. Я прыгнул на нее и побежал. Так быстро, как мышь бежит по полу, когда чувствует, что ее преследуют.

Черный человек опять заговорил: «И не старайся, все твои фантазии мне хорошо известны. Возвращайся в себя. Ты нам больше не нужен. Потому что ты исписался и поглупел. Хотя умным ты никогда не был. Недаром от тебя отвернулись даже те, кто раньше прощал тебе все твои выходки. Умным не был, а забавным был. Ха-ха-ха. А ведь тебя предупреждали».

— Чтобы телеграммы никуда не носил?

— Хватит играть и кривляться. Сколько же можно валять дурака? Ты же видишь, я тут, значит, времени у тебя осталось ничтожно мало.

— Приговор окончательный?

— И обжалованию не подлежит.

— Ну и что же я, по-вашему, должен делать?

— Ничего. Прощайся с миром. Точнее, с тем мирком, в котором ты многие годы прятался как заяц. Можешь помо-

литься... или устроить драматическую сцену, поистерить, повизжать. Все это бесполезно, разумеется, и скучно к тому же. Как изящно умер автор «Черного монаха»! Бери пример.

Человек в котелке зевнул, как динозавр, показав пасть, полную зубов, и длинный лиловый язык (лучше бы он этого не делал). Схватил меня за руку своей стальной клешней.

Готов к переселению в мир иной я, конечно, не был, никто к этому не готов...

Посмотрел еще раз на голубое небо, вспомнил родных и любимых, глубоко вздохнул и сказал: «Ладно. Давай, крути педали, падальщик».

В глазах у меня потемнело, я увидел огромные грязные педали, которые крутили безобразные волосатые ноги дьявола.

Дыхание прервалось. Сердце заledenело.

Я падал.

Пал в океане прострации и ужаса. Ожидал удара о железное, покрытое ржавыми шипами дно.

Но я не умер. Застрял в промежуточном мире. Не по своей воле, конечно.

Услышал, как бы издалека: «Смерть — это награда, ее не каждый удостоивается».

Человек в котелке перенес меня в странную комнату неизвестного мне здания и оставил там. Перед тем, как исчезнуть, проговорил: «Радуйся, что тебя не бросили в озеро огненное. Побудь какое-то время тут. Веди себя тихо. Тебя позовут, если ты все-таки понадобишься. Можешь всласть поразмышлять о природе человека и роли народов в истории».

Я подчинился, сел на пол и попытался говорить с самим собой. Это в прошлом часто помогало мне в трудную

минуту. Не вышло. Внутренний голос молчал. В голове клубился лиловый пар. Я слышал хруст и треск. И не мог сконцентрироваться.

Стены комнаты, от пола до потолка, были покрыты жутковатыми фресками. Изображены на них были мужчины и женщины, как бы в трансе или эпилептическом припадке совокупляющиеся с различными демоническими существами — уродливыми гномами, ужасными циклопами, крылатыми чертями, громадными насекомыми... с похотливыми свиньями в монашеской одежде и наглыми воронами во фраках.

Изображения эти были откровенными, но не порнографическими. Сарказм и черный юмор явно преобладали тут над эротикой. Как в моих рассказах. Но тупицы не понимают этого.

Мне показалось, что эти фрески были карикатурой на что-то, хорошо знакомое... но на что, я не мог сообразить. На обычную жизнь? Или на картины северного маньеризма, изображающие Всемирный потоп или сцены Страшного суда?

Может быть, весь ад — не место наказания, а только воплощенный гротеск бредящего человечества?

Неожиданно я заметил, что в комнате есть и другие люди. Как будто невидимая сцена повернулась ко мне другой стороной.

Откуда они тут взялись? Неужели прыгнули со стен? Люди?

Три сатира сидели на небольших табуретках за карточным столиком и играли в баккару. Козлиные их головы украшены небольшими черными рожками, вместо ступней — копыта. На их картах — деформированные фотографии неизвестных мне людей.

Недалеко от них стояли: немолодая принцесса в бальном платье с неприличным декольте и с тяжелой золотой короной на голове, проповедник, босой, в сутане, но с голым пузом, которое он все время поглаживал, маленький полный конферансье в брусничном фраке с бабочкой, и двое странно одетых почтенных старцев в раскрашенных конусообразных картонных колпаках, как еретики на картинах Гойи. Странность их одежды заключалась в том, что она была прозрачной, как женские колготки. Хорошо были видны курчавые седые волосы на груди и причинном месте...

Кроме того, по комнате расхаживал безумный карлик, монах, изображающий — искренно или нет, не могу судить — кающегося грешника. Монах отчаянно жестикуютировал и громко причитал. Голос его булькал, как вода в ручье.

— Горе мне, горе, шелудивому псу, крысе, мокрице, грешил, грешил страстно, лгал на исповеди, пьянствовал, промотал отцовское наследство, блудил как обезьяна с собственными сестрами, бросил жену с детьми, не заботился о старой матери, воровал, насиловал, убивал... Как я теперь посмотрю в глаза светлым ангелам?

Один из сатиров проговорил веско: «Сразу видно, хороший человек. Искренний. Ишь как знатно колбасит. Только светлые ангелы дела с ним иметь не будут. Кому нужен этот липкий липипут? Только нам. Для растопки в пекле».

Другой добавил: «Может, придушим его, иначе всю игру испортит своим вытьем, чёртвов мёньх».

Третий привстал и легонько дунул в сторону монаха. Тот сразу набрал воды в рот. Ушел в темный угол комнаты и там пропал. Первый и второй сатир зааплодировали. Один из них громко пустил ветры. Другой прокомментировал: «И все их паршивые раскаянья стоят не больше твоего пердячего пара, брат Жан».

Брат Жан предложил: «Любезный друг Панург, теперь давай дуэтом!»

Панург кивнул, и оба сатира пустили ветры одновременно. Звук был подобен грому небесному. Смрад соответствовал звуку.

Принцесса испугалась и вскрикнула, прижала, дрожа, розовые ручки с короткими лакированными ногтями к дебелий груди.

Тут заголосил проповедник. Говоря, он комично потряхивал пузом, на котором были вытатуированы Венера Боттичелли и череп неандертальца.

— Покайтесь, грешники, ибо приблизилось Царство Небесное! Встаньте, встаньте, дети мои, на твердую стезю добродетели, иначе утонете, как щенки, в болоте порока. И не слушайте рык искусителя, ибо он вас обманет и сожрет ваши тела и души...

Брат Жан заметил: «Ну вот... Еще один катехон. Что за наказание. И в аду нет покоя от этих блаженных и юродивых».

Панург откликнулся: «Нет, нет, братец, ты ошибаешься, он не блаженный и не юродивый. И никакой не катехон. Это только маска для... для таких как он. Если хочешь, я расскажу тебе подробности интимной жизни этого пузана. Боюсь, даже ты не слышал о таком».

Третий сатир, ни слова не говоря, опять привстал и дунул. Проповедник пропал в темном углу.

Конферансье поднес руку к напудренному подбородку, дыхнул, понюхал, подбоченился и подошел к принцессе. Сладко улыбнулся и заявил: «Разрешите представиться?»

И, не дождавшись разрешения, проблеял: «Граф Карасик к вашим услугам».

— Маргарита Шпанская.

— Это что же, извините, как мушка-с?
— Ничего. Я привыкла. Как мушка.
— Удивительное имя, мадам!
— Мадмуазель.
— Уважаемая мамзель Шпанская, извините за любопытство, позвольте спросить, откуда у вас корона-с.
— Корона — латунная. Позолоченная. Украшение, понимаете? Подарок моего жениха.
— Тяжёленькое у вас украшение на головке, да-с.
— А вам какое дело? Чего привязались? Что хочу, то и ношу.

Карасик обиделся, затем разгневался, покраснел, задрожал, сжал кулачки, поднял руки... хотел треснуть Шпанскую по голове. Чтобы эта глупая корона покатилась по полу. И чтобы затоптать ее ногами.

Но принцесса успела содрать с себя свое украшения до того, как кулаки обозленного конферансье коснулись ее головы... а потом умудрилась так сильно хрястнуть нападающего по толстой морде, что порвала ему пасть от уха и до уха. Кровь хлынула на бабочку потоком. А оттуда полилась на пол.

Принцесса испугалась того, что наделала, и завывала.

Два старика в прозрачной одежде громко закричали и закачали головами.

На выручку пришел опять тот, третий сатир. Он дунул, и Карасик испарился. Потом немного помедлил и дунул еще раз. Испарилась и принцесса. Вместе с короной. И даже капли крови на полу не осталось.

Последними исчезли старики-еретики в остроконечных колпаках.

Я подошел к карточному столику и попросил разрешения поставить.

Дилером был третий, самый могущественный из всей троицы сатир. Имя его мне так и не удалось узнать. Иногда, впрочем, мне казалось, что он и есть — Большой Черный Козел. Бас его был ясен и низок, его взгляд, манеры, речь — все свидетельствовало о том, что он тут повелитель. Брат Жан и Панург старались на него не смотреть, никогда к нему не обращались и не поворачивались к нему задом.

Он спросил меня, есть ли у меня деньги. Я полез в карман и нашел там неизвестные мне купюры — голубоватые бумажки с изображением пятиугольника. Внутри пятиугольника были напечатаны цифры.

Я выложил их на стол. Дилер кивнул.

У брата Жана и Панурга деньги были такие же, как у меня, только цветá у всех были разные. У брата Жана — зеленые, у Панурга — красные.

Я поставил сотню на игрока, надеясь на счастье новичка, а сатиры — каждый по сотне — на банкира.

Дилер сдал игроку и банкиру по две карты.

Игроку достались восьмерка и десятка, банкиру — туз и король.

На рубашке восьмерки я узнал самого себя, на десятке — моего черного человека в котелке. Он язвительно ухмылялся и строил мне рожи.

Я выиграл. Дилер впервые улыбнулся, скептически посмотрел на меня и спросил: «Ну что, Гарри, продолжим игру?»

И дунул в мою сторону.

Сергей ПАСЮК

(Ганновер)

Проза Сергея Пасюка никуда не зовет, ничему не учит. Не потому ли, что автор никогда не мнил себя выше того, что видел? Достаточно, если слова выражают смысл, — как заметил Конфуций... Этому не научить! Но некоторые рождаются сами. У таких на страницах «живое время».

Г. Вахлис, 2016

КИЕВРЕСТОРАНТРЕСТ

Центр города, площадь Льва Толстого. Ресторан «Кавказ». С утра до вечера народ пытается пробиться к нам. К часу дня все места заняты, начинается «дурдом».

— Официант! В чем дело?

— Вы же видите, что творится!

— А ты шо, побыстрей не можешь?

— У меня в жопе нет моторчика!

Работа тяжелая, нервная. Перед началом надо снять напряжение.

— Привет, Серега! Ну что, по стаканчику дернем?!

Мы идем в винный погреб «Троянда Закарпаття». Тут всегда полно людей и вино неплохое. Знакомая продащица без очереди наливает по стакану «Іршавського». *Не бере!* По второму. *Трохи веселіше...* Вино классное, с привкусом земляники.

— Куришь? «Кто не курит «Беломор», тот не сука и не вор!» — привычным жестом Толян ударяет папироской о пачку и смачно закуривает.

До открытия ресторана успеваю забежать в «Київський перукар», тут рядом, возле нас. За двадцать минут мне моют голову, сушат феном, стригут и получают свои три рубля. Все *цирюльники* — «*палікмахтери*» — хлопцы еврейской национальности. У моего мастера Лёни даже фамилия специфическая — Жидковецкий. Позже он женился и взял другую, тоже ничего себе — Брежнев, стал Леонидом Брежневым и свалил в Америку.

Настоящий Брежнев однажды заблудился в Мариинском дворце и по ошибке чуть не вошел в помещение, где мы, сборная бригада официантов, доедали, что осталось от праздничного ужина. Сидевший в торце стола Брónia замер с открытым ртом, а в руке у него была косточка от маслины, которую он собирался положить на край тарелки, где уже лежало несколько таких же.

— А косточки от маслин надо хлотать! — хмыкнув, как в телевизоре, дал указание Генеральный секретарь. После этого повернулся и вышел, а за ним потянулись сопровождавшие его лица. Дверь они оставили открытой. Брónia косточку не проглотил, а щелчком сбросил на скатерть.

Если в городе футбол и киевское «Динамо» играет с «Араратом», «Нефтчи» или тбилисским «Динамо», то вечером в кабаке полно кавказцев, а по-нашему «зверей». Им нужны женщины, и можно хорошо «нарубить капусты». Наш девиз: дать минимум — взять максимум.

Нет такого вечера, чтобы кто-то кому-то не набил бы морду. Табачный дым, алкоголь, где-то пахнет травкой... Иногда приходят девочки — официантки из соседних кабаков: «Метро» и «Столичный». Они мастера прокрутить «динамо-машину», т.е. «на шару» покушать и смыться.

Ресторан закрывается.

— Сергей! Где тут черный ход?

«Звери» с жадными глазами ждут девочек, а те получили своё и уже хотят от них оторваться. Я вывожу подруг через черный ход, беру такси, и мы едем ко мне домой. Начинается «Тысяча и одна ночь» с двумя шехерезадами.

— Очкарик, к тебе два «нафталина» и «шницель» упали!

Лучше всего обслуживать компанию из четырех-шести человек, не говоря уже о банкетах: можно больше денег сдать в кассу — хорошо и для плана, и для кармана.

«Нафталин» — это одиночка, который приходит покусать, заказывает по минимуму и не оставляет «на чай». Он ничем не отличается от «шницеля», только «шницель» — это военный.

Почему «шницель»? Когда он заказывает второе порционное блюдо, то выбирает самое дешевое. В меню как раз и стоит: шницель свиной — 1 рубль 15 коп. Хотя остальные блюда тоже не очень дорогие — на 10–15 копеек дороже. И еще военных называют «санитарами города», ибо им тоже нужны женщины, а это, как правило, самые падшие — дешевые шлюхи...

— Ну что, Серега, как день прошел?

— Нехватка чаевых...

— День на день не похож!

— Видишь, в углу сидит — это «соска»!

— Где?

— Ну, вон та блондинка, лет сорока, с ярко накрашенными губами!

— «Соска»?

— Сосёт... Я переговорю с ней, — сказал Вадим.

Вадим был специалист, не было такого дня, чтобы он не «снял тёлку».

— Значит так, «ударчик» — три рубля. Все, кто желает, пожалуйста, — во дворе, в подъезде «Ресторантреста».

Тут началось! Мы, уже слегка навеселе, устраиваем очередь...

Света берет по три рубля с... носа. Отхожу в сторону и закуриваю — надо прийти в себя. Сегодня заработала минимум четвертак.

— Серега. В преферанс играешь?

— Магём!

— Так давай завтра запишем пульку! Подпишем под это дело Вадика. Идет?

Встретились и первым делом пошли на базар, там купили мяса и овощей. В гастрономе — бухло. По дороге Толян захотелось в туалет. Заходим в подъезд, Толян звонит в первую попавшуюся дверь. В щелке появляется лицо старушки.

— Что вам угодно?

— Извините, пожалуйста, вот вам рубль — можно я зайду к вам пописать?

Он сует в щель рванный рубль. Старушка в панике закрывает дверь. Толян справляет нужду под первым кустом во дворе. А через час мы уже у него на квартире. Пока жарилось мясо, мы оприходовали *пляшку* коньяку с лимоном.

Пока ели, выпили еще одну. Потом Толян достал самогон, игра затянулась до четырёх часов утра. Наутро Толян говорит: «А ты отлично играешь». После сказал: «Тотус!» — и упал под стол.

— Слушай, Серега, пока перерыв, давай сходим, тут недалеко, возле кинотеатра «Киев», к Лорчику, там у нее маленькая «малина».

— А я тут при чем?!

— Одному скучно. Ты подождешь меня, я побыстрому...

Дверь открыла молодая женщина, слегка навеселе, с длинным носом и черными патлами, в ночной рубашке.

— О-о-о-о, Жора! Проходи! А это кто такой? Я ему не дам!

— А я и не хочу!

Мы вошли в комнату, окна которой были зачехлены черными шторами. Было довольно темно, хотя стоял солнечный летний день. Она взяла Жору под руку и увела в дверь слева. Я сел на единственный стул в углу и стал осматриваться. Посередине стоял огромный концертный рояль, рядом холодильник. За стеной слышались визг и возня. Вдруг справа открылась дверь, в комнате стало светлее, вышел молодой человек. В проеме двери мелькнули длинные свисающие гениталии. Покачиваясь, он подошел к инструменту, открыл обшарпанную полированную крышку и достал оттуда чекушку водки. Осторожно, чтобы не упасть, подошел к бывшему холодильнику с оторванным проводом, где стояла трехлитровая банка с заплесневелым малосольным огурцом, взял ее и, покачиваясь, вернулся в комнату. Стало опять темно. Снова слышались визг и охи. Через некоторое время вышел раскрасневшийся Жорик, за ним — Лорчик. Она заметно оживилась, посмотрела на меня.

— Ну шо, могу и ему дать!

— Я на отдыхе!

— Ну, может, хоть пыхнет?

— Не надо, он дурь не курит.

У Жорика была любящая жена, которая поджидала его в конце рабочей смены. Это не помешало ему завести роман с поварихой. Со временем жена об этом узнала,

и в один прекрасный день произошло следующее: две молодые женщины, схватив друг друга за волосы, метались по кухне, подняв при этом большой гвалт, после чего Жорик уволился.

Приятный летний вечер. 23:00. «Пациенты» разошлись. Мы сидим втроем: я, Игорек и Колёк на веранде ресторана «*Мисливець*».

— Ну что, где твои «пипетки»?

— Должны быть! Если через пять минут не будут, поеду на поиск, — отвечает Игорь.

Вскоре он сел в свой красный «Запорожец» и уехал, сказав, чтобы мы готовили «бухло» и «бешкетмет».

— А вот и мы! Знакомьтесь: Соси Лорен и Дрожит Бедро! — шутит Игорек.

«Пипетки» остались в машине и весело хихикали.

— Кстати, эти девочки с триппдачи, но они сказали, что уже вылечились и за две недели пребывания в диспансере соскучились за мужиками. Как узнали, что мы официанты, сразу согласились!

— Ну шо, я знаю одно укромное местечко, туда и поедем!

Я сел на заднее сидение посередине между двумя красотками, Игорь — за руль, Колёк рядом. Пока мы ехали, я попытался получить удовольствие с одной из девочек. Попытка не удалась. Машину сильно трясло на разбитых дорогах окраин.

И вот мы оказались на «Берковцах».

— «А на кладбище все спокойненько, ни друзей, ни врагов не видать...» — пропел Колёк, вынимая питье, еду и стаканы из багажника.

Вдруг вдалеке появились два огонька — они явно приближались к нам. Через минуту подкатил милицкий бобик, и оттуда вышли двое.

— *А що ви тут робите, хлопці?*

— Поминаем старика, — ответил Игорь.

— *А, це ти, Ігорек, привіт! А ми їдемо з чергування, бачимо, щось там миркотить, думаємо, може, мертві повставали. Ха-ха!*

— Алё, Мышко, выпьете французского коньячка? — смена-то закончилась! У нас «Наполеон»!

— *Хто?*

— *Наполеон, говорять тобі, імператор!*

Выпили, закусили.

— *Слухайте, а самогону нема?*

Наступила тишина. Вдруг я услышал тихое журчание, повернув голову, увидел среди могил белую задницу Лорен. Я встал и побрел к ней. После трех бутылок сильно качало. Она привстала с корточек, обхватила крест руками и стала в позу...

Когда все закончилось и я отпустил её, качнуло так, что я полетел куда-то в сторону и там, приземлившись, на четвереньках подполз к какому-то надгробью. С трудом поднялся и сел на еще не остывший от летнего дня камень. Лорен подошла, села возле меня.

— Я хочу кушать, — сказала она.

Я встал, натянул штаны и подошел к столику. В машине тем временем шло кино «Любовь втроем». Через минуту я вернулся с закуской. Лорен, свернувшись калачиком, подложив руки под голову, спала на цементной, с мраморной крошкой, плите. Машинально прочел облупившимся золотом начертанную надгробную надпись.

— Эй, Игорек, глянь, тут твой однофамилец лежит!

— Мудак, это мой папаша!

Прохожу по залу, меня подзывает коллега. Сидит за столиком с двумя девчонками.

— Привет, что, не узнаешь?

Всматриваясь в двух красоток, узнаю Олю и Катю, которых я как-то, правда, уже давненько, спасал от «зврей», выводя черным ходом.

— А я выхожу замуж! — сказала Оля. — Надоело тынаться по общагам. Да и прописка будет киевская. И вообще, он дядя неплохой — художник. Рисовал, рисовал... меня со всех сторон, а потом предложил руку и сердце. В конце концов... что мне, жалко! Мы и заявление уже подали, в Подольский! Я приглашаю тебя на роспись!

— В качестве кого?

— *Та ти ж ей не чужий!* — смеется Вася.

Парень «с *під Обухова*» маялся в одиночестве и просил познакомить «хоч з якою». Познакомили с некоей Катей. Она ему делала «*по-французски*». У себя *на селі* он, человек тихий и робкий, про такое не слыхал. Ребята стали над ним подшучивать: «У тебя теперь по-нормальному не встанет!» Он принял эту болтовню всерьез и *злякався*. Решил испытать — встанет или нет. Встало... А на третий день оказалось, что «наградила»...

— Сука ты! — заплакал Вася.

— Сам дурак! Своего ума нет, а занять негде! Я лечение проходила, а у тебя *нетерплячка!* Приспичило ему!

— В воскресенье, в три часа, возле ЗАГСа! — сообщила на неделе Оля.

Состав был небольшой — человек восемь. Жених был лет на пятнадцать старше её. После росписи поехали двумя машинами к нему домой. У него была двухкомнатная квартира, высоченные потолки с лепными карнизами и прочей забавной стариной. Мы расположились в просторной кухне, а танцевали в большой комнате. Было весело! К ночи начали расходиться. Оля провела нас во двор. Постояли, поболтали и разошлись кто куда. Я ре-

шил пройтись пешочком в надежде поймать такси. И тут меня догоняет Оля и говорит, что не может попасть в квартиру. Художник перепил, вырубился и уснул. А когда он пьяный, то разбудить его невозможно.

— Что делать будем? Может, поедem ко мне? Не будешь же ты сидеть тут целую ночь?

Рано утром я посадил ее в такси, и она, как ни в чем не бывало, предстала перед женихом.

...Через год примерно я узнал от Васи, что художник, будучи в белой горячке, выпал с балкона. А она родила мальчика и назвала его почему-то Сережей.

— Ребята, завтра — санитарный день. Потом все дружно едем отдыхать в Гидропарк. Я беру трехлитровую банку спирта, настоящего на клюкве...

После санитарных работ обе смены официантов высадились десантом на берег Днепра. Конечно же, одной банки оказалось недостаточно и надо было пускать ходока в ближайшую лавку за выпивкой. Бросаем жребий. Мне досталась короткая спичка, и я пошел за бухлом. Опять выпили и опять мало.

— Ну что, опять будем бросать жребий? — сказал Стас.

— Не надо, я так пойду! Все равно мне не повезет!

— Хорошо, но давай — попробуй! В тот раз ты последний тянул, сейчас тяни первый!

Все замерли. Тяну, выпала — короткая!

— А ну, покажи, — сказал Владик. — Может, они все короткие?

Стас показал спички. Все тринадцать длинных лежали на его ладони.

— Да-а-а! — это фарт!

К вечеру братва в поисках приключений пошла по берегу искать девочек. У костра остались самые ленивые и пьяные.

— Ну что, ребята! — сказал Вадим. — Пойду *пошукую* и я падшую!

Взяв пляшку «*Біломіцина*» и размякший в жаре «Плавлений сирок», направился в сторону Пешеходного моста. Через полчаса он пришел с женщиной, правда, не первой уже молодости. Он галантно держал ее под ручку.

— *Це Анюта!*

Потихоньку начало темнеть, и самые нетерпеливые стали приглашать её в шалашик.

— «Одна на всех — мы за ценой не постоим!»

— Ребята, я вас попрошу только аккуратно, у меня проблемы...

— А мы аккуратные! Мы ж официанты!

— Брónia-я, а ты шо сидишь?

— Я не по этим делам, — ответил Брónia — самый скромный из нас.

Брónia был из Николаева, но не жил в общежитии, как некоторые, а снимал угол. Со временем он женился на хозяйке, у которой, между прочим, было трое детей. При этом она была старше него лет на двадцать...

— Само получилось! — объяснял он свой брак.

При этом пил, как ненормальный. Пришлось, в конце концов, «подшиться». Позже я узнал, что он как-то не сдержался, выпил и умер.

На той стороне огни засветились, вверх по реке шел «речной трамвайчик», весь обвешанный лампочками, там играла музыка.

Толян приподнялся на руках, он уже ничего не сообщал, светлые волосы торчали во все стороны, одна прядь прилипла к носу, а подбородок был весь в песке. Окинул мутным взглядом расхристанную Анюту, всю очумелую компанию, глянул на приبلудившегося к нашему огню бездомного пса, уплывавшего объедки.

— А-аню... та... можешь пососать?

— Кому? Тебе? Ты ж пополам...

— Не-е... ему... — еле выговорил Толян и кивнул в сторону собаки — чем он хуже? Он... это... он как мы! — и снова повалился в песок.

Пес, учуяв неладное, схватил кусок и исчез в кустарнике.

— Зубов испугался! — заржал Толян.

Вадик по кличке Бомбочка, кругленький еврейчик, лицом похожий на артиста Савелия Крамарова. Когда кто-то ехидно смотрит на его живот, он вежливо отвечает: «Лучше большой животик, чем маленький горб!»

Входит директор и кричит: «Кто дежурный? Почему зал не готов?»

— Так еще целый час до открытия! — отвечает Вадик.

— Зал должен быть готов за час до открытия! — кричит директор. — Я тебе сейчас выговоряку закатаю! В трудовую книжку!

А Бомбочка тихонечко себе под длинный нос: «Смотри, чтобы тебя не повязали — сильно умный! Деревня!» А Толик ему в унисон: *«Сплетуть тобі лапті. Тра-ля-ля, тра-ля-ля!»*

— Ложка меда в бочке дегтя! — кинул ему директор. Все заржали...

Через неделю началось: наехало КРУ, и директор исчез на год. Установили, что было много мертвых душ, но не гоголевских...

Сплели лапти...

Буфетчица Маша умудрилась пережить всех директоров с самого открытия нашего заведения. Эти директора больше года не засиживались. Маша любила чистоту,

протира́ла всё «*вохкой*» тряпкой, её прозвали «наш вытеран». Официанток молодых упреждала: «*Водка в роті — пизда в роботі!*»

У самой Маши было двое взрослых дочерей. За младшей начал приударять наш коллега, красавец по кличке Матрос.

Когда дело приняло серьезный оборот, Маша сказала: «*Я свою доньку за ложконоса не віддам!*» Нашла для неё богатого — директора магазина, из Октябрьского овощеторга. Но тот через год залетел на два с половиной года на общий режим в колонию. А когда освободился, толку с него было как с козла молока... И *донька пошла по руках* — искать «*обезпеченого*».

Вечером была небольшая пьянка на предмет моего дня рождения. Посудомойки с *Гливахы* по моей просьбе пели песни. Хлопцы сбегали в комиссионный, что рядом с нами, и купили пару стареньких чашек — на память. Типа антиквариат. Перевернул одну чашку и увидел заводское клеймо: синие буквы ГиКи и маленький серп и молот. Мне вдруг стало не по себе. Вышел из ресторана подышать воздухом. Постоял на ступеньках у входа. Уже стемнело, и шел дождь. Какой-то человек бежал через улицу к кинотеатру «Киев». Его фигура показалась мне знакомой. Интересно, где он сейчас?

Стою на крыльце — может, кто приплывет... Подходит дядя интеллигентного вида и говорит: «*Ви мені, добродію, дайте попоїсти, а я вам — грошенята*». Он заказал еду и бутылку водки. Я ему объяснил, что у нас отпускают только по 100 грамм на человека, потому что идет борьба с алкоголизмом. Поэтому перелью водку в кофейник. Он меня угостил и в придачу рассказал какой-то анекдот.

Я улыбнулся, а он посмотрел на меня и сказал:

— А знаете, Сергей, вы похожи на Гоголя! У вас нос *«точносьенько, як у Миколи Васильовича!»*

— Моему носу до Гоголя расти и расти!

— Давайте ще одну! За него!

Однажды зимой пришел он и сел за стол, где обычно сидел, если не занято было.

— Тут как-то уютней — у кутку! — говаривал он. Но в тот день он был на себя не похож. — Принесите, будьте любезны, ваш кофейник!

Пил молча, с соседями, как обычно, не заговаривал. А потом перед самым закрытием вдруг говорит мне:

— А хотите, Сергей, анекдот послушать? Актуальный... — И начал: — Приходит один профессор... в университет... типа как наш, киевский. А там новая вывеска: «Кафедра похуизма». Он заходит и спрашивает: «Что такое похуизм?» Отвечают: «Похуизм — новое направление философской мысли! Состоит в том, что всё похуй!» — «Как это всё... А онтология?» — «Похуй!» — «А гносеология?» — «Похуй!» — «А Гегель с Фейербахом?» — «И Гегель!» — «А этика?» — «И этика!». Профессор задумался и спрашивает: «А зарплата?» — «Зарплата не похуй!» — «Я так и подумал...» — «А нам похуй, что вы думаете!».

После этого попросил еще один кофейник, сидел долго и выпил всё, почти без закуски.

Я этот анекдот потом нашим пересказал, так они этого дядю прозвали Похуист.

Как-то раз он засиделся до самого закрытия, гнать его не стали, а он сидит и бубнит что-то себе под нос. Ну, мы, усталые после смены, подсели и слышим:

— *...перелякались, повтікали... Нехай іде! Нехай іде! Отак і вас він поведе! — сказала дітям і упала... на землю... трупом...*

— *Шо це за хрень?* — перепугался Вася. — *Ще порчу яку наведе! Поробить!*

А тот голову поднял и продолжает:

— *І ти великая в женах! І їх унініє і страх розвіяла, мов ту полову, своїм святим огненим словом! Ти дух святий свій пронесла в їх душі вбогії!*

Оказалось, что этот дядька был какой-то академик, но прозвище Похуист за ним осталось.

Напротив нашего ресторана был тогда киоск «Союз-печать», где я покупал журнал «Англия», по рублю, из-под полы, хотя стоил он 60 коп. Через много лет, когда я уже из другого совсем города приехал в Киев, ресторана давно не было. Напротив того места появилась, как из-под земли, станция метро «Площа Льва Толстого».

А был ли Лев Николаич когда-нибудь в Киеве?

Оказалось — свояченица у него тут жила, на Шулявской, говорят, стала прототипом Наташи Ростовской... Звали Кузьминская Татьяна...

А киоск, теперь уже «Укрдрук», перенесли на сто метров в сторону Бессарабки, и в нем работала все та же продавщица. Она сильно постарела, но меня узнала. Мы поговорили накоротке, я купил журнал «Україна» и пошел восвояси, вспоминая молодые годы...

Ресторан полон. Официанты бегают с подносами, в гардеробе толпа, музыка наяривает...

Электропианино, труба и тромбон. Бряцают тарелки...

— *Так крокуй разом з нами, писне, наче голос друга лунай! У майбутнє променисте з комсомольською путівкою рушай!* — выводит крашеная блондинка в облегающем платье. Задок у неё есть, но спереди обстругано... Голос такой себе, ресторанный... Никто не слушает. Пожилой клиент лежит лицом в тарелке.

— «Папа» устал! — замечает Толян.

Звучит ещё пара «хитов» того времени... Дело в том, что авторам за музыку и слова отстегивает какие-то копейки КОМА — объединение насчет музыки в ресторанах и т.п. Поэтому шабаш продолжается. В зале галдеж, никто не слушает, никому это не нужно. Нам тоже.

Звучит «Червона рута».

— Поёт София Ротара! — объявляет на кухне Толян.

Трио Маренич у него «Три лица, два яйца». Ансамбль «Смерічка», конечно, «Семирічка».

Но оркестру тоже надо что-то заработать.

— «Цыгана Яна» давай! — раздается пьяный голос, и какой-то чернявый сует тромбонисту червонец.

— Ой, мамамама-мама! — взвизгивает певица. — Люблю цыгана Яна!

— Ой, знаю, знаю дети, у вас роты в минете! — подпевает Толян.

Кто-то вскакивает и тянет за руку свою даму — здоровенную бабу в перманентной завивке. Они начинают танцевать. За ними тянутся иные-прочие... пошло веселье!

Потом, в семидесятые, все до одного музыканты эти: и тромбонист, и ударник, и трубач, и тот, что на «Ионике» лабал, — выехали на ПМЖ в Израиль.

Сажусь однажды в такси, а там Толян с этой самой певицей, оба выпивши. Я — на переднем сидении, слышу: «*Пісенька ти моя, пісенька весела!*» И хохот. Оглядываюсь и вижу: это он у неё между ног поглаживает и приговаривает...

Звонит Слава:

— Толик умер!

— Тьфу ты, черт возьми! А он мне два дня тому назад снился, как будто я его фотографировал...

— Вот и пофотографируешь завтра, на похоронах.

— Отчего он умер?

— Алкогольное отравление мозга!

Толян... Последний год он не работал в нашем кабаке, нарвался на проверку. Его уволили по статье, и он работал в вагоне-ресторане. Вспомнились некстати похабные стишки, которые он любил повторять ни к селу, ни к городу.

На кладбище полно народу. Яма вырыта. Мы ждем, когда придут рабочие, чтобы опустить гроб. Мать, жена и дочка-шестиклассница рыдают, официанты из разных ресторанов подходят по-одному...

Наша смена работала по четным дням, другая — по нечетным, но он выходил ежедневно. Иногда по месяцу и больше, а смены по двенадцать часов...

Такое мало кто выдержит... Однажды он упал в эпилептическом припадке: изо рта пошла пена и начались судороги. Мы его заволокли в подсобку, накрыли скатеркой и вызвали «Скорую помощь». Ему сделали укол... Через час он очухался и продолжил беготню.

Ему нужны были деньги, а зачем — никто не знал. Поговаривали о какой-то бабе в селе, якобы он с ней когда-то жил, а её парализовало, после того как она переболела менингитом, у нее было двое детей от мужа, который еще до того погиб в аварии. Так это он для неё...

После похорон мы поехали на квартиру к его тётке на поминки. Выпили по три чарки и пошли в ближайшую забегаловку — добавить и побазарить о жизни земной и неземной. Припомнили случай, когда он зубами поднимал стол. Конечно же, не бесплатно, ибо это был спор на «Катю» — 100 рублей. Он вставал на корточки, захватывал стол зубами за край и медленно поднимался на ноги. Все четыре ножки стола отрывались от пола. Когда он однажды опустил стол, мы увидели, что два его передних зуба немного сдвинулись. Кто-то из поваров покрутил пальцем у виска. Толян пальцем сдвинул зубы на место и сказал:

— Ты еще был в пизде с горошину, а я уже работал по-хорошему!

И взял деньги, которые лежали на столешнице.

По дороге домой припомнилось еще... Как-то посетили с ним пивной бар по соседству.

В подсобке хозяин, маленький хромой еврей, налил нам по бокалу свежего пива и спросил:

— А ви знаете, за что в Израиле поставили памятник Юрию Гагарину? Он первый сказал: «Поехали!»

Когда налили по второй, Толян, как всегда, заметил:

— Лучше выпить пива литр, чем лизать соленый клитор! Пошли пописать — я угощаю!

И мы пошли к дворовому туалету. Толян зашел, а я остался снаружи и закурил. Слышу, Толян матерится, подтирку забыл!

— Там газета нигде не валяется? Нет? Придется трусами!

Потом рассказывает:

— Разорвал я трусы пополам, одну половину использовал, другая еле-еле на резинке... Сам не пойму, как брюки натянул!

Есть что вспомнить о человеке!

За тот период, когда я работал в ресторанах, многие отправилось на тот свет. Умер официант, хлопец лет двадцати. Диагноз: «Отравление неизвестным ядом», — что в переводе на общедоступный язык значит: «передозировка наркотиками». Он, как и Толян, жил со своей тетей. Мы всей бригадой пошли провожать его в последний путь. Так та тетя даже не удосужилась нам накрыть стол. Мы скинулись по пятерочке. Купили водки, закусу — и у нее на кухне помянули человека. Через полгода эта тетя тоже умерла, и оказалось, что у нее на книжке было сорок тысяч рублей.

Я тогда работал в ресторане «Мисливець», на Левом берегу. Подошли Черниговский и Бублик.

— Серега! Мы тут с девчонками, посади нас!

Черниговский был женат, и у него было двое детей. Они напились и еле-еле держались на ногах. Через полчаса, когда кабак закрылся, я вышел и увидел толпу на берегу реки и машину скорой помощи. Девчата плакали, а Бублик сидел на берегу, в отчаянии обхватив голову, и приговаривал: «Говорил же ему — не ходи купаться, не вздумай нырять!»

Черниговский утонул, его вытащили из воды, спасатели делали искусственное дыхание, но откачать не смогли.

Зима. Полночь. Мороз жуткий...

Мы идем вчетвером с работы по узкой тропинке в снегу в сторону станции метро «Гидропарк» через маленький скверик с елочками, полутемный, малолюдный. Базарим — кто о чем. Колёк, как всегда, пьяный, плетется в хвосте, бормочет, что он чертовски устал, но в полной мере в порядке. Подходим к метро — нет Кольк! Посмотрели вокруг — ни души! Повернулись и пошли по тропке назад на поиски. Нашли! Лежит в снегу лицом вниз. Будили-будили, ни в какую! Терли снегом — не просыпается! Но, слава Богу, видно было, что еще теплый, не «подснежник»! Короче, отволокли назад в кабак и оставили на попечение кочегару-сторожу — грузчику, дворнику и алкашу. Тот потом рассказал, что наутро Колёк очухался, правда, ничего не помнил. Однако выставил бутылку «за возвращение с того света»!

В 1983 году было у нас мероприятие по случаю 1500-летия Киева. Вручали медали — мне и Олегу Иванову по кличке Бельмондо. А на фуршете к нам подседа бабеч с начёсом «Вошкин домик», такой клубок волос в виде шара на макушке. Это была сама директор объединения столовых и ресторанов.

— Ты как, Бельмондо? Что новенького?

И пошел разговор, то да сё... Вспоминали дни былые.

— А помнишь Василя-грузчика? Так вот, пришел он как-то домой пьяный, а жена у него тоже была не промах, на кухне бутылка водки початая. Стали допивать, повздорили чего-то, а она как раз шинковала капусту... Взбеленилась и засадила ему нож в шею. Короче... он на кладбище, она в тюрьме, а ребенка — в детдом.

— Да, Василий теперь будет вечно молодой... в памяти.

— И вечно пьяный!

Выпили и мы, помянули покойника.

— А у Веры — помните, посудомойка, рыжая такая? — сын разбился на мотоцикле... Ехал под сотню в час, не вписался в поворот — и прямо в столб... Естественно, без шлема ехал. Получился всадник без головы!

— У нас тут прикол был. Приехал к нашему директору в гости футболист из киевского «Динамо». Дело было в ресторане *«Мисливець»*. А грузчик, ну этот, как его, Лось, взялся помыть тому футболисту машину «Волгу» салатового цвета. Ну, и поехал ближе к воде, а бережок там крутой. И оказалась машина в воде по самые помидоры. Лось вылез с мокрыми штанами, а директриса рассердилась и уволил его. Та ещё сука...

— А Колю-мальчика помните?

— Шо, тоже копыта откинул?

— Хуже!

В кулинарном училище со мной подружился некто Коля. Тихий такой мальчик. Он оказался голубым. Рассказывал, что у них в детдоме педагоги-воспитатели многих сделали пидорами, но он сам такой по своей собственной природе. На последнем курсе училища он подхватил сифилис, а от него заразился кто-то из «высших слоёв атмосферы», некий студент университета. Говорили, сын какого-то «пурица» из Цека. Нашли этого Колю у нас, на ДВРЗ, в лесу. То ли повесили его, то ли сам повесился. В общем, педагогическая поэма...

Вадим работал у нас администратором. Перед открытием ресторана мы все впятером садились обедать. Без ста граммов не обходилось.

Зная нашу традицию, заскакивал иногда директор, высматривал, что у нас на столе. Мы мешали водку с пепси-колой, и он, редкостный тупица, так ни разу ничего и не заподозрил.

У Вадима была жена, лет на пятнадцать старше. Тоже официантка. У нее была дочь Ирина, дамский мастер. Вадим, таким образом, приходился этой Ирине отчимом. А другой наш коллега, Игорь, был женат на этой Ире и был чуть младше своего «папашки». Вадима знал весь город. Он дружил с игроками киевского «Динамо». Приезжал к ним на базу в Конча-Заспу, отоваривался там деликатесами и потихоньку продавал нам икру, балыки, креветки, крабов и т.д. В общем, дом — полная чаша: живи и радуйся! Жена его иногда приходила вечером и, видя его пьяным, гонялась за ним и кричала: «Убью тебя — пидор кривоногий!» Но не убила. Он сам умер в скорости — печень не выдержала...

Подхожу к ресторану, возле черного входа стоит карета скорой помощи. На носилках выносят кого-то, накрытого белой простыней.

— Кому тут плохо? — спрашиваю.

— Повар Жора умер!

Пришли, чтобы приготовить зал к открытию. Услышав внизу крики, побежали туда в мясной цех и увидели Жору, лежавшего без движений. Вызвали «скорую», не помогло.

Инфаркт! Тоже «не любил выпить»!

Hannover, 2007

Алла ДУБРОВСКАЯ

(Нью-Йорк)

ТИБЕРИЙ НА РОДОСЕ

Император ждал его. Тиберий не спешил. Ему всегда не хотелось возвращаться в Рим, хотя на этот раз предсказание звезд было благоприятным. Еще бы, ведь он вернул штандарты, брошенные Крассом после разгрома римских легионов. Вот тогда, должно быть, ему и приглянулся Родос, куда, возвращаясь из Парфии, зашли римские корабли пополнить запасы пресной воды. Маленькая Греция, окруженная морями. Владение Гелиоса, затерянный подарок Посейдона.

Никто в Риме толком не знал, что вынудило Тиберия в расцвете сил и славы, после стольких успешных походов покинуть город. Сам благочестивый Август жаловался на него в сенате: не он ли осыпал пасынка милостями, встречал его с почестями и награждал званиями? И чем тот отплатил? Хочет удалиться от дел, как будто ему пора на покой! Но дома, где его никто не слышал, так, во всяком случае, ему казалось, он кричал в смиренное лицо Ливии, которое далеко не всегда бывало смиренным:

— Я женил его на своей дочери! У нас с тобой могут быть общие внуки! Что еще ему надо?

Ушлые слуги, шныряющие по углам императорского дома, слышали, как кричал уже Тиберий, стоя на коленях перед матерью:

— Я не могу здесь больше находиться! Спаси меня!
Кто-то даже расслышал змеиный шепот Ливии:

— Ты что же, не хочешь быть императором?

Ответ Тиберия был неизвестен. Известно только, что через три дня он был отпущен восвояси.

«Неблагодарного удерживать не стали!» — пролетел ветерком шепоток над Римом.

Ветерок набрал силу и, долетев до Родоса, превратился в бурю, чуть не разбившую корабль Тиберия, а потом улегся легким бризом на каменистое побережье.

Уж если в Риме не знали, по какой причине его покинул Тиберий, то на Родосе тем более не имели понятия, зачем он сюда приплыл. Острова, раскинутые в морях, издавна были местом изгнаний. Здесь несчастных отлучали от привычной жизни, обрекая на одинокое затворничество. Но Родос не был мрачным застенком, на острове кипела жизнь, да и Тиберий не походил на ссыльного, все видел, как десятка два рабов разгружали его скарб с корабля на берег. Правда, он снял недорогую виллу и вообще был странный: ходил всегда один, высматривал подолгу корабли в порту. И это при том, что все еще считался трибуном¹, хотя сенат был им недоволен. Разве стоило покидать Рим, чтоб с нетерпением ждать оттуда новостей?

Однажды ему пришло в голову осмотреть больных на острове. Никто не знал, что у него на уме, но на всякий случай всех занемогших разложили перед входом в его виллу.

Подобное рвение Тиберию было знакомо. «Значит, греки подобострастны так же, как и римляне», — сказал он. С извинениями за причиненные неудобства ему пришлось пожелать всем больным скорейшего выздоровленья.

Слава богам, он вскоре охладел к обязанностям трибуна и зачастил в риторскую школу, которой знаменит был Родос.

¹ Родос управлялся Римом, хотя сохранял некоторую самостоятельность. Трибун — выборное должностное лицо в Древнем Риме, наделенное широкими полномочиями.

На первом же занятии наставник похвалил Тиберия за знание греческого языка, но остался недоволен его произношением.

— У тебя медленные челюсти, не бойся шире открывать свой рот! — сказал он.

— Еще скажи, что мне, как Демосфену, нужно набивать рот камешками, чтобы лучше ворочать челюстями, — довольно отчетливо произнес Тиберий.

В его голосе послышалось то ли недоверие, то ли угроза.

— Нет, просто ходи на берег моря и там обращайся к волнам настолько громко, чтобы римские граждане смогли тебя услышать.

Поскольку остров омывался двумя морями, Тиберия видели с тех пор то на побережье Средиземного моря, то на скалах Эгейского. Ветер срывал слова с его уст и уносил их в пространство, но, видимо, недостаточно далекое, потому что слова его оставались неслышанными в Риме, откуда ему писала только Ливия.

Она писала о том, что Август даже не вспоминает Тиберия, зато души не чает во внуках. Старшего Гая Цезаря он уже определил своим наследником. Младший Луций очень мил. Она, конечно, во всем потворствует мужу и тоже балует сыновей Юлии¹. В конце писем Ливия советовала Тиберию не предаваться унынию и проводить время с пользой.

Короткие вести от матери о многом говорили Тиберию. Он умел читать их меж строк. Юлия... Единственная дочь императора. Мало кого он так ненавидел в своей жизни, как эту женщину, впрочем, ее сыновей он ненавидел не меньше.

¹ Юлия — дочь Августа от жены, с которой он развелся, чтобы жениться на Ливии.

Говорили, что это она, овдовев, упростила Августа приказывать Тиберию жениться на ней, хотя тот был счастливо женат на Випсании. Тиберий настолько не выносил Юлию, что ему стало дурно, когда он забрел на рыбный рынок и тамошний запах напомнил ему запах этой свиноматки, этой шлюхи, о беспутстве которой знали в Риме все, кроме ее отца. Себя он тоже ненавидел за то, что не рискнул перечь Августу и женился на его дочери, разведясь с беременной Випсанией. Только Ливия знала, что бегство на Родос было избавлением от этой связи. Остальные догадывались.

Ожидание вестей из Рима повергало Тиберия в угрюмость, а одинокие прогулки располагали к размышлениям. Иногда он посещал философскую школу.

— О чем ты думаешь, стоя часами у морской кромки и глядя вдаль? — спросил его наставник.

— Я думаю о том, что все моменты времени существуют одновременно.

Обычно скрывающему свои мысли Тиберию такое откровение было несвойственно. Тем более для него прозвучала насмешка кого-то из философов:

— Зачем же ты тогда привез с собой астролога Трасилла, если будущее уже существует в каждом моменте времени?

Это настолько задело Тиберия, что он удалился, не вступая в спор, но вскоре вернулся в сопровождении ликторов¹, которые арестовали насмешника. Тому пришлось провести некоторое время в тюрьме. Говорили, что он еще дешево отделался. Лицам, оскорбившим трибуна, могла грозить и смертная казнь. Так Тиберий напомнил родосцам, что он не такой уж простой гость.

¹ Лица, сопровождающие трибунов, исполняющие его приказы, почетная охрана.

С тех пор прошло немало моментов времени, превративших будущее в настоящее, а настоящее в прошлое.

Тиберий запаршивел, покрывшись ржавым наростом, от которого не помогала ни одна мазь. Он перестал бриться, выгнав тонсора¹, у которого от страха прогневить трибуна дрожали руки, и нож то и дело норовил поранить бугристую кожу. Ему пришлось отрастить бороду, а заодно и редющие волосы. В Риме его бы осмеяли, на Родосе до него никому не было дела. Рабы натирали оголенную макушку Тиберия маслами. Макушка блестела под полуденным солнцем, привлекая приторным запахом жуков. Но, сосредоточенный на какой-то мысли, он не замечал жужжания надоедливых насекомых. Редким посланцам рабы, хихикая, указывали пальцем на одинокую фигуру, стоящую на краю утеса, или махали рукой в сторону порта, где их хозяин проводил часы, взбираясь на мраморные обломки — все, что осталось от разбитой землетрясением статуи великого Колосса.

В теплые безветренные дни Тиберий спускался к песчаной бухте и чертил на песке путь Ахиллеса, старающегося догнать вечно уползающую вперед черепаху, зато в надвигающийся шторм велел седлать жеребца, которого объездил еще в Риме, и мчался во весь опор на южную оконечность острова, где сливались в вечном поцелуе Эгейское со Средиземным морем. И там он то пускал коня вскачь, вбирая грудью гудящий морской воздух, то, спешившись, декламировал нараспев любимые куски из «Энеиды»:

Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои
Роком ведомый беглец к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны².

¹ Брадобрей.

² Перевод С.А. Ошерева.

В такие моменты он выглядел скорее смешным, чем величественным, но тем и хорош был Родос, что здесь Тиберий мог оставаться самим собой, забыв о роли защитника Рима и примерного семьянина.

Хотя как раз полководцем он был неплохим, не случайно же Август надел ему на голову триумфальный венок и пожаловал расписанную золотом тогу... Но шествия во главе легионов не удостоил. Даже получив должность трибуна, Тиберий обиду не забыл. Справедливости ради надо сказать, что воины не любили его. Не умел он располагать к себе простых людей, оставаясь надменным и отчужденным. Иное дело — Друз. Друза в армии любили все. Было в нем подкупающее сострадание к легионерам, служба которых и впрямь была тяжела: двадцать лет походов, жизнь в палатках под дождем, снегом и ветрами. «У них тела покрыты шрамами, половина центурионов деснами перемалывает жратву», — вспоминал Тиберий слова брата, не испытывая при этом ни малейшего сочувствия к тем, о ком тот говорил. «Каждому свое, Друз, каждому свое. Богам была угодна твоя нелепая смерть, а я вот жив, хотя меня могли убить много лет назад», — праздность жизни на Родосе располагала к подобным мыслям.

Провидение и в самом деле было милостиво к Тиберию. В годы гражданской войны кто-то внес фамилию их отца в проскрипционный список. Всех ожидала смерть. Семейству пришлось спасаться бегством. У Ливии, пробиравшейся сквозь горящий лес с младенцем Тиберием на руках, загорелись волосы. Так огонь стал его первым детским воспоминанием. Тогда же с ним случился и первый приступ удушья. Кормилица решила, что малютка наглотался дыма, но приступ повторялся и у повзрослевшего мальчика. Словно волчонок, говорил он, впивается в мое горло. Лишь Ливия знала, что волчонком был страх, поселившийся в душе ее сына, а страх, если верить Зенону, это не что иное, как предвестник зла. Друз, рожденный уже после перемирия, такого страха не знал.

Победивший Октавиан простил врагов Цезаря, а их отец был из таковых. Что думал об отце Тиберий? Что, в общем-то, тот выбрал не ту сторону. Октавиан стал достойным правителем Рима, не случайно же Ливия ушла к нему, оставив их с Друзом в доме покинутого мужа. Кстати, в том доме не так-то уж им было и плохо. Во всяком случае, беззаботно. Вспоминая свою речь на смерть отца, Тиберий всегда самодовольно усмехался. Славно получилось у девятилетнего гражданина. Видать, не такие уж медленные были у него челюсти. Даже Ливия удостоила его похвалы, что с нею случалось не часто. Октавиан же просто велел доставить пасынков в свой дом на Палатине.

На скрипучей повозке их везли через город, оживающий после запустения гражданской войны. Тиберий замер, увидев бронзовую волчицу, стоящую возле Форума. Знакомое удушье перехватило его горло. Не вырос ли тот самый волчонок, от которого он убегал в детстве, не догнал ли его здесь, в столице мира, чтобы, разодрав внутренности, выпустить из него жизнь?

— Это же добрая волчица, чего ты испугался? Она вскармила Ромула и Рема своим молоком, — лицо брата склонилось над ним. — Ты упал в обморок, Тиберий, стыдись! Но я никому об этом не скажу, наш возникший тоже будет молчать.

Слугам всегда полагалось молчать, правда, они шептались между собой, из их шепота Тиберий узнавал больше, чем из слов отчима, который редко его замечал. Поначалу многое было ему непонятно. Он не знал, что значит «многоликий», а именно так звали Октавиана за глаза. Мраморная фигура бога Януса, стоящая в саду, была с двумя головами. Как ни старался Тиберий, он не мог представить, где бы еще могла разместиться третья. Он видел, как Октавиан с ласковой улыбкой принимает гостей, которых накануне обзывал последними словами, а отправляясь в сенат, надевает обувь на толстой подошве,

чтобы казаться выше. Однажды Тиберий подслушал, как отчим не поддается на уговоры сенаторов принять власть: «Вы и не представляете, какой это зверь». Кажется, он улыбался, когда это говорил, а Тиберий чуть снова не потерял сознание, вспомнив оскал бронзовой волчицы. Спрятавшегося мальчишку никто не заметил, но тот навсегда запомнил слова, сказанные кем-то вполголоса: «Вот увидите, не для того он расправился с врагами, чтобы разделить с кем-то власть». Насколько прав оказался этот неизвестный, Тиберий узнал позднее.

Так в доме императора расцвело полным цветом ожидание зла в жизни Тиберия. Тогда-то он и стал звать мать Ливией. Ей это даже нравилось: быть женщиной в глазах подрастающего сына. А ведь так оно и было. Рядом с ней он испытывал какое-то непонятное волнение. Ревность ударяла ему в голову, когда он перехватывал взгляд отчима на Ливию или видел соприкосновения их рук. Он уже знал, чем они занимаются в спальне, и это распаляло его еще больше. Бедный Друз был младше на три года и оставался в неведении по поводу томлений брата. Зато они были неразлучны.

У Августа, так стали звать Октавиана, в доме было полно детей, учителей, наставников и надзирателей. Тиберий любил играть только с братом, но за ними часто увязывалась хохотушка Юлия, которую родила бывшая жена Октавиана в день его свадьбы с Ливией.

Любое воспоминание о Юлии, даже если оно всплывало случайно, Тиберий прерывал с отвращением. А ведь это она раздвинула однажды свои полненькие ножки и показала ему светлые завитки внизу живота. Вошедший раб помешал ей осуществить задуманное. Прознавшая об этом Ливия оградила братьев от Юлии, запретив ей играть с мальчиками.

Боги знают, как Тиберий любил брата, как тяжело было ему сопровождать его мертвое тело к месту погребения.

ния. Он всегда любовался его мощным торсом, сильными руками. Друз одинаково владел левой и правой, а Тиберий так и остался левшой. Оба были прекрасными наездниками, оба могли погибнуть от ран или мора, но какая нелепая смерть досталась достойнейшему из всех, кого он когда-либо любил: упавший конь придавил ногу Друза, началось воспаление, от которого тот уже не оправился. Да что там... И в глубокой печали, не вытирая слез, Тиберий вспоминал стихи великого Горация:

Фурии многих дают на потеху свирепому Марсу,
Губит пловцов ненасытное море,
Старых и юных гробы теснятся везде: Прозерпина
Злая ничьей головы не минует.

.....

Жертвы тебя не спасут никакие.
Пусть ты спешишь, — не долга ведь задержка: три горсти
Брось на могилу мою, — и в дорогу!¹

После смерти младшего сына Ливия словно помешалась на Тиберии. Мало ей было влияния на Августа, который не принимал ни одного решения без ее совета, так ей еще захотелось стать матерью следующего владыки Рима. Долговязый и унылый Тиберий ненавидел все, чем она наслаждалась. А наслаждалась она, как и Август, ощущением всевозрастающей власти. Достойная это была пара. Под стать друг другу. Наблюдая за отчимом, Тиберий видел, как тот осторожно двигался к той самой власти, от которой так упорно отказывался на словах. Он осыпал щедротами армию, подкупил нищих раздачами хлеба, а уж потом подкупил и весь народ обещанием вечного мира после изнурительной гражданской войны. Когда его благочестивые уши уловили песнопения в честь великого триумфатора, он решил, что пришло время подмять под себя сенат и закон.

¹ Перевод Н. С. Гинцбурга.

Тиберий слышал не раз, как Ливия подталкивала мужа к более решительным действиям. «Вот увидишь, никто не посмеет и слова сказать против тебя в сенате», — лениво говорила она, играя золотыми браслетами.

Никто и не сказал. Истинная правда. Да и некому было выступать против. Самые непримиримые пали в гражданскую войну. Остались те, кто слишком ценил свою жизнь, чтобы расстаться с ней по собственной воле. Молчали и провинции, разоренные в войнах.

Должно быть, Ливия почувствовала, что не может больше держать сына возле себя. Мальчику пора было жениться и завести свой собственный дом. Как же он был благодарен ей за это!

Випсания! Любовь его жизни. Мотылек, прилетевший к нему, истосковавшемуся по женской ласке, на огонек его одинокой души.

Будем, Лесбия, жить, любя друг друга!
Пусть ворчат старики, — что нам их ропот?
За него не дадим монетки медной!
Пусть восходят и вновь заходят звезды, —
Помни: только лишь день погаснет краткий,
Бесконечную ночь нам спать придется.
Дай же тысячу сто мне поцелуев,
Снова тысячу дай и снова сотню,
И до тысячи вновь и снова до ста,
А когда мы дойдем до многих тысяч,
Перепутаем счет, чтоб мы не знали,
Чтобы сглазить не мог нас злой завистник,
Зная, сколько с тобой мы целовались¹.

Зачем ее отняли? Неужели по прихоти Юлии? Или, женив на дочери, Августу хотелось крепче привязать его к себе родственными узами? Думая об этом, Тиберий начинал задыхаться, как в детстве, когда ему казалось, что

¹ Стихи Катутла в переводе С. Шервинского.

волчонок впивается в его горло. После развода он только раз случайно встретил Випсанию и так долго глядел ей вслед глазами, полными слез, что об этом тут же донесли императору. Ее срочно выдали замуж и запретили встречаться с Тиберием.

Даже вдали от Рима Тиберий чувствовал, как Август играет его судьбой. Ливия никогда не писала о том, что он в немилости, но это было понятно и без слов. Пока Гай и Луций молоды, Августу могла прийти в голову мысль о том, что Тиберий готовит против него заговор, чтобы захватить власть и начать гражданскую войну. Кто мог помешать ему подослать людей умертвить пасынка? Никто, кроме Ливии, если она, конечно, будет знать о таком намерении мужа. А если он умудрится держать это в тайне? И страх, поселившийся в душе Тиберия с детства, заполнил его пребывание на Родосе ожиданием зла. Не потому ли он высматривал корабли в порту, поджидая своих убийц? Правда, по всем уверениям астролога Трасилла жизнь ему предстояла долгая, но что, если тот неверно толковал движение звезд или просто лгал? Тиберий обещал побить Трасилла, если звезды не предскажут изменений в его судьбе. Звезды тут же предсказали благие изменения, но только после длительного ожидания. Через шесть лет, когда терпение Тиберия было уже на исходе, предсказание сбылось: в порт вошел корабль с посланцем от Ливии, принесшим весть о его разводе.

Ливию не случайно ценили за ум. Свое краткое послание она доверила одному из немногих друзей Тиберия — центуриону Руфу Порцию, зная, что тот не утаит подробностей скандала, о которых она сама умолчала.

— Да ты превратился в настоящего грека, — загоготал Порций, увидев Тиберия, обросшего бородой, в хитоне и сандалиях.

Тиберий же был поражен тем, как раздобрел Порций, его друг по военным походам в Галлию. Глазки Порция словно заплыли жирком, тога не скрывала выпирающий живот.

— Ты стал походить на наших сенаторов! Это что, нынче так спокойно живет в Риме? Давно не спал в палатке?

Порций снова расхохотался, обхватив Тиберия за плечи:

— А ты тут усох под лучами божественного Гелиоса!

Конечно же, Тиберий повел его на свою виллу, которая показалась Порцию маленькой и бедной, заваленной свитками. «У тебя тут целая библиотека, да еще на греческом! А ну, прочти-ка что-нибудь!» — он развернул первый попавший под руку свиток и протянул его Тиберию, и тот торжественно и нараспев прочел:

Будем пить!

.....

Зимний недолог день.

Расписные на стол,

Милый, поставь

Чаши глубокие!¹

.....

— Ну ты подумай, я прямо угадал, какой свиток вытащить из целой кипы. Мой греческий не так хорош, как твой, но кое-что я все-таки понял! Так давай пить, хватит стихов! Где твое знаменитое родосское вино?

Они возлегли у бассейна в тени деревьев, где сохранилась прохлада в жаркие дни. К изумлению Порция, рабы подали только сыры с лепешками и фрукты, мяса не было совсем, зато вина и маслин оказалось вдоволь.

— Я не ем мяса, но слуга уже послан на базар, — извинился Тиберий.

— Так вот почему ты такой тощий. Смотри на меня, — Порций похлопал себя по животу, — вот что любят римлянки!

Тиберий ответил ему непристойной шуткой, от которой прыснул мальчик-раб, подливавший вино гостю.

¹ Стихи Алкея в переводе В. Иванова.

Непринужденность маленькой птичкой впорхнула в их разговор, распевая на все лады похождения буйной молодости обоих. Они не виделись слишком долго, чтобы сразу начать говорить о тревожном настоящем. Только уже изрядно набравшись, Порций рассказал о Юлии то, что знал весь Рим: дочь Августа переодевалась проституткой и отдавалась всем желающим прямо на Форуме, видимо, ей не хватало аристократов, которых она принимала у себя в доме. Все проходило мимо отцовских ушей, пока она не вступила в связь с Юлом Антонием, сыном Марка, его заклятого врага.

Об этом кто-то донес Августу. Говорят, он так кричал на беспутницу, что распугал всех павлинов в саду. На этот раз ей не удалось вымолить прощения, Август своей властью развел ее с Тиберием и сослал на крошечный остров.

— Ей повезло меньше, чем тебе, — закончил свой рассказ вдруг серьезный Порций.

Тиберий догадался, кто донес Августу на дочь. Вместе с письмом Ливия передала ему монету с профилями Юлии, Гая и Луция. Ему легко было представить, как Ливия бесило изображение бесстыжей потаскухи, ведь Ливия считала себя матерью Рима, так почему на монете не она, а Юлия? Конечно же, это она позаботилась о соблюдении приличий в семье Августа, кто же еще? Впрочем, возможно, смысл послания был в другом, возможно, это был намек на то, что остались только два профиля. Об этом Тиберий боялся думать.

— Ну что ж, — сказал он, — если верить Эпикуру, счастье состоит в познании удовольствий, а несчастье — в познании страданий. Страданий нам с тобой досталось не так уж мало, как насчет того, чтобы теперь испытать немного удовольствия?

И он повел друга в бордель. В конце концов, чем Родос хуже Рима? Во всяком случае, здесь можно найти про-

ститутку на любой вкус и любого цвета кожи. Но Тиберий всегда выбирал одну и ту же полногрудую и дебелую аквитанку, напоминавшую ему Юлию, которая, несмотря на хорошую плату, покрывала его имя последними ругательствами, а все потому, что он выкручивал ей соски и старался оставить как можно больше синяков на ее теле.

Порций плохо помнил, что они делали, когда вернулись на виллу. Кажется, Тиберий плакал и читал ему свои стихи, посвященные Випсании, но поскольку они были написаны по-гречески, он мало что понял. Последним, уже замутненным его воспоминанием, был опять же Тиберий, переодетый в расписанную золотом тогу, подаренную ему когда-то Августом. Еще был откуда-то взявшийся мальчишка-раб, за которым Тиберий гонялся вокруг бассейна. Мальчик с визгом прыгнул в воду. «Уплыла рыбка», — пьяно хмыкнул Порций и провалился в сон.

Следующий день снова прошел в возлияниях, а все потому, что других занятий для Порция на острове не нашлось. Утром третьего дня ему предстояло направиться на Самос с письмами к Гаю Цезарю, ставшему наместником Сирии по воле не столько сената, сколько самого Августа.

Тиберию не терпелось узнать как можно больше о том, что происходит в Риме, но он был осторожен, жестом приказывая слугам подливать вина в чашу Порция и подносить куски жареной свиной туши, которую приготовил для гостя повар-грек. В одном из мальчиков, подававших фрукты, Порций узнал вчерашнюю «рыбку». Мальчик потупил взор, заметив на себе взгляд гостя.

— Да, Август уже не тот. Все замечают, что он покидает гладиаторские бои, не досмотрев до конца, немногословен в сенате и вообще выглядит понурым. То ли он не здоров, то ли его доконала история с дочерью. А помнишь, каким он был? — Порций повернул раскрасневшееся лицо к Тиберию.

Тот хмуро помалкивал. Уж он-то помнил Августа получше Порция. Помнил он и ликование толпы, простирающей руки к коляске, в которой ехал человек, тогда еще по имени Гай Юлий Цезарь Октавиан. Зачем он взял в коляску детей Ливии? Показать, как сладка любовь народа, дарующего власть победителю?

— А ты помнишь, что сказал Цезарь, когда его спросили, какую бы смерть он предпочел? — вдруг спросил Тиберий, словно настала его очередь задавать вопросы. Порций замялся.

— Внезапную!

— Уж коль смерть неизбежна, я бы тоже хотел умереть неожиданно! — в голосе Тиберия послышалась несвойственная ему искренность. — Но как мне жаль Цицерона! Говорят, старик хотел пробраться в дом Октавиана и там убить себя, вызвав духов мщения, да не решился. Наивный, он долго верил в спасение, а когда понял, что спасения нет, сам подставил шею под меч палачу. Я будто вижу его обессиленного и больного, убегающего от стаи волков. А уж как я любил его «О природе богов», да и все, что мог прочесть!

Помолчали. Порций понял, что Тиберий не случайно затеял этот разговор. Получалось, что Октавиан был виновен в убийстве Цицерона, но настоящим-то врагом старика был Марк Антоний. Это в Риме знали все. Порций слышал, что Октавиан как раз не хотел вписывать Цицерона в проскрипционные списки, да Антоний настоял.

— Воистину страшное дело, сколько людей лишились жизни после той «внезапной» смерти, о которой ты говоришь. Хотя, насколько я помню, Цезарю было предсказание не ходить в тот день в сенат. Я ведь постарше тебя, мой друг, и помню, во что войны превратили наш край: пепел вместо поселений, дороги завалены мертвыми телами, в лесах — бандиты, на море — пираты. Голод. Мой отец и дед были противниками Юлия Цезаря,

они говорили, что рано или поздно тот станет пожизненным диктатором. Каким-то чудом мы не попали в проскрипции. Дед уже умер, когда Октавиан победил, отец перешел на его сторону, а что еще ему оставалось делать? Вспороть себе живот? Что до меня, то я за мир и порядок, мой милый, а они пришли в Рим только с его победой.

Отговоривши, Порций смачно рыгнул и уставился на Тиберия.

Но того словно распирали воспоминания:

— А знаешь, я ведь подсунул своему старшему пасынку Гаю свиток с речами Цицерона. Октавиан запретил читать их в школах, а тут, в собственном доме, он застучал внука со свитком. Много бы я дал, чтобы тогда увидеть его лицо. Говорят, оно не изменилось: ни гнева, ни слез. Словно окаменел. Правда, выдавил из себя, что Цицерон был достойный гражданин и прекрасный оратор. Даже не стал спрашивать, откуда свиток.

Выпили еще вина, поговорили о том, что плавать в морях стало безопасно после того, как флот Августа расправился с пиратами, и о том, что с попутным ветром корабль Порция может за два дня добраться до Самоса.

Порция словно разбирало желание снова и снова говорить о богоравном правителе Рима:

— Знаешь, я с гордостью отдам жизнь за нашего императора, первого среди равных. Недаром он называет себя принцепсом¹. Конечно же, его слово решает все.

Непосредственность старого вояки даже растрогала Тиберия:

— По крайней мере, он развел меня с этой тварью...

— Так ты теперь можешь вернуться в Рим, небось, гречанки тебе уже надоели?

¹ Формально Октавиан Август назывался принцепсом — первым в сенате.

И разговор снова обратился в похабный солдатский треп, которого так не хватало Тиберию на Родосе. Как-то само получилось, что от сравнений кобыл с римскими матронами Порций перешел к первой чете государства:

— А правду говорят, что Ливия сама выбирала девушек для Августа? Впрочем, откуда тебе знать.

— Этого я и вправду не знаю, — медленными челюстями Тиберий жевал финики, сплевывая косточки в лекану¹, — но я знаю, что Ливия умнейшая женщина. Она всегда получает то, чего хочет, а ее честолюбию нет предела. Сейчас она хочет стать матерью императора.

Сказано опрометчиво, а все потому, что долгое молчание ведет иногда к излишней болтливости. Ужас, промелькнувший в его глазах, вспугнул птичку непринужденности. Она вмиг вспорхнула и улетела. Теперь замолчал Порций, но Тиберий знал, о чем он думает. А думал Порций о том, что желанию Ливии не так просто осуществиться пока живы внуки Августа Гай и Луций. Кто знает, может, поэтому он отослал их подальше от Рима. Ходили слухи, что старшенький, которому стукнуло двадцать лет, ненавидит отчима. Чтобы донести Гаю на Тиберия, Порцию оставалось только добраться до Самоса. Как можно было так неосторожно проболтаться?

— Но я-то в душе такой же республиканец, какими были наши деды. Я бы вообще возродил республику, если бы получил когда-нибудь для этого достаточную власть.

Такое признание Тиберия положения не исправило, а скорее, усугубило.

— Но разве у нас не республика? Разве Октавиан не восстановил сенат и народное собрание? Разве он тиран?

В удивлении Порций приподнялся с ложа. Лицо Тиберия оставалось непроницаемым. Момент был серьезный. Порцию пришлось напрячь свой захмелевший ум.

¹ Древнеримская посуда типа глубокой тарелки на ножке.

— Сколько лет тебя не было в Риме? Шесть? Ты ничего не знаешь про наших граждан, они наелись досыта только теперь, вот и голосуют в комициях¹ так, как того хочет Август, хлеб-то он раздает. И наших сенаторов, наших козлов в тогах, ты тоже забыл. Они больше не умеют говорить правду. В сенате не осталось почтенных граждан. Дать им власть? И республиканской армии, слава богам, больше нет, Рим изнемог от бесконечных гражданских войн, тебе ли начинать все сначала?

— Все так говоришь, старый вояка, все так, — Тиберий попытался улыбнуться, но его лицо отвыкло улыбаться. Оно сжалось, под небритыми щеками обозначились складки. — Почему же они все вдруг принялись лгать, а? А я тебе так скажу, — Тиберий ткнул пальцем в плечо Порция, — раньше средством выживания были ноги, теперь этим средством стала ложь, — он устало откинулся на подушки. — И потом, олух, ты что, не слышал? Я же сказал, «если бы получил власть», но я не хочу власти. И хватит об этом.

Жестом он приказал мальчику налить им еще вина.

«Он не хочет власти, он хочет восстановить республику, — вертелось в голове Порция, — он хочет, чтобы я этому поверил. Не такой ты человек, Тиберий Клавдий Нерон, чтобы отказаться от власти, если она свалится на тебя. Я-то помню тебя в походах, как лупцевал ты своих легионеров, приговаривая: пусть ненавидят, лишь бы повиновались, даже Друз не мог тебя остановить... Жестокий человек всегда властолюбив, уж в этом меня никто не разуверит...»

Но что простодушный Порций мог знать о мыслях Тиберия, мыслях, которые терзали его все эти годы, проведенные в одиночестве? На войне Тиберий не ведал того страха, который охватывал его в доме Августа. Друз не боялся, Ливия вертела мужем как хотела, а ему становилось страшно даже от одного взгляда отчима. Почему? «Потому

¹ Август сохранил народные собрания — комиции.

что на войне ты свободен!» — сказал однажды внутренний голос. «Да! — обрадовался он такой простой мысли. — Как это ему раньше не приходило в голову?». Не бежал ли он на Родос от тягучего чувства бессилия, паралича воли, словно клыки волчицы снова и снова сжимали ему горло, не давая дышать? Но и на острове не обрел он покоя. Страх нагнал его и здесь. Длительное отсутствие могло вызвать подозрения у Августа. Наверное, уже вызвало. Пора возвращаться. Вон Порций набил свой толстый живот и, покряхтивая, развалился на подушках. Уж не подослан ли он сюда вынюхивать, что да как?

Ясноликий Гелиос успел облететь небесный купол с востока на запад в своей колеснице и приготовился омыть копыта священных коней в океане, когда Тиберий позвал гостя полюбоваться видом ночного Родоса со своего любимого утеса. Быстро темнело, мальчишка-раб с трудом нес смоляной факел, освещая дорогу. Идти пришлось по крутой тропинке и, спотыкаясь, Порций смачно матерился. «Зачем они потащились на эту гору, чего он тут не видел? Звезд на небе?»

А меж тем в порту зажгли маяк — то там, то здесь замигали уличные огоньки, бриз донес горелый запах жертвенных костров. Из-за тучи вышла луна, стало светлее, внизу обозначились мачты пришвартованных кораблей. Голос Тиберия стал мягок и тих:

— Смотри, как светится Регул в созвездии Льва. Видишь там семь тусклых звезд?

Пока Порций пытался найти на небе эти звезды, он продолжал:

— Я прихожу сюда часто, знаешь, зачем? Мне кажется, здесь, на этой высоте, все моменты времени существуют одновременно.

Порций вряд ли понял, о чем шла речь. Старый вояка выглядел усталым, его корабль готовился к отплытию на заре. Тихое море могло разбушеваться в любой момент,

от одной мысли о качке желудок Порция начинал выворачиваться, к тому же он явно обожрался жареной свиной. У края обрыва он немного перевел дух.

— А где ж тут знаменитый Колосс? Покажи.

— Да что тебе Колосс, он давно развалился, остались одни обломки.

Но Руфу Порцию не суждено было увидеть даже обломки великой статуи. С отчаянным криком он рухнул с обрыва, распугав уснувших птиц. Замешкавшись на минуту, мальчишка бросился вниз по тропинке, выронив факел. Тиберий быстро его догнал. «Ты никогда не мог убежать от меня, мальчик». Он схватил ребенка на руки и на несколько мгновений, словно сына, прижал его к груди.

Дома Тиберию пришлось написать пару писем в Рим. Его официальное письмо извещало о несчастном случае с центурионом Руфом Порцием, оступившемся и упавшем со скалы. В письме Ливии Тиберий сообщал, что хотел бы вернуться домой. О разбившемся мальчишке-рабе нигде не упоминалось.

Только через два года Август позволил пасынку вернуться в Рим. Тиберий покрыл свое имя славой, принимая участие в военных походах и стараясь как можно реже находиться при дворе императора. Он никогда больше не женился и никогда не возвращался на Родос. Возможно, он и не помышлял о власти, но тут случились одна за другой смерти сначала Гая, потом Луция. Говорят, Ливия приложила к этому руку, но кто же мог знать это наверняка. Горевавшему Августу ничего не оставалось, как усыновить Тиберия и назначить его своим преемником. После смерти Августа он поначалу отказывался от власти, но такая нерешительность не устраивала сенаторов, один из них даже сказал: «Пусть он правит или пусть он уходит!» Тиберий не ушел. Не возродив республику, он укрепил империю, продолжив дело Августа. Но страх никогда не оставлял его.

Александр СПРЕНЦИС

(Киев)

ПЕТРОГЛИФЫ

(Из книги «Пепельница»)

* * *

Вен. Ерофеев в своей бессмертной поэме «Москва — Петушки» предлагает читателям рецепт коктейля «Сучий потрох». Ерофеев называет этот напиток «музыкой сфер».

Чего там только не намешано! От жигулевского пива до тормозной жидкости, не говоря уже о шампуне «Садко — богатый гость».

По моему глубокому убеждению, вся наша жизнь и есть этот ерофеевский «сучий потрох»...

* * *

Праздник выцвел, как флаг на солнце...

* * *

Голуби еще не отошли от холодов и поэтому не такие нахальные в своей суете...

Не такие наглые, как летом...

* * *

Смерть трудоголика: умер с будильником в руках. Прижимал к сердцу...

* * *

Жизнь — копейка!
А цены — зашкаливают!
Бублик дороже жизни!..

* * *

Февральский вечер. Иду переулком из кафе «Купидон». Скользота страшная!

Мимо, взявшись за руки, в диком веселье пробегают две девицы лет шестнадцати. Я им: «Осторожно, скользко!»

Одна из них оборачивается и, выплевывая изо рта жвачку, говорит: «А мне похуй — упаду я или нет!»
«Здравствуй племя — младое!»

* * *

Шелуха событий.

* * *

Снег саваном лег на землю...
Пепел небес...

* * *

Цветочки на могилке — слабое утешение!

* * *

Мастерю верлибры из воздуха...

* * *

Жизнь — девка бесхозная, ничья...
Делает, что хочет, и посылает всех на три буквы...

* * *

Безмолвие холмов — совершенно...

* * *

Время нас всех почти рассеяло...

Барахтаемся в одиночку...

Чувство сиротства...

Чтобы все это передать, нужны Вагинов и Платонов.

Два гения — две жертвы тяжелой, как скала, эпохи.

* * *

Из н/ф: «Плеснуть под жабры».

Это о любителе выпить.

«Он любил плеснуть под жабры».

Шикарно!

* * *

Пишу, и чернила мешаются со слезами дождя...

Жизни людей — как высыхающие лужи...

Жизнь сверкнула — и нет жизни — испарилась!

* * *

Старики и старухи с сумками, тюками, торбами...

В дремучей одежде, сгорбленные, подавленные, точно призраки...

* * *

Теперешняя жизнь полна сюрпризов и катастроф:
никто не может гарантировать, что сегодня вечером ты
вернешься к себе домой!..

* * *

...писать еще короче, чем Л. Добычин.
Например, так:

1.

Дряхлая весна.

В теле слабость, голова как чайник...

Хандра. Город в унынии.

Побитые дороги, обшарпанные стены.

Очумевшие от взрывов люди...

Вороны орут, как недорезанные.

N — умер, X — уехал.

Неясно: конец весны или начало осени.

Лето прячется нашкодившим мальчишкой.

2.

На углу у раскрытых дверей кафе курит девица.

Неопрятные лица мужиков напоминают картины
Босха.

3.

Бумага закончилась.

Чернила высохли.

Душа усохла.

Пение птиц — не радует.

* * *

Неожиданно смелые порывы ветра вскидывали легкие дамские одежды, и тогда счастливому взору прохожего открывались тайны (прелести) женской географии.

* * *

Ветер листает страницы моей жизни...

Из окна — волны шума — авто, крики детей, пение птиц...

* * *

Шелковица у моего подъезда совсем разрослась —
крона дерева почти закрыла вход в подъезд.

Но красиво! Красиво! Художественное захолустье!

На асфальте — раздавленные ягоды...

Петроглифы

Вечер в кафе. Мысли о Дальнем Востоке.

Там скалы, как сама Вечность!..

Одиночество петроглифов окуневской культуры...

Скалы, стелы, каменные фигуры.

Тайга, болота, таежные леса, дикие ущелья, грозные
реки...

* * *

Поэт за письменным столом.

Вечерний свет мешается с настольной лампой.

Поэту хорошо, потому что он пишет правильные вещи.

* * *

Зима пугающе облысела.

Приятно, что нет льда и люди не ломают себе руки и
ноги, но всё равно как-то не по себе!..

* * *

В моей голове крутится только одно слово: катастрофа.

* * *

Такое ощущение, что Бог создал ворону из металличе-
ских опилок...

* * *

Тихие заводи всеобщего безумия...

* * *

Нищета дырявой старухой глядит из каждого угла...
Серая муть заволокла небо...

* * *

Кругом слякоть...
Сыро, полудождь, полуснег...
Зима уже не зима, а продолжение осени...
Не удивлюсь, если в июне пойдет снег!

* * *

Безумные птицы событий скользят за окном...

Наум ВАЙМАН

(Тель-Авив)

ХАНААНСКИЕ ХРОНИКИ.

АРХИВ ПЯТЫЙ

Фрагмент для журнала

26.5.2003

Поехал к Эдне Шабтай¹. Я почему-то представлял ее себе старушкой и живущей, раз уж в Атлите, то в вилле. Оказалась худой, подвижной и говорливой особой неопределенного возраста (и не скажешь, что под семьдесят), проживающей в старом доме барачного типа, в маленькой, хотя и прибранной, аккуратной квартирке. Рассказал о себе, о работе над переводом, что сжился с героем, стал чувствовать автора... Потом она взяла беседу в свои руки и уже не выпускала. Она кибуцница, из Ашомер Ацаир², а Янкеле, так она его называла, городской, приезжал на практику со школой, он был в последнем классе, а она в предпоследнем, познакомились и через год поженились. Ее отец, русских корней, был известный издатель, показала толстенный том Пушкина в переводах Шленского и сборник переводов русской поэзии, вышедший перед Пасхой сорок первого года: Бальмонт, З. Гиппиус, Вяч. Иванов, Георгий Иванов, Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Белый, Ахматова, Сельвинский. Сама — училка, преподавала литературу. Она его де литературно воспитывала, всегда очень ценил ее мнение. Янкеле в юности хотел

¹ Вдова израильского писателя Якова Шабтая.

² Юный Страж (*ивр.*) — молодежная организация левых сионистов.

быть и футболистом, играл за сборную Тель-Авива, и архитектором, и партийным лидером, увлекался коммунизмом, изучал «Капитал», потом разочаровался, но писателем себя не мыслил до 30 лет, хотя писал заметки, стихи, рассказы для детей. Работал время от времени и денег домой приносил мало, она была главной кормилицей (у них две дочки), но была готова его содержать, лишь бы он занимался любимым делом. «Это служение таланту, или преданность человеку?» — спросил я. Только человеку, ей было все равно, писатель он или футболист, она просто беззаветно его любила: красивый, сильный, «вашей комплекции», «рыба» («Я тоже рыба», — говорю. «Ну вот, пожалуйста. Я была уверена».) Решение посвятить себя литературе пришло Янкеле в 30 лет, после успеха его пьесы «Полосатый тигр». С тех пор работал, как проклятый, по 6–8 часов в день. Показала рукописи (все аккуратно сложено в большие коробки), как набрасывал план, уточнял, вносил исправления. «Он записывал, если слышал что-нибудь любопытное?» Все карманы были набиты записками, всегда записывал обрывки фраз, свои мысли, и когда умер, карманы еще были полны исписанными бумажками. В 36 у него был первый и очень сильный инфаркт, врачи сказали, что операция бесполезна. Потом, к концу, случились еще два, и... Эта книга (Соф давар) о страхе смерти, о приближении к ней, она никогда не думала, что он так боится смерти, да и внешне это никак не проявлялось, и вообще, герой совершенно не похож на него, полная противоположность, такой зануда, испуганный. А он ничего не боялся, хотя с другой стороны ужасно боялся какого-то вернувшегося чека, или конфискации холодильника, однажды у нас забрали холодильник, а это все что у нас тогда было... А вот бабушка, мать и отец в романе — копии его родных. «А жена?» — «Жена... составная фигура». Вообще, все его вещи — о смерти, и пьеса, и рассказы, и «Зихрон дварим». «Зихрон дварим» роман о

70-х, и о городе, такая археология города. Влияние Камю. Влияния? Толстой, Достоевский, Чехов, Камю, Клейст, читал очень много, поглощал мировую культуру, читал на иврите, хотя неплохо знал английский. Нет, не принадлежал ни к какому «течению», абсолютно вне течений. На него сильно повлиял мой школьный учитель по литературе у нас в кибуце, человек глубочайшей культуры. Литературная жизнь? В основном ходили в гости, когда мы переехали в Тель-Авив то подружился с... В конце призналась, что, хоть и кибуцница, но голосовала за Шарона.

27.5. Вечер Кенжеева в библиотеке Форумa. Седой, белая борода и включенная шевелюра. Глаза заплыли. Жена — увядшая персиянка с нижней губой до колена. Видно, из почитательниц: «Бахыт, прочти это, Бахыт, прочти то». Духовную близость демонстрирует. Читал с компьютера и пил водку. Жрать водку горазд. Когда я подошел к нему в перерыв и назвался, он неестественно радушно воскликнул: «Аа, как же, как же! Да-да, студия «Луч»!» И тут же налил мне водки. «Как поживаете, Наум? Выпейте, выпейте». Потом подвалила Палванова со своей книжкой и какими-то восточными комплиментами. Положив свою книжку рядом с его, сказала: «Видите, у нас с вами среднеазиатская фамилия! Ведь у меня отец был каракалпак». — «Скажите, как это интересно!» — живо среагировал Кенжеев. Стихи его никакие, общекультурные, неинтересные. Строчит километрами. К концу распоясался и стал читать шуточные, от имени Ремонта Приборова, сам называл их «замечательными». Опыянение постепенно сказывалось: он ронял собравшимся, весьма трогательно его принимавшим, «дети мои», или: «я вообще-то мусульманин, но по убеждениям православный, так что с евреями...» «Молчи, твою бабку звали Цилей!» — кричит

ему жена. «Я раскопала!» — добавляет, обводя присутствующих гордым взглядом. А было человек сорок, потом меньше стало. Активно хвалил друзей. «Вот сейчас найду стихотворение Леночки Игнатовой, прекрасной поэтессы, моего друга... сейчас. Нет, не могу найти. Я тогда просто скажу, что Лена Игнатова одна из лучших поэтесс нашего времени, я ее очень люблю. Лена, я тебя люблю! Это лучше, чем стихотворение!» Чем ее — так уж точно. Бил челом Иерусалиму: «Это духовный центр мира. Я второй день в Иерусалиме и совершенно счастлив!» Какая-то дама по фамилии Разумовская, в очках, с хорошенькими ножками, пристала к нему — жесткий прессинг, мол, какая-то ее подруга, «хорошая поэтесса и модель», хотела связаться. «Дайте ее имейл, я ей займусь» — бросил он по-хлестаковски. «Не надо, — шутливо сказала супруга-персиянка, — не надо ею заниматься». Кто-то спросил его о новых поэтах в России, он сказал, что старше тридцати никого нет, а вот молодые, двадцатилетние есть, назвал кого-то, в том числе и казаха какого-то, футболиста. «Очень талантливый. Правда, подражает Бродскому и мне, но в таком возрасте это нормально, а потом уж лучше нам, чем всяким... Я этого птенчика взял на воспитание». Мы с Барашем переглядывались. «Маэстро распоясался», — шепнул я ему. Он хитро улыбнулся.

Потом, скинувшись и послав Верника на рынок, поехали на квартиру Раи и Исаака Розовских. Рае я, похоже, понравился, сказала, что читала мою статью, обратила внимание на цитату из Хайдеггера, она психолог, читает сейчас книгу психолога (забыл фамилию), он там на Хайдеггере много основывает. Все расселись за столом, человек двадцать, Верник привез жратву и выпивку с рынка. Вино — говно, но Кенжеев хвалил. Произносил речи, Мандельштама цитировал, все сюсюкали и подхватывали, кричали «здорово!», а кто-то поднял бокал и сказал: «За

Фаберже нашей поэзии!» Палванова тоже произносила какие-то витиеватые тосты-похвалы и рассказала мистическое: «Я, когда была в Москве, то мне все дарили свои книги, а вашу — единственную — я купила. Странно, правда? Я вот и теперь знала, что вы приедете». — «В глубине», — срезонировал я, пьяный больше от злости, чем от водки, но никто, слава Богу, не расслышал. Витя Панэ не снимал кепки с козырьком назад, будто голова его спрослась с ней, и сурово молчал. Я оказался рядом с Кенжеевым. «Ну что, Наум, что расскажешь?» Спросил его, давно ли он виделся с Соколовым? «Да уж лет восемь прошло. Он скотина. От всех прячется. А Цветкова я видел пару месяцев назад, а он сюда приезжал? Читал стихи? Нет? Скотина! У него прекрасные стихи!» Спросил его, виделся ли он с Гандлевским. «Да, конечно, но я с ним разошелся. Он человек чересчур тусовочный». — «А как Сопровский погиб?» — спросил я. — «Под машину попал. Нет, не валялся там, его сразу увезли. Но это было больше похоже на самоубийство. Да-да, — и он сделал многозначительный и таинственный знак бровями. — Он был в депрессии, очень переживал все то, что творилось вокруг». — «А мне говорили, что он принял активное участие в перестройке...» — «Да, но быстро разочаровался, он понял куда все идет, а человек он был прямой, честный, можно сказать, вот и...»

Его чуток развезло, пошли сплетенки: рассказал, как ему дали «Антибукера», но не дали денег, 12 тыс. долларов, как Гандлевский отказался от Антибукера, потому что Третьяков Лену его оскорбил («сказал, когда она стала возникать: “А вы кто такая? Мы премию не вам давали, а Гандлевскому!”»), да еще Третьякову в морду плюнул, и о том, как кому-то (забыл уже, Кублановскому что ли?) хотели премию дать, но председатель жюри попросил у кандидата две тысячи баксов взаймы, а тот послал его на хуй и премию не получил, история. Чего-то еще про «друга

моего Юру Кублановского», ну да, понятно, скажи мне кто твой друг, Юру-мудака, еврея с православным уклоном и Волгин в свое время любил, вот и этот тоже, с «православными убеждениями». И стихи полны этой прекраснодушной шелухи «интеллигентского» христианства, которое в обилие развел в Москве Александр Мень, и которое, как ни странно, еще до сих пор живо, аж до Израиля докатилось.

Еще были всякие шуточки про «противных» евреев, которые пью кровь арабских младенцев, «А ты, казах срачный, молчи!» — ласково журила его увядающая персиянка. Выходили на балкон покурить. Воздух был холодный. Обменивались книгами. Еще на вечере Наум Басовский подарил мне свою книгу стихов, он мне понравился естественной, не манерной, как у Верника, доброжелательностью, с Толей Добровичем мы обменялись книгами, как и договаривались. Я преподнес Бахыту «Левант» и «Хроники». Он книг не дарил, сказал «не осталось». Правильно, на всех не напасешься. Исаак Розовский подарил мне книгу своих стихов, я ему — «Хроники». Вот так, ходит песенка по кругу¹, переливаем из пустого в порожнее. Привез Вернику перевод Шабтая. Вторую книгу (взял две) подарил Барашу. Стали шутить насчет надписей, и я сдуру развыпендривался, написал Барашу: «С тайной в глубине, пьяный Вайман». Он чуть не обиделся, я и забыл какой он «чувствительный». «Все ты, Наум... не можешь по-человечески». «А я люблю нечеловеческое!» — меня уже понесло, и я тут же расстроился и заторопился. Верник, озабоченный, вышел провожать. «Нюма, тебе скучно?»

Ночью, когда я уже приехал домой, кто-то позвонил, разбудил всех, жена подняла трубку параллельно со мной, долго кричали «алле», никто не ответил, но я знал, что это он.

¹ Из песни О. Фельцмана, слова Танича и Шаферана.

29. 5.

Вечером Бараш по русскому каналу выступил, Оленька ему устроила, уважает. Стихотворение прочитал. Позвонил поздравить, но его не было. Поздно вечером вышел на связь. Разговор тут же соскочил на Кенжеева, он был зол больше меня: «У меня было такое чувство, что я в дерьмо вляпался. Я давно не хожу ни на какие тусовки, а тут все-таки старые знакомые, и Верник, и Лена Игнатовва, кстати, с Верником мы впервые за несколько последних лет мило поговорили, да, он малый неплохой, да, с Кенжеевым у них есть что-то общее по поэтике, но у Верника хоть есть своя какая-то живая нота, пусть убогонькая, но своя, а у этого — бред какой-то. И все эти его «еврейские штучки», я даже думал: по морде ему что ли дать? Что он себе позволяет? Ведет себя, как будто он приехал в Жмеринку. И никакого восхищения его способностью жрать водку я не испытываю, позволил себе нажраться прямо на вечере, за кого он нас принимает? Нет, он не дурак, а просто наглая сволочь. Что он мне там про «Братьев Карамазовых» заливает: «может, кто-то из вас позабыл», это он кому, мне?! Или тебе? Да, страшная пошлость. Мандельштама с Пастернаком читать на своем вечере?! Да, он читал, ты уже ушел. Верник бросил клич: давайте стихи читать, и тут я понял, что попался в ловушку. Но куда деться? А этот еще поднял стакан водки и говорит: «Всем встать!», и прочитал «За гремучую доблесть грядущих веков», ну ты представляешь! Этаким фельдфебелем от поэзии, и все встали, я-то, слава Богу, так и так стоял., и стали сюсюкать Пастернака, Мандельштама, и мне пришлось...

— А я думал, что свои стихи читали...

— Ну, и свои некоторые читали.

— М-да, апофеоз. Жалко, что я пропустил.

— Он еще рассказал, как Кублановский премию Солженицына получал, он же теперь с ним дружит, да, это все одна компания, и любовь к евреям оттуда же. А Куб-

лановский теперь заведомо поэзии в «Новом мире», кабинет у него рядом с Костырко, но, кажется, они друг друга не слишком любят.

30.5.

Ночью выпал песок. Машины, скамейки, заборы, листья деревьев покрылись тонким слоем бархатной, рыжей пыли. И воздух весь еще отуманен этой пыльной взвесью, темно, как перед грозой. Но на спортплощадке все то же и те же. Старички-спортсмены ровно в семь собираются вокруг скамейки, где крепенький пенек в кепке и с рыжим кокером слушает новости (приходит с радиоприемником), потом они бурно обсуждают политические события. Цепочка грузин, как гуси, друг за дружкой идут и машут руками. Сначала был один грузин, высокий, худой, потом к нему подсоединился другой, потом еще несколько, и этот высокий-худой у них теперь вроде тренера, или врача, он им упражнения показывает и кости мнет. А в глубине парка грузинки в черном на скамеечках сидят, как вороны каркают. Р позвонила. Нет, мои письма она не получила. А что я написал? «А я вчера весь день прыгала у телефона, хотела тебе позвонить...» Когда дорогу переходил, вдруг — женщина в «Фольксвагене»: ярко-голубая маечка и золотистая головка.

Когда пришел, жена сказала, что Миша звонил из Москвы. Я перезвонил ему. Просит прислать приглашительный вызов, в гости хочет. Рассказал про бурную литературную жизнь в Москве. Около консерватории литературное кафе открыли, называется «Консервы». В декабре-январе лежал в больнице. Познакомился с одной очень умной женщиной, Леной Осиповой, она психолог, но интересуется литературой, через нее познакомился еще с одним психологом, тот несколько часов с ним говорил, а начал сразу о главном: расскажите о вашей сексуальной жизни. А ее фактически нет.

4.6.

Для Л: Все прошло келейно. Было семь человек кроме меня с женой. Правда ребята симпатичные, совсем молоденькие, они и сами потом попели. Я чувствовал себя скованно, но где-то к середине разогрелся. Почитал им стихи, один попросил «любовную лирику», ну я почитал «Кишмя кишит расхристанная жизнь», где мы «эстетствуем». И даже отрывок из «Хроник», тот, беспроегрышный, о вечере Чичибабина, не знаю, чего там смешного, но все всегда смеются, и на этот раз. А на ударной фразе «А я, в гроб сходя, всех на хуй пошлю», завклуба аж вздрогнул, а потом головой покачал, мол, круто.

8.6.

Для Л: Мы в пятницу поехали в музей, в Иерусалим, на выставку «Иисус Христос в фотографиях». Крутое название. Еще кто-нибудь напишет «Тайный дневник Иисуса Христа», ну да ладно, там такая большая «Пьетта», на которой молодая девушка в черном держит на руках огромную рыбу... Есть еще несколько симпатичных работ, в основном издевательских, например, фотография Рея Мана, на которой крест зафиксирован на нежных складках молодой женской попки, или «Тайная вечеря» с тринадцатью даунами. А в субботу было мое радиоинтервью на полчасика, начали с Шабтая, а кончили Солженицыным, позвонил возмущенный радиослушатель (это был прямой эфир) и сказал, что Солженицын святой борец с советской властью, а я его «совком» обозвал. Где только не таится верность кумирам...

13.6.

От Цветкова:

Я только что вернулся из Штатов, где, несмотря на похабную погоду, замечательно провел время с культурным русско-американским народом — там, в отличие от других

эмиграций, включая даже израильскую, нет взаимной изоляции. У меня что-то вроде дебюта — в американском журнале выходит эссе, написанное по-английски, плюс несколько переводов стихов. В октябре, видимо, полечу снова — есть приглашение на чтение от Гарварда, и если добавится еще пара университетов, то это покроет, по крайней мере, цену билета.

Что касается Кенжеева, то я вполне согласен с твоей характеристикой, хотя лично отношусь к нему вполне хорошо. Но Гандлевский его не выносит, и его я тоже понимаю. Напорист Бахыт, а таланта на покрытие напора не хватает.

С Соколовым история вот такая. Перед отлетом в Штаты я списался с Марлин, интересуясь их планами, чтобы навестить их в Вермонте. Марлин ответила, что сама она отправляется в Вермонт, а вот Саша из соображений то ли безопасности, то ли паранойи, решил в Америку не возвращаться — он был в это время в Турции и намеревался опять возвратиться в Эйлат. Там ли он и на что живет — не знаю.

Собираетесь ли в Европу — и куда? Моя лучшая половина отбыла до конца лета в Москву к дочери, а я работаю и сторожу кошку. Римме привет.

16.6.

Я рад был ее видеть. И хотел ее. Соскучился. Родной «Империял», знакомый портье: «Ма нишама, ма шлом-хем»¹. На это раз второй этаж. Улица рядом.

В первый раз — кавалерийский налет. На любимого врага. Острейшее наслаждение, которое почему-то не желает заканчиваться, длиться и длиться, рвешься к обрыву, к полету-падению, а его все нет, пока она уже не становится нетерпеливой и начинает погонять, все сильнее, со зло-

¹ Что слышно? Как у вас дела? (*ивр.*)

стью: «Ну же, ну! Давай, давай!», как будто мы вдвоем оседлали какое-то чудище, стали кентавром-двойкой, с двумя телами... А потом я ловлю на ее лице неразрушенные острова и покрываю их поцелуями, и, подняв сзади волосы, — шею-берег, где начинается их волна. И руки так чувствуют ее тело, и так любят его, и она тоже счастливо улыбается, глаза сверкают, она меня обнимает, никто с такой любовью не обнимал меня никогда, и мне хочется этой любви, мне без нее одиноко...

Потом немножко болтовни, съедаем бутерброд и сушеные сливы, ритуальную шоколадку, потом она дает мне свою рукопись. Что-то в них есть, в этих простоватых новеллах Боккаччо: жена решила пошутить и написала на лбу спящего мужа три буквы, а муж, проснувшись и прочитав перед зеркалом, ушел от нее навсегда — загадка: что это было за слово, а она его обидчивости не поняла (это из серии «русские жены»), или «она была так доброжелательна, что давала каждому, чтобы не обидеть» (из серии «честная давалка»), в этой горькой матерщине, иногда зубодробительной, иногда истерично веселой, в этих затертых народных поговорках, типа «мал, да дал», в рассказах о себе, о том какая она счастливая женщина и создана для любви, и о том, какая у нее счастливая семейная жизнь, и про своего «второго мужа» Яки, что он молодой (на семь лет младше), богатый, сексуально активный и безумно ее любящий, и уже смилившийся с ее двойной жизнью, и не знающий, что она ведет тройную, не считая мелких приключений. Я появляюсь в редких, неожиданных и не связанных ни с чем диалогах между Капризной Задницей и Гадиной, где Капризная Задница говорит об экзистенциализме, катарсисе и «духовной любви». Текст кончается тем, что Яки, с которым Гадина вроде бы порвала, но вдруг решила вернуться, открывает дверь и радостно ее приветствует, а Гадина, обвив его и разинув змеиную пасть, впивается в его лицо.

Пока я читал, она облизывала, заглатывала и посасывала, приговаривая: «Вот он, хороший мальчик», иногда это меня отвлекало, и тогда я, прогнувшись, мямлил что-то вроде «эээ», а она говорила: «Это я специально, чтоб ты меня сильно не критиковал: хрен твердый — душа мягкий».

Но когда пошли по второму заходу она вдруг, посреди парения, стала грустна, сказала: «Я ничего не чувствую... а ты?», что ж, перешли на медленный танец, постепенно она разогрелась, куда денешься, когда внутри тебя движется жизнь, эдак медленно и печально, и тебя нежно целуют, и завершение было уже полноценно. Но она все равно была грустна, обняв меня, прятала лицо, отворачивалась. Сказала: «Ничего не поделаешь, я ухожу от тебя все дальше...»

17.6.

От Цветкова:

Интересная гипотеза насчет Саши с женой — мне не пришло в голову, но вполне вероятно. В старину он менял жен регулярно, но с Марлин живет уже много лет. Странно, конечно, что она улетела в Штаты, а он остался. На что он там у вас собирается жить и где?

Не знаю, честно говоря, что ты рассчитываешь найти в Москве — тем более, летом, когда там никого нет. Я, наверное, уже больше туда не сунусь, хотя, конечно, никогда не следует говорить «никогда». Очень уж мне все там отвратительно — и образ жизни, и «духовность», то есть всеобщая глупость и невежество. В этом смысле посещение Бостона было огромным контрастом. Я, видимо, человек, живущий с помощью головы, а в России этот прибор только мешает — тем более, сейчас, когда шляп давно не носят.

Куда более здрава, на мой взгляд, твоя идея заглянуть сюда в гости. Я буду здесь все лето — если надумаешь всерьез, дай знать заранее, чтобы я взял недельку отпуска и подыскал место сдать кошку на хранение. Можем маленько поездить, заглянуть к тому же Андрею в Зальцбург. Так что давай, решайся. Привет Римме.

17.6.

Позвонил Герцу. По его молчанию я чувствовал, что он недоволен рецензией, но такого клопочущего возмущения не ожидал:

— Вы же все переврали! Да как так можно! Я же дал вам кассету, а вы! Вы пишете, что свет падал от лампы, а он падал от окна! Вы пишете про «апельсины в снегу», а там лимоны! Вы пишете, что брат у меня погиб на войне, а он был на войне тяжело ранен, за что вы убили моего брата! Вы пишете, что мальчику было шесть лет, а ему было три года! Вы пишете, что трупу перепилили хребет и вынули внутренности, где вы это взяли, никто хребет не перепиливал, вы спутали, это когда мне делали операцию, мне пилили ребра! Вы пишете про проломленный купол церкви, а он вовсе не проломлен, где это вы видели, что он проломлен! И как это — в фильме нет сюжета! И что это значит: «крутиться с показами», я что, еврейчик какой, который крутится? Я езжу по фестивалям и показываю фильм, кстати, получил «Нику» за этот фильм, и на Тель-Авивском фестивале получил вторую премию и денежный приз, а вы об этом не написали! И потом, что это за обвинения в порочности: «в документальности есть что-то от подглядывания, от любви к препарированию, к анатомии, какой-то волнующий аромат «запретного». Это сближает, как общий порок»! Наоборот, Дзига Вертов, а я его ученик, учил, что документалистика это как картина художника! Тут нет никакого «подглядывания»! Вы пишете, что я не-

сколько раз в фильме спрашиваю, имею ли я право вторгаться в чужую жизнь, а я говорю в фильме: «имеют ли право документалисты вторгаться в чужую жизнь, и я задаюсь таким вопросом только один раз! Да разве можно так искажать! Вы выдергиваете три слова из фразы, ставите их в кавычки и выдаете за мою цитату!

В общем, был сильно недоволен. Непонятно только, почему он меня просто не послал, а еще пригласил к себе: «я вам покажу снова этот фильм, и мы сравним с тем, что вы написали, тогда, может быть, вы поймете, что вы наделали!»

19.6.

Пошел с мамой гулять. Сидели на скамеечке, в тени, под большим раскидистым деревом. Изредка пробегал ветерок. Мама сказала: «Какой хороший воздух», я поднял глаза от книги и вдруг почувствовал яркость красок летнего дня, запахи лета, и будто перенесся куда-то, где я долгожданным летом гуляю с мамой, еще маленький, и жизнь у нас еще впереди.

20.6.

От Л: ты Герца разозлил не на шутку! придётся выкручиваться и извиняться?

Для Л: Знаешь, на самом деле мне жаль, что так вышло. Он мне нравится: небольшого роста, но крепкий, с широкой грудью и плечами, смелый и живучий, и пытливый такой, во все остро вглядывается, ловит ловкий ракурс. И в фильме есть удачные кадры, например, паутинка в капельках, висящая между листьями, как модные ажурные трусики, такие хутины с блестками. Я, увы, не такой внимательный, мог, кстати, и напутать, да и кто там разберет под снегом, апельсины это, или лимоны. Но дело не в этом. Я так испугался после его наскока, может, и в самом

деле напортачил и зря обидел, даже решил заново посмотреть. И понял, почему он так разозлился: фильм, по сути, очень личный, интимный, и если бы он сосредоточился на этой камерной тональности личной исповеди, все выглядело бы иначе. Но ему помешало бешеное самомнение и эта звериная пафосность «демократической русской культуры», с ее стремлениями просветить, «сделать человека лучше», чуть ли не мир спасти. И получилось занудство с претензией, какие-то «тайны души человеческой», «вещие закаты». Текст жутко пафосный. И нельзя так беззастенчиво себя цитировать, полфильма — автоцитаты. Начал с того, что поехал встретиться с героем своего прославленного фильма «На десять минут старше», где он 10 минут фиксирует крупным планом лицо двухлетнего мальчика в кино, или театре, а мальчик превратился в профессионального картежника, и камера опять фиксирует очень крупным планом (такой у него «анатомический» прием), аж прыщи видны, лица игроков в бридж, и автор за кадром фантазирует на предмет значимости лиц: вот этот — похож на Дон Кихота, а этот — Санчо Панса, а, может быть, Бальзак, а это — Александр Блок (и вправду похож), лорд Байрон, графиня Валевская, «а этот мне показался похожим на инопланетянина», и что? Оказывается, автора мучит загадка: «что случилось с трепетной душой. Куда исчезает наше детство». Куда-куда, в жопу.

А то, что он любит подсматривать, как трупы потрошат и тела режут, что смакует кровь — это факт. Хотя, признаюсь: потрошение трупа, роды (как разверзаются ложесна и выскальзывает сердитый старикашка) — сильные сцены. Но то, что он и свою операцию на сердце заснял, ничего не меняет, наоборот, он и себя готов под нож, лишь бы посмотреть, как «оно» там трепещет в крови и слизи. И тут же гуманистические вопросы (не знаю, что тут больше, наивности или лицемерия), этак задумчиво: «откуда в че-

ловеке жестокость». У него еще есть фильм «Высший суд», где он приходит в камеру осужденного на смерть и тоже рожу его фиксирует крупным планом, как рожу того двухлетнего. И где тут Высший суд, он сам что ли? Смакует страдания: глаза умирающей жены... Я не говорю, что это плохо, я его не обвинял в рецензии, просто факт. А проблема в том, что неясно к чему это.

23.6. Спал плохо. Вчера, когда позвонил утром, она сказала, что только сегодняшний день у нее свободен, а потом мы полтора месяца не увидимся. Встретились. Я предложил поехать на выставку «Петербург в фотографиях», но она не захотела. Тогда предложил гостиницу. «Мне все равно», — сказала.

Уже на стоянке предложила: «Давай немножко погуляем?»

Погуляли вдоль моря, сели под тентом на возвышении, заказали сок и воду. Читал ее очередные опусы. Неинтересно. Но она всерьез переживает, спрашивает «ну как?», «вот этот рассказ мне кажется самый удачный». Сказала, что послала дочке, по почте. «А ты не боишься? — говорю. — Ну, все-таки ты здесь обнажаешься...» — «А ты не боялся, что жена прочтет?» Молчу. «Так что, не писать мне больше?» — спросила, совсем как молодой литератор у классика. Я пожал плечами: «Ну, почему. Есть и несомненные достоинства: ирония, ясность изложения...» — «Так-так, это уже лучше!» — «Но нет выхода на какие-то «интересные» вещи, какая-то нравоучительность...»

Наконец, с прямоотой римлянина, говорю: «Ну что, пойдем, потрахаемся?»

На этот раз «быстро управились», как она сказала, и еще посидели в «Бокаччо». Подводила итоги: «Все-таки ты хороший любовник, не ленивый», «но все равно ты женщин не любишь, ты скрытый гомосексуалист». «Мужчин я тоже не люблю».

25.6.

Позвонил Ире Гробман, спросить про «вечер писателей». Сказала, что это было убожество и скандал. Во-первых, горсовет (Карина) снял зал на 250 человек, а старушек навезли отовсюду, да-да, автобусами, человек четыреста, и на всех мест не оказалось, и куча народу, и мы сидели в фое, курили, я говорила с Камяновым, а тут вдруг стали всех выгонять, выскочила из зала эта Карина и стала кричать, что она вызовет полицию, в общем, Камянов разослал во все газеты протест, ну что это, люди с приглашениями, в зал их не пустили, да еще и выгоняют... да никого там не было, ну и эти затейники: Левинзон, Губерман, развлекали старушек, ужас в общем, да, вроде бы в честь этого нового журнала «Слово писателя», а мы еще вчера были на ярмарке в Иерусалиме, там было представление журналов, так это «Слово писателя» представлял какой-то мудак, говорил, что наш журнал самый лучший в Израиле, что его можно в трубочку свернуть, кхе-кхе, воронели были, Воронель нес что-то совершенно непотребное, Сошкин целую речь зачитал, а вообще — ярмарка на этот раз бедная, народу мало, стенд Гринберга единственный, у которого как-то крутятся люди.

4.7.

Фильм о Пасхине.

«Я всегда хотел быть женщиной с мужским половым органом».

Ощущение какой-то страшно талантливой, трагической и угарной жизни.

«Я всем обязан Вене». Космополитической Вене начала века, у которой, казалось, ничего не было в голове кроме «искусства». Все-таки евреи были душой Европы, Гитлер, убив евреев, убил и великую, цветущую всеми ароматами смешений, Европу, которую Первая мировая только надломила...

5.7.

Для Л: В общем, экзамен я «проскочил». Хотя всё вокруг, казалось, вступило в заговор. Во-первых, куча людей позвонили, и сказали, что не придут, многие не пришли и не сказав ничего, или позвонили потом. Вдова не смогла прийти, и это спутало карты. И ко всему в тот же день и час (на полчаса раньше) Губерман с Окунем проводили свой вечер в соседнем зале, продавали свою поваренную книгу и естественно, часть людей это сбilo, хоть я написал на бумажке при входе «К Вайману — направо!». Но поскольку я сам, опоздав, приехал уже к началу своего вечера, а часть гостей приехала раньше, то трое «моих» в результате просидели у Губермана с Окунем, наивно ожидая, что я вдруг появлюсь, как черт из табакерки. А там еще и за вход деньги брали, 25 шекелей. А одна знакомая, из тех, кого без хрена не сожрешь, тоже сунувшись поначалу к Губерману, догадалась спросить: «Это вечер Ваймана?», на что в ответ получила положительный кивок головы. Но поскольку нужно было платить деньги, а знакомая, как я уже сказал, не из тех, кто так вот запросто, не проверив все «швы», выложит тебе хотя бы один шекель, то она переспросила продавщицу билетов: «А вы уверены?» Тут продавщица, осознав, как я понимаю, что за обман может последовать тяжелый скандал с изыманием денег обратно (и у черта вытащит), спрятав глаза, сказала: «Вообще-то, это вечер Губермана». И в довершении всего — дикий хамсин. Два кондиционера с вентилятором в зальчике мест на 70 максимум не спасали, и собравшихся ждало тяжелое физическое испытание. Вот такие были исходные данные. Но. Во-первых, несмотря на отказы, зал оказался полон, то есть было человек шестьдесят, что считается в таких мероприятиях массовой явкой, и ревнивыми коллегами было тут же отмечено. Я, хоть и прикинул план разговора, начал сбивчиво, перескакивал с места на место и чувствовал, что

вязну и несу околесицу. Ну, рассказал о Шабтае, о своей «встрече» с ним, о его особенностях, о самом романе, почитал пару отрывков. Чувствую, лица в зале каменеют, готовясь к затяжному испытанию «термической обработкой» (это выражение Иры Солганик, в конце, когда расходились, она с очаровательной кривой усмешкой бросила: «тяга местной публики к литературе термическую обработку выдержала»), и тут я, наконец, добрался до станции «оживляжа», до песни на слова Шабтая «аод зохерет хи лейлот ахава»¹. Я лично думаю, что песня «вытащила» публику из состояния «погружения в жару». Потом я еще что-то рассказал, процитировал Вальтера Бенямина, что, мол, переводчик должен стремиться не перевести на язык перевода, а изменить собственный язык «под мощным воздействием иностранного», и бросил идею о том, что русский, под мощным воздействием «иудейского» влияния последних лет (многочисленные переводы), глядишь и изменится. Гробман при этом вспомнил Шалом-Алейхема, я добавил Бабея, ну, Бабель писал по-русски, заметил Гробман, на что я возразил, что в том то и дело, что Бабель писал по-русски, как бы переводя с еврейского, приспособливая русский к своему еврейству, и тут перешел на проблему русско-еврейского культурного взаимовлияния, вот и Солженицын об этом, и Каганская в последних статьях эту тему разрабатывает. Тут же кто-то что-то спросил, заметил, оспорил, в результате ситуация ожилилась, и на этой живой ноте я сделал перерыв, так что первое отделение не заняло больше часа. В перерыве я выставил угощение: красное вино, всякие сухарики-оливки, вода-печенье, народ оживился, кто-то даже выпил, ко мне подходили, здоровались, стояли в очереди

¹ «Помнит ли она ночи любви», вольный перевод все той же песни на слова Евтушенко.

подписать книгу. Весь ящик с 12 книгами, который у меня остался, мигом расхватали, даже забрали личный экземпляр с пометками, многим не досталось и они были явно разочарованы, купили и с десяток «Хроник» (такой успешной продажи у меня давно не было). Потом я начал второе отделение запланированным выступлением Гольдштейна (кроме Гольдштейна, Гробманов, и еще Шауса, литературных коллег не было). Гольдштейн, как всегда блестяще, расписал «трогательный паноптикум», моих Хроник, что я пишу о персонажах так, как будто они уже канули в Лету, ну, красиво говорил, мне бы так. Затем я прочитал пару безотказно забавных отрывков из книги, а потом перешел на стихи. Прочитав пяток из «Стихотворений», я одно спел («Прошли суворовцы и танки»), затем завершил длинным верлибром из Леванта («Магмы ислама зловонная лава») и закончил, тоже не превысив часа, с ощущением того, что зал ждет еще. Действительно, никто с мест не повскакал, а Толя Добрович даже попросил сказать несколько слов. Я, конечно, не отказал. Он поднялся на сцену и зачитал подготовленную речь «об еще одной ипостаси Ваймана — публицистической», де такой аристократической тональности чести и «офицерского достоинства» у нас еще не было, ну и в таком духе, апология. Вечер завершился (еще не было десяти, а начался около восьми) салютом поздравлений, буквально восторженных, конечно, в основном со стороны женщин (как говорил Пасхин, искусство лишь средство завоевать женщину). Пришла пианистка с мужем, и не побоялась нежно меня поцеловать в щечку (и это было главное удовольствие от вечера), пришла Жанна, которую я подцепил на концерте бардов и на звонки которой не среагировал, Света, вдова профессора Ирлина, сказала, что она в изумлении как все это было интересно, и что спасибо, что я ее позвал, и вообще, жаль, что «раньше не позвонил». Это была маленькая месть Ирлину за ту

сцену в Сinemатеке, помнишь, я ее описал в Хрониках, как Ирлин, когда я ему показал «Стихотворения», презрительно промямлил: «Я тоже в детстве стихи писал». Мама Пети Птаха изобразила бурный восторг, в общем, как мне показалось, ни у кого не осталось послевкусия скуки. После вечера еще не все разошлись, остались Гробманы, Алиса Нейман (режиссерша, помнишь), сидели, болтали, Ира Гробман мечтала о новой газете, о возобновлении «Знака времени».

Где-то в начале вечера заплыл Окунь, оглядел еще полупустой зал и, довольно улыбнувшись, сказал: «Ну, у вас тут серьезная литература, не то что у нас».

8.7.

Нынче — без «груза обид». Глаза сияют. Волосы ее, голос, смех — все мне любо. Думали в музей, а поехали в гостиницу. Тараторила без умолку, рассказывала свои бесконечные сюжеты, все пишет и пишет.

— Я когда в первый раз в школу пришла, такая старая еще была школа, старое, добротное здание, и училки все мне показались чудищами и старухами, они и были старухами, хоть им было чуть за сорок, у всех волосы назад, такой серый пучок, у кого на макушке, у кого на затылке, юбки темные до пят, а я пришла — все на мне из «Березки», юбка до пупка, они мне ультиматум предъявили: подстричь ногти, удлинить юбку и укоротить каблук, потащили к директору, а директором был еврей, фронтовик, без руки, он души во мне не чаял, все щупал меня одной рукой, мужу моему как-то говорит: «она, конечно, не подарок, но мы ее в обиду не дадим», хороший был директор, школу в порядке держал, у нас почти все директора школ были евреи, он только юбку попросил чуть удлинить, а я попала туда случайно, в середине года, математичка у них под машину попала, самая сильная у них учительница была,

мне все говорили: вам трудно будет в класс войти после Галины Антоновны, придется поработать, чтоб вас ученики приняли», ничего, еще как приняли, так я как в первый раз вошла в учительскую — они все обалдели, и тут вошла такая уродина, жаба, села, говорит: «А у нас новая учительница?», и я поразила ее голосу, ты знаешь, это был удивительно сексуальный голос, он куда-то забирался, она когда рассказывала, все замирали, как сирена, буквально, и у нее всегда романы с учениками были, я тебе про нее рассказывала, и не то чтобы она их соблазняла, а вот голосом, с одним, я тебе рассказывала эту историю, он уже школу кончил, и женился, а все встречал ее после школы...

11.7.

Написал Ахметьеву:

Ваня, привет!

Неожиданно мне позвонил Белашкин (по поводу книги), он же и дал мне твой e-mail.

Вообще-то я с 11 августа окажусь в Москве и рад буду повидаться. Сообщи мне, пожалуйста, получил ли письмо, и кинь пожалуйста телефон для связи.

А для вашего с Белашкиным сборника вот два стихотворения, как он просил: одно конца прошлого тысячелетия, а другое — начала текущего.

Последнее стихотворение прошлого тысячелетия:

Солнце зимнее ласкает.
Мандарины поспевают.
И девчонка напевает
Под гитару у ворот.

Продает баранки рядом,
В разноцветье маскарадном,

Краснощекий карапет,
Он давно здесь, тыщу лет.

Налетай, мол, вкусно, барин!
По-арабски он зашпарит
И к баранкам мне подарит
Соль и пряности в кульке.

Феску старую поправит,
Страшный рот пустой осклабит
И отвалит належке.
Стены Храма вдалеке.

И первое стихотворение нового тысячелетия:

Придется убить всех.
Слить их вонючую кровь в песок.
Мы выкосим их с улыбкой косца,
Дождавшегося радостной жатвы.

Позвонил Верник, на сей раз я стал жаловаться: противны все эти дела с издателями, магазинами, организаторами, противно зазывать на свой вечер друзей и знакомых, на манер клоуна на ярмарке, ведь каждый звонок — маленькое унижение, или хотя бы неловкость, и в конце концов не остается душевных сил, и вообще уже жалеешь, что тратишь время и силы на всякие паблик рилейшенс, и даешь зарок, что больше — никаких вечеров. «Теперь я понял, — говорю, — почему не сделал тогда вечера с «Хрониками», вот Леня Йоффе, ты его знаешь?, принципиально ничего не устраивал, не вылезал из своего угла...»

- Дорогой мой, Лени Йоффе уже нет.
- В каком смысле?!
- Умер полторы недели назад.

13.7.

Наум, привет!

С Кублановским все ясно («жид с крестом на пузе»): достаточно сказать, что он, будучи евреем, постоянно приносит в «Новый мир» антисемитские материалы, а украинец Костырко их не пропускает; очень характерная для нынешней России ситуация. Кстати, за «взлет» Кублановского главную ответственность несет Иосиф Бродский, написавший когда-то хвалебное предисловие к сборнику его стихов. Для меня загадка, для чего он это сделал. Не могли же ему действительно нравиться эти утробные вирши. Складывается впечатление, что Бродский охотно хвалил сырых и убогих (еще один его любимчик — бездарный пустозвон Рейн), чтобы лучше смотреться на их фоне, а людей сколько-нибудь талантливых (даже уровня Кушнера) игнорировал, если не ругал. Стратег, блин.

Что касается отзыва Солженицына о Бродском, то имеется в виду его большое эссе, напечатанное в свое время в «Новом мире» (кажется, до этого статья была напечатана где-то за границей). Это эссе поражает тем, что А. И. действительно прочел всего Бродского «от корки до корки» и проанализировал его мелочно и подробно, на манер сельского учителя, который «проходит» с детьми Некрасова. А. И. говорит местами вроде бы и правильные вещи, но впечатление полной дикости происходящего — Солженицын изучает Бродского — затмевает конкретные суждения. Наум Коржавин в своей статье «Генезис “стиля опережающей гениальности”, или миф о великом Бродском» практически солидаризуется с мнением А. И. Кстати, статья Солженицына о Бродском вызвала полемику. В защиту поэта выступили «наши иностранцы» Лев Лосев и Игорь Ефимов. Статья Ефимова тоже была у нас напечатана (кажется, в том же «Новом мире»). Я ее не читал, но представление имею, поскольку ее обильно цитирует Кор-

жавин; судя по всему, статья необычайно глупая (создает-ся ощущение, что, вступая в полемику с Солженицыным, человек глупеет; поэтому я не стал разыскивать статью Лосева, «боясь разочарования» — как поэт Лосев мне очень нравится, но проза у него беспомощная).

Рад, что увидимся в августе.

Всегда твой,

Матвей

15.7.

Еще раз ночью пронесло, чем это я опять отравился? С утра был совершенно не в форме, тошнило, в пору дома сидеть, но не пойти на вечер — обидеть старика Добровича, объясняйся потом, что живот заболел. Наглотался за-порных таблеток и — в путь.

В библиотеке Форума народ только собирался, Наташа, жена Добровича, раскладывала еду: сыры, сухарики, вино, водку. На столе лежала гитара. Потом Добрович включил свой диск, и до начала вечера шло его пение. Верник с Добровичем вышли покурить, «а чего Ира не пришла?», спрашиваю Верника, «она в больнице», «В больнице?! А что случилось?», «комар укусил, жуткое воспаление, температура...», подходили гости. Шустренский толстячок Шварцбанд рассказывал, как наемни гудели у Камянова. Гену Беззубова я не узнал: борода, кипа, цицес. «Давно это у вас?» Взгляд его стал насмешливым. «Ну., таким не родился...» Марк Амусин долго и упорно преодолевал на костылях несколько ступенек, все смотрели на его мучения, но помочь никто не решился. Потом все зашли в помещение и выпили. Верник познакомил меня с Борисом Орловым. «Это вас, — говорю, — обильно цитирует Солженицын?» — «Да, — усмехнулся он, — называет меня “вдумчивым”. Теперь придется вдуматься». Подошел Исаак Розовский, я обозвал его «Марком», и он строго на меня посмотрел. Взгляд у него очень строгий.

Собралось человек 25. Верник заделал вступление по всей форме, даже объявил о моем вечере, и передал слово докладчику. С этого момента рассеянная улыбка гостеприимного и несколько озабоченного хозяина исчезла с лица Добровича и до конца вечера уже не появилась. Он читал два-три стихотворения, потом одно — пел. «Люди сходят с поездов, предвкушая умыванье» («Поезда»), «Любезнай Александр, какая радость — Бовин!/Усилятся отдышка в центре склок». («Сонеты А. Бовину»), «Езусы с Девой./Ладно, что родичи жили/ в этой жидовской могиле,— / я что тут делаю?» («Едем в Прагу»). И так полтора часа, с жутковатой серьезностью. В середине меня вдруг скрутило, побежал в туалет за полками книг, присел, из всех сил сдерживаю себя, чтоб не перднуть на всю библиотеку. А с другой стороны: не перднешь не посрешь. Так и промучился ни туда ни сюда. Таблетки запорные сработали все-таки. Вернулся на праздник поэзии. Перерыва не было, это славно. Но в конце — не тут-то было — еще пошел «разговор о стихах». Кто-то пожелал высказаться и спросил, «можно с места?», я сказал: «Встаньте на стульчик», и обернулся, а надо было сначала обернуться. Мужичонка с бородкой был маловат ростом, оставалось надеяться, что он не расслышал, но расслышал Амусин и возмущенно дернул головой. Мужичонка долго и бодро говорил о «стихотворной эссеистике» Добровича, вздохнул и на котурнах, кто-то ввел в оборот «странничество», «вот человек никогда не был в Камбодже, а пишет о Камбодже», «никогда я не был в Кампучии», затянул я на манер «никогда я не был на Босфоре», но, кажется, никто не расслышал, народ заспорил, чего в поэзии Добровича больше, эссеистики или странничества, вышел Шварцбанд и объяснил, что в русской культуре означает «странничество» и от какого все это пошло итальянского слова, вышел к трибуне Борис Орлов и рассыпался в восхищениях, в «сов-

падениях души», «вот я 50 лет назад был в Златоусте, вы были в Златоусте?, а вы были в Златоусте? А вы были в Златоусте?», ткнул он в меня пальцем. «У меня была девушка из Златоуста», сказал я, пытаюсь оживить обстановку, но все были в угаре восхищения и мои злобные выпады оказались абсолютно неэффективны, только Амусин вновь возмущенно фыркнул. «Вы были в Златоусте? — продолжал Орлов свой социологический опрос. — Я думаю, что просто нет людей, который были в Златоусте. И вот я читаю у Добровича стихотворение “Златоуст”! Я был потрясен!» Амусин, не вставая, кажется в пику мне, тоже восхитился, дама с порванной губой сказала, что стихи «перевернули душу каждого», ну и ее душу, само собой, какой-то незнакомый здоровяк, сказав, что забрел сюда случайно, но удивлен и потрясен. Это было какое-то камлание, радение истосковавшихся по высокой поэзии. И все наперебой называли себя «лучшими друзьями» Добровича и выражали «признание», не признательность, а почему-то «признание». Добрович очень серьезно, проникновенно и растроганно отвечал на вопросы, рассказывал «как он это видит», что не старается, как многие сегодня, «сплясать на сцене», делать из поэзии эстраду, а просто пишет сам себе что-то в надежде... В машине, усталый, голодный, злой, говорю жене: «Не мое. Просто до визга». «Но они же получают удовольствие? — не согласилась жена. И это самые достойные люди! А что значит “правильно оценивать”?», — забросала жена вопросами. «Удовольствие — не критерий, — полез в спор. — Конечно, оценка — вещь частично субъективная, частично навязанная “общественным вкусом”...», понес что-то о «нишах вкуса», о борьбе вкусов за «оценку». Хотел процитировать стих Добровича про то, что Россию ему ампутировали, как ногу, и он прискакал в Израиль на одной ноге, но не вспомнил, дурная память, да еще живот крутит.

«А как же люди?» — допытывалась жена, мол, можно ценить «просто людей». «Мне недавно Баська сказала, что больше всего теперь ценит в людях доброту (зачесалось мне спросить, а что раньше ценила). Вот Верник, его за одну доброту можно ценить». «Литература и доброта — разные вещи», — поучаю. — А что касается Верника, то он не добрый, а мягкий. Да и то, думаю, не со всеми». Так и доехал, с женой и со злостью.

19.7.

Городецкому:

Лева, привет!

Я с одиннадцатого августа буду в Москве (до 31 с набегом в середине в Питер).

Рад буду повидаться.

Если для твоего Информагенства еще требуются заметки, то посылаю на пробу:

«В Иерусалиме, в рамках очередного Иерусалимского международного кинофестиваля, без всякого ажиотажа (особенно если принять во внимание, что исполнение музыки Вагнера до сих пор вызывает общественное возмущение и демонстрации протеста) прошел показ фильма «Макс» режиссера Мено Мейджиса /Menno Meyjes/, совместного производства США, Британии, Канады и Германии.

Это фильм о молодом художнике Адольфе Гитлере, который в 1918 году, в растерянной послевоенной Германии ищет свое место в жизни. Речь идет о «странной» дружбе двух фронтовиков, еврея Макса Ротмана, художника, потерявшего на войне правую руку и ставшего владельцем художественной галереи, и одинокого, неприкаженного невропата Адольфа Гитлера, живущего в полуказарме для таких же как он вернувшихся солдат и подрабатывающего уличными зарисовками. Поднимается острейшая и до сих пор таинственная тема становления на-

цизма и того клубка взаимоотношений евреев и немцев, который привел к Катастрофе, как евреев, так и немцев, и еще неизвестно, чья катастрофа была сокрушительней. Тема судьбоносных взаимовлияний евреев и тех имперских народов, среди которых они проживали, актуальна и для России, достаточно указать на широкий резонанс, вызванный книгой Солженицына «200 лет вместе».

Начинается фильм очень стильно: гигантское заброшенное паровозное депо, превращенное в авангардистский выставочный зал, мрачные сине-черно-зеленые краски и клубы пара, сквозь которые «пробиваются» гигантские красноватые полотна экспрессионистских картин с социальным уклоном в стиле Кёте Кольвиц и Отто Дикса, медленные фортепьянные всхлипы в стиле Шенберга, как легкий прибой, прекрасно сопровождают эту нависшую мрачность, и на этом фоне молодой, красивый и богатый владелец галереи и бизнесмен от искусства Макс Ротман, окруженный загадочными женщинами и утонченными друзьями, неожиданно сближается с одиноким и затравленным (буквально, газами на войне) нищим художником Адольфом Гитлером. Но увы, на этой красивой завязке все самое интересное в фильме заканчивается и многообещающий флер рассеивается, как паровозный пар, которым таинственно окутано депо-галерея. Дальнейшее развитие ситуации никак не отвечает той грандиозной претензии, которая была заявлена в самой теме, и чем дальше, тем неуклоннее фильм превращается в дешевую американскую поделку с четким делением на плохих и хороших, даже очень плохих (озверевшее немецкое простонародье, солдатня и матросня) и очень хороших (умных, утонченных, интеллигентных евреев). Гитлер изображен омерзительной крысой, взрывающейся истерическими припадками. Хрестоматийно и совершенно оторвано от происходящих событий, выглядят «идеологические споры» двух героев о Ницше

и авангарде, где в уста Гитлеру вкладывается идея политики, как нового авангарда, и вагнеровская идея политики, как искусства. В конце фильма возбужденные антисемитской речью Гитлера матросы до смерти избивают Ротмана, повстречав в ночном переулке (непонятно, как матросики догадались, что высоченный, однорукий, блестяще одетый соотечественник — еврей?), а в это время сам Гитлер, положив папку с рисунками на стол, сидит в кафе и ждет встречи с Ротманом, который хотел предложить ему сделать выставку, сотрудничество и наставничество.

Режиссеру и актерам не удалось уйти от грубой упрощенности и избавиться от стереотипов, особенно не удалось нарушить табу, связанное с образом Гитлера. Боюсь, что режиссер такой цели перед собой и не ставил. Просто Гитлер опять входит в моду, это с одной стороны, а с другой — все еще табуирован, вот режиссеры и «ловят момент, искусно балансируя между притягательностью и опасностью “запретного плода”».

20.7.

Смотрели «Обнаженную натурщицу» Риветта. Фильм идет четыре часа. Старый знаменитый художник с молодой (лет сорока) женой, таксидермисткой, живет в деревне, в огромном доме-замке и пребывает в затяжном творческом кризисе. Их старый друг, меценат, еврей, и бывший любовник жены художника, привозит к ним в гости яркую молодую пару: молодого художника и его темпераментную подругу с целью половить рыбку в мутной воде: «возбудить» знаменитого художника на новую картину, которую он потом купит, а заодно всех перессорить и вернуть себе бывшую любовницу. Знаменитый действительно клюнул на темпераментную красавицу и выцыганил ее «попозировать» у молодого художника, гордого сотрудничеством со знаменитостью (как сказала его воз-

мушенная подруга: «продал мою задницу»). Старый-знаменитый (Мишель Пикколи) начинает работать с натурщицей, а вокруг этого узла возникают «напряженки» между ним и его женой, и между натурщицей и молодым художником (за углом притаился еврей-сводник). На каком-то этапе знаменитый решает бросить «проект», и объясняет это натурщице тем, что искусство иногда ломает жизнь, мол, надо быть осторожным. В общем, предал искусство из страха перед жизнью. Но молодка вошла в раж приключения с искусством и требует не трусить. В конце концов, после психологических кризисов по всем фронтам знаменитый заканчивает картину, модель возмущена результатом, жена, ревнуя, тайно пробирается в мастерскую и оказывается удовлетворенной тем, что вышло, а сам художник почему-то решает картину замуровать (столкнулся с непониманием шедевра?) и пишет другую, которую официально выставляет. Теперь все бабы довольны, доволен и еврей, покупающий очередной шедевр знаменитости, и только молодой художник разочарован, и говорит знаменитому художнику, что он «сделал из своей работы посмешище» и «он бы не хотел так закончить свою карьеру».

Тема интересная, назревающие конфликты держат в напряжении, картина затягивает в мир героев, в ритм и строй их жизни. Но, увы, щедро розданные обещания великих конфликтов и хитросплетений между искусством и жизнью оборачиваются напыщенной многозначительностью, разозлившей меня до крайности. Таким же нелепым, комедиантским «пшиком» заканчивается и последний фильм Риветта «Иди, знай!», и начинаешь думать, что знаменитый «режиссер для избранных» просто гнет банальную мысль, что мир современного искусства надут и пошел, а все его «конфликты» — комедиантство, и в финале страсти у мужчины падает...

25.7.

Для Л: А от вчерашнего вечера у меня легкая тошнота. Во-первых, это место (магазин Гринберга) очень неудобное, психологически, люди неудобные, к тому же у них межведомственные распри, и хотя вечерами ведаёт некая Регина (на сносях), мы с ней договорились, что вечер начнется в 20-00, и это, естественно, будет мой творческий вечер, а Менахем Яглом (доверенное лицо самого Гринберга), разослал объявления, что вечер в 19-30 и что это «семинар переводчиков», в котором будет мое выступление. Пришлось с этим семинаром сразу послать его подальше, и он поджал хвост. Он еще хотел выступить, но я сказал — не надо. А жена хозяина, которая «на кассе», хотела запретить мне продавать книги, мол, пусть у магазина покупают, и на этой почве мы тоже слегка напряглись, и она, закрыв кассу, демонстративно ушла. И потом толковой рекламы они не дали, объявление на двери магазина было малюсеньким, а приглашения были на декабрь (!). Народу пришло меньше, чем я полагал, многие не пришли и не предупредили. Генделев заскочил, подарил мне книгу и ушел, извинившись, мол, страшно занят. Пришли Юлия Винер, Светлана Шенбрунн, Исаак Розовский с супругой, Боря Камянов, Верник, ну и Тарасов, который сидел тихо с двойной банкой пива. Вместе с нелитературными приятелями и еще некоторыми, человек 35 набралось, я думаю, что вполне прилично для таких вечеров, но я-то рассчитывал (почему-то) на «пицуц»¹. Верник выступил «докладчиком», сказал очень тепло и верно, вообще, как раз за день до этого у нас с ним случился разговор о любви и дружбе, я ему говорил, что ни того ни другого на свете нет, а он меня уверял, что я лучше, чем тот, кем стараюсь быть, вот он сейчас перечитывает «Хроники» и многое его смущает, что впадаю в пошлость, пишу «пло-

¹ Взрыв (*ивр.*)

хо о женщинах» и т.д. В общем, первое отделение, по общему мнению, прошло хорошо, я гораздо больше чем в Тель-Авиве читал Шабтая (да еще Верник прочитал кусок), а окончание вообще произвело ударное впечатление, Юля Винер даже ахнула и, несмотря на корсет, зажавший ее поломанную шею, попыталась меня обнять, в общем, перевод действительно все дружно оценили. На второе отделение, как водится, осталась половина, тут я почитал рецензии на «Хроники» Урицкого и Топорова¹, а потом стал читать отрывки из книги. Прочитал два отрывка и, черт меня дернул, взялся за свой любимый — о вечере Чичибабина, про «крутой харьковский междусобойчик». И какой-то голос говорил мне: не надо, Верник может обидеться. А я еще, перед тем как прочитать отрывок, говорю: «Вот, один из персонажей тут присутствует, надеюсь, он не обидится, знаешь — уже к нему обращаюсь, — как в том анекдоте: муж жене говорит: ты же умная, ты все понимаешь, и даже подумал со злостью, ну и пусть обижается, ну и черт с ним. Еще и Камянов в конце подъебнул: «Не хуже Топорова!». А еще, когда отрывок этот закончил ударным «всех на хуй пошлю» (дамы в этом месте всегда оглушительно выдыхают), кто-то спросил: «А вам не нравится Чичибабин?» Я выдержал паузу, прекрасно осознавая, что Верник напрягся, и сказал: «Мне нравится, что он работал в трамвайном депо».

А потом, вспоминая эту «серьезность» Верника, я подумал: а ведь прав Топоров, и в точку бьет, когда пишет, что «документальный отчет Ваймана о мелкой и суетной, но испуленной литературной жизни русско-говорящего Израиля производит — при всем своем анекдотизме — сильное впечатление: начитанные и неглупые, но непорочно бездарные люди ходят из вечера в вечер на литературные мероприятия, покупают друг у друга книжки

¹ Имеется в виду ленинградский критики и публицист Виктор Топоров.

стихов и прозы (!), читают их (!), обсуждают (!), анализируют их в печати (!) ... хранители священного огня...», и Верник — точь-в-точь персонаж из этого сказа. Гольдштейн сказал на тель-авивском вечере о «Хрониках», что я пишу о людях, как будто бы их уже нет...

28.7.

Бараш вернулся. Спросил меня, как вечер в Иерусалиме. Я говорю, что не очень, в Тель-Авиве был лучше, хоть и жара была дикая, хамсин как раз грянул, я опасался... «Что будет соф давар, пиздец всему», — срезонировал он и сам радостно рассмеялся своей шутке. «Тебе так и надо было перевести, это точнее метафизически», — продолжил он, подхихикивая, развивать тему. Я понял, что настроение у него «на подъеме». Тоже, конечно, посмеялся, что смешно — то смешно. «В Тель-Авиве, — продолжаю, — было больше народа, человек пятьдесят, но литературных людей было мало, только Гробманы и Гольдштейн». — «Гольдштейн — это из «Вестей»?» — продолжил Бараш насмешничать. Кажется, Москва его вознесла. Рассказал ему и про вечер в Иерусалиме. Потом он — про Москву: поездка прошла триумфально, был гигантский вечер-концерт с группой «Мегаполис» в клубе ОГИ, он читал, а они исполняли песни на его стихи, во втором отделении, «в малом зале» он читал прозу, «ту, что сейчас выходит в “Зеркале”», пил с Михаилом Леонтьевым, который разъезжает в зеркально черном джипе и по дороге дает интервью по мобильнику, выдули с ним бутылку армянского коньяку, после чего у него, Бараша, началась подагра, пил он и с Ваней Ахметьевым (о Кукулине умолчал). Для меня у него две хорошие новости: «Эпилог» везде лежит на видном месте, и вообще издательство котируется, и моя статья о нем пойдет в следующий номер НЛО, там будет и его статья о Савелии Гринберге. В общем, пруха.

31.7.

От Ахметьева:

Hello Наум,

вчера, 29 июля умер Миша.

Best regards,

Иван

Позвонил в растерянности Михайловской. Она только что с дачи, ничего не знает... Огорошил. А она неделю назад с ним разговаривала, сказала, что займется всеми его делами, «у него же и мебели нет, и он вообще был в последнее время... не очень, часто звонил мне ночью...»

6.8.

Неожиданно позвонил Саша Соколов. Он оказывается в Эйлате. Нет, никакого письма не получал. А с Марлин они расстались в Стамбуле, «я просто... понимаешь.., мне совесть не позволила.., в каком смысле? Ну, есть же, в конце концов, то, что называется «международное право», нельзя же так, в конце концов, это же, как это называется («Империализм!» — подсказываю), да-да, вот именно. Мы же попали в Стамбул как раз во время войны, и это мне так напомнило бомбежки Белграда... Я ненавижу эту администрацию, кстати, мы в Стамбуле познакомились с чудесной парой, американцы, они постоянно живут в Стамбуле, и они тоже ненавидят Буша и стараются всячески, в общем, чтобы его убрать, и я не хотел ехать в Америку, ну что я, мнений своих я скрывать не хочу, а Марлин это только может повредить, у нас и в прошлый раз были конфликты, смотри, люди платят деньги, учатся грести, а я тут выступаю... зачем я ей буду мешать. Нет, она в сентябре приедет в Эйлат».

Рассказ его был путанный, сбивчивый, я тоже маневрировал, боясь не наступить на больные мозоли, вот так и танцевали.

— Как ты там один?

— Ну что, девушек много...

Рассмеялись.

— Ну, в смысле еды...

— Да я непритязательный. Ты же знаешь, я люблю макароны, ну и овощи. Еда — это женское изобретение...

— Чтобы нас в рабстве держать.

— Вот именно.

Рассказал, что интересно поездил по Турции, Балканам, Словакии. «Турки мне очень понравились. Они в гостинице не дали нам звонить в Америку, представляешь? Хотя я им и говорил, что я канадец, а в Америку мне надо по делу позвонить — не дали. Нет, турки правильно реагировали. И вообще они дисциплинированные, честные, не то что в Греции, может строгость режима...»

Я сказал ему, что еду в Россию, он стал расспрашивать о формальностях, нужен ли вызов, удивился, что не нужен, это облегчает дело, он и сам думал... Еще сказал ему, что думаем в сентябре приехать в Эйлат, так что свидимся. Да, вид на жительство ему не дали. И еще попросил записать: сегодня будет по телевизору фильм «Реквием», у него нет этого канала, там про Лиссабон, замечательный город...

7.8.

Снял «студию» в Ямин Моше, напротив Дормицион. Но оказалось, что это подвальчик без окон. Гулять по жаре (было 12 дня) не хотелось, в результате завалились в кровать. На этот раз наоборот, первый заход был бурный-короткий, а второй — по полной программе. Она была довольна. Обычное постворкованье. «...я тебя не ждала, а потом уже, в конце так хорошо совпало... Вайман, ты молодец! ... Ты не обидишься, если я скажу грубое слово? Твой нежный слух не оскорбится? Ну, я тебе уже говорила — ты отличный ебарь».

Рассуждения о запахах под расслабон после. Подсывает мне палец, обмокнутый в сурьму: «А ты знаешь, как твой член пахнет? Вот, понюхай свою сперму». Очаровательная любовь к телесному. «А ты можешь запах своей спермы отличить от запаха спермы другого мужика?» — «А что, сперма пахнет по-разному?» — «Ну, это как духи — ясно, что духи, но запах разный». — «Понял». — «У спермы очень сильный запах. У меня девки в классе знаешь, как пахнут!» — «Школьницы?» — «А что, школьницы не живут половой жизнью? Тем более в двенадцатом классе. Только они не моются. Ужас. Если бы муж меня обнюхивал после наших свиданий... Но я не даю ему себя обнюхивать. Раньше я первое время не мылась после тебя, хотела сохранить запах...» — «А Миша запаха не чувствовал, говорил, что от этого все его проблемы...»

Около четырех она села, подложила под спину подушку и сказала тихо:

— Мы больше с тобой не увидимся.

— Да, до сентября не удастся.

— Нет, вообще.

— Да?

— Да, я так решила. Так и так мы не увидимся до конца августа, и там уж будет легче.

— Почему ты так решила?

— Я давно уже хотела тебе сказать. И сегодня решила не отвечать на телефон. Но потом подумала, что это будет свинство... У меня ничего не осталось из того, что было. Ты все разрушил в тот раз... Чего ты смеешься?

— Что ты выбрала девятое аба¹...

— Аа, да... Да, разрушение. Ты человек, который все разрушает. Но я тебе благодарна за все. Это было счастливое время...

¹ Религиозная дата национальной скорби, считается, что в этот день был разрушен Первый Храм, и Второй, и произошло множество других исторических несчастий.

— А почему ты решила сказать мне после, а не до?

— Ну.., слаба на передок...

Мы немножко поанализировали наши отношения, немножко поупрекали друг друга, а в общем...

— Я почему-то не верю... И не очень-то понимаю. Если тебе хорошо, как ты говоришь, и мне, то...

— Это — ебля.

С каких это пор ебля перестала ее интересовать? Или она считает это понижением статуса, что я ее держу «для ебли»? Впрочем, анализировать не хотелось. Я устал, в коморке было влажно, слабый кондиционер...

Немножко повспоминали, немножко порассказали, она немножко всплакнула.

— У тебя кто-то появился?

— Нет, — сказала серьезно.

Потом лежали рядом, последние нежности нежны особенно...

Надо бы все-таки прогуляться, и не жарко уже.

— Ну что, пойдем к Стене плача?

Но она юморок мой не оценила, сказала, что ей надо вернуться, и кушать тоже не хочет. Поехали домой. Она боялась пробок, но из-за девятого аба доехали быстро.

Как всегда перед тем как разъехаться в разные стороны ритуально помахали друг другу рукой.

Чем-то она и сейчас мне родная. А чем-то, как была всегда, чужда... Грустно...

Вообще-то мы много всякого говорили, но вспоминать не хочется, лень.

Да, письма Миши ее не впечатлили.

А «Люди лунного света» ей нравятся, хотя Розанов — «мерзость» и «устарел».

Решила расстаться, но книгу не отдала, оставила в залог...

Принесла специальную мазь и терку, чистила мне мозоли на руках от турника.

9.8.2003

Мишины письма разбираю, будто иду по старым следам...

Насколько человек был близок тебе чувствуешь только когда он уходит навсегда, не только из твоей жизни, а из жизни вообще, чувствуешь по тому зиянию, которое остается в том месте, где он привычно находился, как будто сотканный из людей покров твоего времени, твоего бытия рвется, приходится жить с прорехой, и в конце концов становишься оборванцем, и ветошь твоя вся в прорехах.

И Москва без Миши теперь пуста.

3.

Просто-напросто дождь,
холодные светлые капли
и пустота —
совершенная пустота впереди,
как будто поднялся в те сферы,
где нет ничего земного,
и только холмы облаков —
белых, безмозглых, вечных,
как печаль одинокого,
которому, как известно,
езде пустыня

5.

Сломить ветку сирени — и
сквозь голоса,
сквозь слезы
бежать вниз, к реке, размахивая сиренью —
всё, что ты можешь
только...

6.

Деревья светлые совсем как
Весною — и всё же

Поздно... Скоро
Станет совсем по-другому, но даже сейчас
Страшно
Вспомнить о них
Что росли...

8. Май
Скрывая
восторг и страх,
подойти немного
сбоку,
с опаской —
прошептать горячо и нежно,
и убежать
за дома...

9.
Воробей за окном,
и вечная
грусть о прошедшем
о том,
что, в сущности,
было в начале.

17.
Собака, уходящая по мокрой дороге в лес,
белый день остается со мной,
дождь чуть сеет.
Зачем ты
послал этот день нам, Господь?
нам, здесь, в Сифолд Хаусе...
Может, лучше
оставить как есть —
страхи
ушедшей ночью,
дверь, щель в двери, свет —
присутствия,
или враждебности?

Ночь, через день, уходит,
переходит и ходит с собой — зачем Ты
послал нам его — день и травы
травы в траве — белый день
мелкий дождь
собака
идущая
по мокрой дороге
в лес...

18.
Когда он умер¹
Я не был еще мужчиной.
Мир казался мне ярче
и радостней —
он не спрашивал
у меня об этом: но, наверно, догадывался
хотя я сделал вид, что давно все знаю —
Что толку спрашивать —
он не мог дать мне женщину.
Они были
для него чудом, таким же
как для меня: ему было гораздо хуже
и не спрашивал
у меня — не хотел...

¹ Это о Симоне Бернштейне.

Александр МОЦАР

(Киев)

ВРЕМЕНА ГОДА

Весна. Джон Кейдж. Трудлюбивый сосед за стеной

Он начал играть, но быстро сломался. С тех пор всю жизнь пытался починить свой собственный труп. На пол падают испорченные шестерёнки, пружины, инструменты, гайки, шурупы. Кто-то наступил на «мама» — механический голос куклы.

Это я не о себе. Ладно, я молчу. Кто это бубнит над ухом всё ближе, ближе, ближе?

У Джона Кейджа, которого я презираю (но не всегда, не зимней ночью и неискренне), среди прочего себе подобного мусора есть тема, которая называется «Музыка для амплифицированного игрушечного фортепиано». Мой случайный выбор. Всё та же попытка расставить звуки в пространстве, в темноте, в шаркающих тапочках. Итог — это обычный для Кейджа набор спонтанных коллоидных звуков, как бы вскользь падающих и образующих нечаянную неустойчивую гармонию. При этом непонятно — всё, что происходит вокруг тебя, это намеренно, осмысленно или просто так? Здесь и всегда, в каждом звуке Кейдж примитивен и понятен. Нет, это не закономерный эффект калейдоскопа, это невысказанные ощущения чего-то. Нет, это бессмысленная псевдоинтеллектуальная конструкция с претензией на элитарность. Нет, и это не то. Случайность, всё случайность.

Итак, выйдя из дома на улицу в магазин, я услышал выкрик — «Саша». Оглянулся. Передо мной проплыла грузовая фура с надписью на борту «Морепродукты». На голубом борту — рыбы, креветки, моллюски. Вспомнил недавний разговор со знакомой девушкой, которая жаловалась на быстротечность финансов на побережье Тосканы. «Мама, молоко подорожало, я маленький сок купил», — прокричал маленький Саша со двора, в застеклённый ряд балконов. «Деньги», — подумал я, и инстинктивно потянувшись за кошельком, понял, что забыл его дома. Вернулся в расслабленном, задумчивом состоянии. За стеной сосед при помощи дрели делает ремонт. Включая громко Кейджа. Ремонт и вдохновения композитора совершенно совпадают.

Здесь случайность остаётся случайной закономерностью, как деревянный камень — элемент кустарной поделки — становится камнем и перестаёт быть деревом. Рассматриваю декорации кукольного вертепа XVI в. Италия. За стеклом пустота.

Да, пустота всегда раздражает — она есть, и её нет. В пустоте можно. Кричать, танцевать, декламировать, разрушать пустоту, как разрушает пустоту Кейджа, к примеру, Мередит Монк или Сергей Курёхин — декларативные последователи философа Джона. Разрушать пустоту это значит понять, почувствовать, что пустота существует и не существует одновременно. Иная физика.

— При чём здесь к Кейджу Курёхин и Монк?

— При том, что сегодня, когда я выносил мусор, встретил у контейнеров бабушку, которая сортирует хлам. Увидев мои бутылки и картон, она волей и взглядом приказала поставить каждый объект в определённое место. Я, не прекословя, исполнил её повелительное, но не агрессивное пожелание. Хотя я всегда придерживаюсь норм сортировки отходов и знаю правила подготовки

к утилизации лишней материи, сейчас (тогда) перед тем, как исполнить её волю, я с почтением переспросил пожилую женщину со смеющимся взглядом, куда именно поставить картон, куда бутылки. В этот момент мне показалось, что из разорванного, поломанного, разжёванного хлама можно ещё возвести некое симметричное, логичное целое. Гармония пространства сортировщицы мусора. Гармония мира.

— Ага, понял, Кейдж — это пространство с хламом.

— Нет, Кейдж — это хлам.

— А Курёхин и Монк?

— Всё остальное в этом пространстве.

Внимательно прослушав этот разговор, я неожиданно подумал о том, что без Гомера на месте «Илиады» и «Одиссеи» было бы пустое место. Без Баха на месте «Страстей по Матфею» было бы пустое место. Без Данте на месте «Божественной комедии» — пустое место. И далее незаполненная пустота, заполненная людьми. Вот пустое место. Он пустое место на месте «Пьеты Палестины». Почему опять он, а не я?

Кстати, о пустоте. Пустоту не раз, и не два, и не три, и не четыре пытались поймать, увидеть, зафиксировать как некий художественный образ. Кейдж, как и другие до него, так не смог поймать «Ничто». В его исполнении «Ничто» обрело форму и смысл — и стало именоваться «4,33». Согласитесь, у «Ничего», «Ничто» не может быть метрики. «4,33» это и «Поэма конца», и «Белый квадрат на белом фоне» т.е. конкретное, зафиксированное, имеющее форму, а значит осмысленное что-то. Здесь можно вспомнить о Фоме Аквинском и его третьем доказательстве, а можно просто, захватив деньги, пойти в магазин.

Сезонная мартовская слякоть. Первая весна всегда звучит осмысленным хаосом. Тёплый, аморфный ветер разбрасывает всё в разные стороны. Ветер — это мусор,

хлам вдоль дорог, бордюров, проводов, на ветках — и там, далеко, в шумном, капризном небе. Вороны. Каркают вороны. На дорогедохлая чёрная птица. Она не заснула смертью. Она смотрит из иного. Сквозь неплотные тучи луч солнца. Последний луч солнца этого дня. На застывший труп птицы. Как прозаично порой совершенство.

Посвящается всем расставляющим звуки в пространстве.

Лето. Леонардо Фибоначчи. Абстракция

В побеленном, как потолок, небе — напряжённая тишина. Одинокая птица вычерчивает круги в огромном пространстве. У окна стоит Барбара. Она пристально смотрит на это вращение и слушает тишину. Смотреть можно только в определённую часть неба. Если взгляд немного перевести, то непременно слепящий ожог. Солнце этим летом не остывает даже ночью. Барбара из-под козырька ладони продолжает наблюдать за полётом. Неожиданно вздрогнув, она растерянно, но не испуганно, оглядывается на меня. Занавеска окна надувается парусом от взрывной волны.

— Почему у нас всегда за окном война, баррикады, пламя? Но стоит только выйти на улицу, всё радикально меняется. Никто не стреляет, нет ни истерик, ни воздыхания. Согласись, это странно. Не может быть, чтобы это преобразование действительности существует только в нашем с тобой пространстве, — Барбара снова смотрит в окно и равнодушно грызёт яблоко.

— Да, я заметил. Время перестало быть линейным, но разлилось абстракцией.

— Для нас или для всех?

— Отойди от окна.

Я выглядываю на улицу. Из-за угла университета медленно, на ощупь, выкатывается БМП. Несколько солдат бегом занимают позиции. Один из них спотыкается. Я отхожу и констатирую невыносимую погоду — жара. Барбара пожимает плечами и опять недовольно задаётся вопросом: «Ну почему опять за окном война?»

Шуршание гравийных дорожек. Звуки города. Мы гуляем в парке возле дома. Знакомая бабушка кормит знакомых голубей. Любопытные псы выгуливают уставших людей. Дети как дети. Запустив карликового кролика в игрушечный лабиринт, они пугают дрожащее животное своими ласками и кусочками фруктов. Скоро нам нужно идти на день рождения к мальчику Акихико. Барбара смотрит на игру детей:

— Давай купим ещё кролика, он обрадуется. У детей время, надеюсь, линейное и движется только вперёд.

— Посмотри, с каким испугом смотрит на нас из окна женщина.

— Почему?

— Представим — весна 1225 года. Математик Леонардо Фибоначчи размышляет о размножении кроликов. Сумма его размышлений существенно расширит границы своего времени.

— Задача Фибоначчи о кроликах не датируется конкретным временем. Она была всегда. Качественное решение этого примера было и до великого математика, и после. Но сейчас, в данный момент, благодаря Фибоначчи, стали более осмысленными общие познания, соответственно, и возможности человека стали шире.

— Здесь следует уточнить — вся эволюция математики следует от первой цифры и далее от первого сложения, умножения. Вопрос: существуют ли без человека математика и прочие дисциплины? — качественно неразрешим.

— Это уточнение — это даже не философия, это мистическая провокация. На этом рубеже можно завязнуть

навсегда. Математический закон — это не стихотворение, которое принадлежит поэту. Нельзя сказать, что сонет Петрарки был всегда. Но это можно сказать о математике. Эта дисциплина — деталь некоего общего положения, закона, который, регулируя нашу реальность, существует и над ней. Грубо говоря, очевидно, что математика, физика существовали до появления точки, линии, плоскости, фигуры, иначе все эти понятия не появились бы вообще. Это «Мир идей» Платона.

— Именно это я и хотел услышать. Ты говоришь о неизбежной закономерности, но закон — это тюрьма. Нарушение закона — хаос и смерть. Нам была обещана свобода и жизнь вечная.

Дети обложили кролика подушками, на зелёный лист салата положили кроличий корм и ждут от зверька представления. Кролик замер комочком детской радости. Кролик боится детей. Он не движется. Страх для него — клетка.

— Да, всякий отдельный закон, будь то закон математики или природы (физика), это тюрьма, оболочка, контролирующая фантазию. Но этот контроль и стимулирует ту же фантазию к познанию — бегству из тюрьмы. Этот поток — часть общего закона, который в итоге разрушает действия законов промежуточных, освобождая тем самым от рамок зависимости умудрённое сознание. Так художник, нарушая законы перспективы, добивается максимальной точности настроения, переживаний, бытия. Пример — Дюрер, мастер, теоретик перспективы. Его диптих «Четыре апостола», где головы апостолов второго плана Петра и Марка крупнее, чем головы Иоанна и Павла, т.е. фигур первого плана, при этом рост апостолов показан в правильной перспективе. Логические нарушения очевидны, но вместе с тем оптическое восприятие всей группы остаётся максимально достоверным. Итак, здесь

видимый закон человеческой, евклидовой логики нарушен, но в тоже время воссоздана некая достоверная оптика, реальность.

Кролик освоился в детской компании. Он накормлен и сфотографирован. Он никого не боится. Он даже укусил маму Акихико. Не больно, но теперь его с опаской гладят по бежевой шерсти. Пора прощаться с друзьями. Нам предлагают остаться до утра, так как на улице усилилась стрельба. Барбара легкомысленно рассказывает о том, что война в нашем настоящем мире идёт только за окнами. Собравшиеся люди переглядываются, делятся своими наблюдениями, со смехом соглашаются с моей подругой. Хозяйка дома прислушивается к коротким очередям стрелкового оружия и смотрит на меня. Мы смотрим на часы.

— Общий закон — это время.

— Время точно существует. Но есть и то, что существует вне времени. Грубо говоря, мы живём в своём рукотворном законе, который мы возвели как здание. Есть некая природа, которая существует за пределами этого здания. Мы не знаем, что происходит там, но населяем это неизвестное своим опытом — математикой, физикой, своей любовью, своей войной. Здесь же вернёмся к Фибоначчи. В одно и то же время существовал и он — математик, и, скажем, теория вероятностей. Фибоначчи о теории не знал, но она существовала. Без оперативного, интеллектуального вмешательства Леонардо, как некий закон, осмыслить который еще только предстояло, предстоит человеку. Очевидно, что в данный момент существует то, чего мы не знаем, не видим, т.е. непознанное — суть закон, сумма законов, которые образуют некую целую истину, существующую всегда, аннулирующую видимые, доказанные законы и заодно всю нелепость нашего мира. Это «Всегда» можно представить и вне потока времени. И по отношению к этому Абсолюту человек всегда тот, кто весной 1225 года размышляет о кроликах.

Не вызывая такси, мы идём по затемнённым улицам военной столицы. Напряжённая тишина затаившегося города. Жаркий вечер обращается в душную ночь. Несколько горящих окон. Кто-то сосредоточенно смотрит мимо нас в монохромную темноту. Интересно, что он видит? Мы заходим в парадное. Мир вздрогнул. Взрывная волна за нами с треском закрывает дверь.

Осень. Майстер Экхарт. Один на один

Из моего окна видны крыши частного сектора, перекопанные грядки огородов, ограждённый забором участок в беспорядке запустения, кричащие воронами деревья, трансформаторная будка и бетонный закрытый колодец возле неё — слив, как подсказал мне один мой знакомый. Мимо этой конструкции протоптана тропинка, существенно срезающая угол поселковой дороги. На краю колодца, на этом сером фоне лежит книга. Я равнодушно заметил её утром. «Не всё ли равно, о чём она, — думаю я. — Лежит, молчит. Пусть так и будет».

Поёживаюсь от мысли, что сегодня с самого утра пасмурно и, вероятно, пойдёт снег или дождь. От всего этого мне становится уютно. Передо мной письменная работа. Мне нужно разобраться в путаных дебрях Средних веков. Сознание ушедшего, прошедшего человека застыло в странных, химерических образах, которые я трактую по своему образу и подобию.

Через несколько часов, отвлекшись от письма, снова выглядываю в окно. Книга лежит, где и прежде. Мимо тяжело идёт мужчина, не обращая внимания ни на нее, ни на другие ветхие предметы. «Если через час книгу не заберут, — думаю я... моя мысль здесь останавливается в нерешимости. — Зачем спускаться в слякоть этого декабря? Книга и книга. Их много брошенных, ненужных, тлеющих».

На следующий день моё настроение у окна меняется от любопытного азарта до немотивированного сочувствия. Я смотрю на забытую или выброшенную книгу уже не равнодушно. Эта эмоциональная перемена неожиданно раздражает меня. Я не могу отделаться от навязчивого желания узнать, что это за книга. Брошенная, она мне кажется несчастной, как собака, потерявшая хозяина. В уверенности, что сейчас подыму криминальное или дамское чтиво, в конце концов я выхожу на улицу.

Небольшая прогулка. Впереди меня бегут отчётливые недавние воспоминания о голом сумасшедшем, который несколько дней назад устроил здесь скандальную пробежку с элементами какого-то первобытного вопящего танца. Вот здесь, под этим деревом, мимо которого я сейчас прохожу, стоял автомобиль с открытым багажником, именно туда больной умопомрачением человек забрался, закрыв за собой пути к отступлению в бытовую цивилизацию. Я представляю себе, как он там, среди автомобильного хлама, свернулся калачиком, передо мной проносятся сумбуром его трясущиеся, беспокойные мысли... стоп. Останавливаюсь у колодца. Память и фантазия натывается на реальность.

Книга. Открываю обложку и читаю на титуле: «Майстер Экхарт». Сзади меня движение. Оглядываюсь на чьё-то присутствие. Передо мной стоит молодой мужчина в синей рабочей форме.

— Это моя книга, — говорит он, глядя на меня. — Вот, два дня искал. Мы рядом работаем.

«Майстер Экхарт», — думаю я, глядя на рабочего-строителя. Жаль, что опыт этого человека не задел массовое сознание католиков эпохи великих крестовых походов. Чудак-еретик из паноптикума тёмных веков. Писатель-мистик. От подобного словосочетания всегда невольно хочется увернуться, отделаться, как от пугающего своими путаными речами сумасшедшего. Иоганн Эк-

харт — что он видел? Где он был? Его прочно не знает публика, его осторожно цитируют единицы.

Далее без слов. Протягиваю рабочему, мастеру, сочинения тевтонского писателя и, понимая, что разговор о данной книге, теме, невозможен априори, ухожу.

Словарный запас человека ничтожен по сравнению с невыразимой истиной, которая открывается некоторым людям непонятно по каким критериям, отобранном провидением (Бёме — сапожник, Блейк — поэт, художник, Экхарт из Хоххайма — клирик). Они говорили непонятными текстами, письменно заикаясь и волнуясь в своём бессилии что-либо объяснить. Вся литература мистиков — мычание в сравнении с их духовным опытом, который невозможно передать никому. Их популярность — это порой популярность шимпанзе в клетке городского зоопарка. От них сторонятся, как от душевнобольного в общественном месте, который вызывает невольное чувство брезгливости и испуга, пугающего людей всем своим видом, даже кричащей, дико хохочущей одеждой. Здесь глухое одиночество человека, перешагнувшего вольно или невольно грань земного бытия. Шарлатан — самый невинный из предлагаемых социальных образов, применимых к ним. Шарлатан — это всё-таки не больной идиот. Обсуждать всерьёз на людях эту литературу не рискнёт даже тот, кто согласен с этими писателями и признаёт их визионерами. Здесь невысказанный индивидуальный опыт — или ты сумасшедший, бегущий, танцующий, кричащий непонятные формулы непонимающим людям. Невероятное одиночество.

В этой пустоте, вглядываясь в себя, стоит задуматься — точно это было, или всё, что пережил, всего лишь истерика, экзальтация, самообман. Ответа нет. Вместо слов всплывают образы. Человек говорит, пытается говорить символами, которые каждый зрячий дешифрует по-своему. Здесь вос-

приимчивая индивидуальность видит только то, что способна увидеть, вместить. В пределе личности из образа формируются либо чёткие образа — лики, либо расплывчатые туманности, тени с размытыми контурами, сфумато. Безличная божественность, как определял это состояние учитель Экхарт. Нет, это сложно, невозможно объяснить. Ничего не понять. «Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я ещё младенец», — так прошептал, прокричал пророк Иеремиа. Здесь человек один. Один на один.

Мокрый, липкий снег. Слякоть зрелой осени. Крики ворон.

Зима. Перед рассветом. Француз говорит с птицами

Это ещё не голубое прозрачное небо, расписанное ласточками, стрижами и лёгкими перьями облаков. Это низкое, осмысленное предвидением небо, опустившееся, как будто специально для этой истории. Мёрзлая пыль дороги. Строительная пыль новостроек. Строительные леса. Серые камни на серый раствор. Копоть кипящей смолы. Мир снова перевернулся и меняется.

Новоделы, как всё новое, необжитое выглядят безжизненными, скучными объектами. Высотные башни растущего города. Дома новой элиты. Ругань рабочих, мимо которой идёт человек. Оттаявший снег растёкся лужей. В луже отражается небо. Человек идёт по небу. Первое десятилетие XIII века. Умбрия — сердце просыпающейся Италии. После удачных грабежей в Константинополе люди здесь стали жить просторней.

Когда, плохо зная историю религии, говорят о святых, то обычно изображают их по-житейски добрыми людьми, славными дедушками, говорящими ласковыми, задушевными голосами правильные слова о добре и зле. Такая простая трактовка святости, т.е. высшей мистической одарённости, очень удобна для большинства. Она

не опасна. Здесь всё просто — добрые люди говорят о добре, творя тем самым добро и словом, и делом. Зло отступает перед улыбкой и простотой. О том, что зло не испугаешь улыбкой и похвальными поступками, знают только те, кто видел молнии перелома от смерти к жизни.

Манихейская догма мышления, в которой зло и добро — два разных, категорически непохожих физических состояния, давно стала комфортным положением человека, не побуждающим его разум к пугающей самооценке. Где мне хорошо, там и добро. Собственное «Я» здесь высшая, не жертвенная ценность. Подобные мне люди — моя зона комфорта. Людей, мешающих мне и таким как я так существовать, т.е. плохих, злых людей нужно уничтожить как контру, как недочеловеков во имя великой любви ко всему человечеству. Здесь появилась идеология, политика, в ней испуганно повторяем при виде истины: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». В этом лабиринте сложно понять, что такое добро и как выглядит зло. Согласитесь, если бы человек смог отличить, познать, не попробовав что́ есть что́ — он был бы счастлив, так как видимое зло отвратительно и не в границе выбора человека.

Этот идущий по лужам знает и говорит проповедью своего знания. Зовут человека Франциск. Он пришёл в этот город, чтобы говорить с людьми. Но то, что было очевидно ему, неочевидно им. Город, армия, магистратура, клир — всё это живёт своей жизнью, скреплённой моралью и надзором. Иначе пока не получается.

Солнце выглядывает из-за туч. На маленькой площади потерянного города собрались обычные люди. Они слушают нищего. Странно, но этот убогий говорит не на языке городского деклассированного дна, его речь выдаёт в нём человека, знающего обращение в обществе. Это обстоятельство тем более подогревает интерес публики. Люди начинают прислушиваться к смыслу слов.

— Эй, придурок, как тебя звать?

— Франциск.

— Как? Французик? — они смеются над странным именем человека. Нередко в Италии Францисками-французами называют ослов. Ну и что? На ослике и Христос прибыл в Иерусалим.

— Кто это? — спрашивает опоздавший на представление парень подмастерье.

— Дурачок, юродивый, — отвечает ему известная всему городу мягкая тётка.

Юродивый — уродивый — урод. В языковой традиции Византии — салос. Странное слово без корневого происхождения, не означающее ничего кроме самого феномена поведения человека, добровольно отказавшегося от разума, т.е. от земного комфорта ради инобытия. Человек при этом пребывает в некой пограничной зоне между бытом и бытием, активно участвуя в делах земных, находясь часто на самом острие социально-политической жизни в отличие от ушедших из мира монахов. Эти люди всегда в самой гуще социума. Здесь они порой цинично глумятся над ближними, над их пространством, вмешиваясь в их сокровенные дела шокирующими, бесстыдными выходками. Это провокаторы, влияющие на действия человека или группы людей. Их речи раздражают, их мир пугает.

В среде тех, кто слушает французшку, есть те, кто еще не знает о миноритах, но быстро отмечает сходство идеологической парадигмы проповедника с популярной ересью альбигойцев, патеренов и вальденцев — святая нищета. Но этот бедняк проповедует данный принцип не агрессивно, не разжигая ненависть к католическому мейнстриму, и именно это более всего оскорбляет слушателей. Оказывается, во всех несчастьях рода человеческого виноваты не зажавшиеся попы, которые продали, но кто? Кто продал, и кто купил?

- Это что же, я же и виноват, по-твоему?
- Слышишь, он твою сестру шлюхой назвал.
- Не говорил он такого. Он сказал...

Это как будто в тёмной комнате включили свет во время всеобщего скотства. Кто-то ржёт, кто-то плачет, кто-то схватился за нож. Проповедника начали теснить оскорблениями. Он повернулся к ним спиной. Позорное бегство удовлетворило бы обиду толпы, всё закончилось бы злым смехом. Продолжая оплёвывать и сквернословить, они пошли за Франциском. Но он не убежал из города, он привёл их на кладбище, в тот сектор, где хоронят городское отребье, не нужных никому людей. Привёл туда, где прах.

«И создал Господь Бог человека из праха земного». Но что такое прах? — перегнившие останки чего-то ранее живого, то, что сдохло навсегда и не воскреснет, но может совместной высшей волей преобразиться. Такой материал творения.

Полуразрытая собаками недавняя могила, из которой на человеческие крики выпорхнул стервятник. Еще один — сидит на кресте. Того, кто сейчас труп, горожане хорошо знали. Это был небогатый торговец, вконец разорившийся к концу жизни. Работа, дом, дом, работа. Купил, продал, барсетка. Зависть, риск, азарт. Вдова, дети... Впрочем, никто не застрахован от суммы и тюрьмы. Но если беды этой семьи раньше вызывали равнодушное словесное сочувствие, то сейчас это зрелище вызвало испуганную ярость. Полетел первый камень. Не обращая внимания на возмущения людей, грозно намекающих на преступное святотатство, Франциск обратился с проповедью к птицам. «Где будет труп, там соберутся орлы, (стервятники, трупоеды)».

Те, кричащие за спиной, мгновенно смолкли, может быть, поняв, что это о них. Они стихли, не зная, что будет дальше. Детина-подмастерье, увлечённый пугающим пред-

чувствием, громко высморкался в ладонь. Внимательно оглядев зелёные сопли, он растёр их о свою же штанину, растянувшись в доброй улыбке.

Франциск говорит птицам. За спиной его слушают люди. Птицы внимательно смотрят мимо проповедника, в толпу, не замечая слов о близкой истине.

Вы правы, эту историю рассказывают не так. Есть прямые свидетельства весьма достойных людей, которые говорили, писали об этой странной проповеди иначе. После смерти Ассизского проповедника его почти сразу канонизировали. Процесс прославления провели через два года по упокоении святого. Сразу же очевидцами событий были написаны и жития Франциска. Конечно, одной из жемчужин этих историй о святом был и эпизод проповеди птицам. Об этом писал и его последователь, а также первый биограф Фома из Челано, составивший житие святого по поручению папы Георгия IX, и Бонавентура, и далее многие от Псевдо-Бонавентуры до Сигера Брабантского. Словом, история с птицами стала канонической. Постепенно посмертный канон иллюстрировали фресками и картинами, визуализировав тем самым эту трогательную проповедь. Все стало просто, правильно и мило, словно детское стихотворение. «Сестрички мои птички, вы многим обязаны Богу, вашему Творцу, и всегда и везде должны хвалить Его...».

В пыльном наследии средневековья, среди невнимательно прочитанных манускриптов, в маргинальной литературе миноритов остался апокриф о проповеди на кладбище. Недостоверная история о каком-то Франциске, который проповедовал трупам и птицам. Стоит ли здесь искать святого из Ассизи? Полагаю, да. В бездумные времена с низким предгрозовым небом эта история становится востребованной.

Елена МОРДОВИНА

(Киев)

1996

Журнальный вариант

1

«В прокуренных февральских двориках этого города снег не падает вниз, не скользит вдоль чугуна балконных решеток по заледенелым простыням, жеваным следам от утюгов, носкам и крашеным подштанникам. Снег отстает здесь, как в вечном чилл-ауте, вихрем снесенный с ошалевших огнями гостиниц и поездов междулесых окраин». (Кац Д.В., 1996).

Кац не останавливал свою мысль на маркировке чугуна и качестве табака, между тем следовало бы заметить, что февраль 1996 года был прокурен табаком «Драм», прибывавшим всю осень в тяжело груженных трейлерах с одесскими номерами. Ветер кашлянул подвальной жестью. «Do it yourself, fucking bastard!» — еще не присыпало снежным тальком мокрые потертости от автомобильных шин на асфальте старого дворика, когда они вошли в город. Не лег еще спать, насладившись вечерней романтикой, відомий болотознавець Кац: он отряхивал веником снег со своих сапог, между делом сочиняя методику преподавания геоботаники на украинском языке, удостоверительно осматривался и вспоминал.

Лебедка кряхтела днем, по цинковой трубе рабочие скидывали битый кирпич, дверь адвокатской конторы

подпирала пластиковая бутылка, над аркой входа слоновыми зубами развеерились брусочки. Он видел такое в Зоологическом музее: один польский князь, представьте, велел выложить зубами тысяч коней и быков пол в своем охотничьем домике... А названий архитектурных деталей ботаник не знал: учительница истории, старая еврейка, всегда в перчатках, рассказывая о рококо в украинской архитектуре, остановилась и сказала: «Мушлі» — «Что?» — «Мушлі... Ах, да Бог с вами: ракушки!». Даже так: «В стилі рококо оздоблювали... — после второго слова она делала паузу и ударяла на «а»: — блювали свої споруди архітектори: Р. Декотт, Ж. М. Оппенор, Ж. О. Мейсонье, Ж. Бофран — у Франції; Й. Б. Неймен, Г. В. Кнобельсдорф — у Німеччині та І. Григорович-Барський — на Україні... сплетіння різьблених і ліпних орнаментів, завитки, розірвані картуші, мушлі...» — «Что?» — «Мушлі... Ах, да Бог с вами: ракушки!».

О другом учителе истории Кац помнил больше: центр образования складок его одежды находился на пуговице ширинки, выдвигаемой им вперед, как бампер «Паккарда», и уже оттуда складки расходились во все стороны по брюкам и свитеру, будто туда бросили камень. Волосатой у него была даже шея и кадык, от него ушла жена из-за того, что он заставлял ее декламировать наизусть стихи украинских классиков: «Чому являєшся мені у сні?» та уривок з «Гайдамаків» про євшан-зілля — «Україно, мамо люба, чи не те ж с тобою стало?», а после заставлял учить это всех девочек в классе.

Вот так и не узнал Кац об особенностях городской архитектуры: мальчиков прямо на уроке Паккард посылал за хлебом и сардинами в масле, а заодно посмотреть, что значится на табличке Софийского собора, кроме «Памятник культуры», выучить наизусть и прийти рассказать. К этому он добавлял, как в давнину использовались

различные методы психологического воздействия: в средневековых городах устные контракты считались действительными лишь до тех пор, пока кто-нибудь о них вообще помнил. И, естественно, чем моложе был свидетель, тем больше была вероятность длительности срока соглашения: бургеры брали в свидетели пятилетних детей, а чтобы они запомнили знаменательность события, нещадно били плетьюми. Таково свойство памяти, говорил он, а коллегам подавал это как педагогический прием, пока его не выгнали за драку со старшеклассниками в радиорубке.

Вот теперь действительно все, больше Кац ничего не знал об архитектуре родного города. Сам он любил проводить мудреную бихевиористическую параллель между своим детством и «известным отрывком из одного из ранних романов Хаксли». Он заметил двух молодых людей, обмакнувших заснеженные тела в освещенный кисель парадного входа. Послевоенный «Москвич» в двадцать три лошадиные силы, таблица с фамилиями жильцов, некоторые выкреслены, как хозяйский кот безалаберным гостем — вон из кресла — замазкой для печатных машинок. Новые не вписаны.

На потеющих ступенях впаривается в снежную стену ржавое дыхание котельной, бабы, случайно забредшей в старый квартал, и труб (войлок ободрал на постель дворник). Но там, где стоял Кац, пар смешивался с исходящим из полуоткрытых дверей теплым запахом жены, ячменного солода, ромашки и семян капусты. Кац, обмякший, вместе с паром выдвинулся к снегу из своего отвара, осаждался и медленно, каплями, стекал по булыжным приступкам.

Ботаник был очень рассержен, когда его прервали на Турнефоре, покорявшем Апарат с целью выяснения его поясности. «Do it yourself, fucking bastard!» — девушка

выхрипывала из себя смех и спотыкалась через каждые несколько шагов, словно оторванная марионетка. «Ты опять хочешь начать? Я же только попросил! Только попросил... Ничего больше». Череп стянут мокрыми черными волосами, прыгающими канавками в вельвет куртки... Velvet sp., Velvet underground... Нет: Velvet — это бархат. Бархатный сезон андерграунда отошел уже двадцать пять лет назад... «Только попросил? Да ты думаешь...» — она снова закричала, и с ее хрипом до Каца донесся запах подвала, покрышек «Москвича», бабы, труб и войлока. Так хрипят дельфины под барбитуратами. Автоматизм дыхания дельфинов не настолько отлажен, чтобы дыхание продолжалось под наркозом: их подключают к аппарату искусственного. И под наркозом они хрипят, с барбитуратным надрывом вздергивая плавниками.

Болотознавец Кац сурово покосился на светящиеся окна прачечной и крепче сжал веник: «Ребъята, тыхише! Бо нич вже!». Голос воткнулся в снежную подушку и остановился, пропал в пуху куриным пером, рыжим и случайным. Во двор ворвался ветер, и подвальная жесть гремела уже немолодым негром в коттонклабовом белом мясе.

Череп стянут мокрыми черными волосами: когда он отворачивается, вздувая шейную жилу, взгляд его меняется, как в поисках сигаретных старух, козлошалою площадной мебели выселенных кварталов, с лицами President (красно-синие в звездочку) или Gitanes (нежно-голубые), по вкусу потребителя. Взгляд ломается о несуществующие сигаретные киоски, и, горбятся через «Москвич» и окна нижних этажей, пытаюсь взобраться по водосточной трубе, тонет в снегу.

Он поворачивается к девушке с мягкой улыбкой: левый угол рта уже успел натянуться, когда, по мере поворота, дернуло вверх и правый. Она этого не замечает.

Она, наверное, думает, как он внимателен. Загорелый лоб, рот. Слова падают и чернилят асфальт, словно шелковица летом, когда в черных лужах опиваются и жиреют воробьи, разминая в ложнокостяночную лужу отражение бурого трещиноватого ствола.

Рот, классический, как восьмигранная мраморная пепельница (или плевательница?)... Губы немного подрагивают от пара. Он остановился, повернул ее лицом к себе и встряхнул за плечи: «Я не понимаю, может... — отвисающие от масковых улыбок защечины, но он может любить глазами, косо взрезанными к вискам, как у траккенского переростка, — ...нам не идти никуда?» — «Нет, но тогда я только попробовала этот собачий корм, ничего же не случилось?». Она растянула в улыбку потрескавшиеся рыжие губы. Он пытался разглядеть хоть поскребыши чувства в ее глазах, но до самого илистого дна их, до заржавленных труб, прободающих ослизненные зеленые стены, глаза казались пустыми и наглухими.

Она делала вид, что ничего не понимает, стирала снег с лица, отворачивалась в сторону и с открытым ртом разглядывала фонарь. «Ладно, думаю, Шура накормит нас чем-нибудь. Только не давься, как голодная сучка, прошу тебя». Было в нем что-то обугленно-лисье: кончики лап, ушей, углы глаз и этот ромашково-солодовый запах, дико скачущий по вельвету весенней пахоты...

Заметив, что за ним наблюдают, он потушил сигарету. Поскрипывая, исчез за дверью и больше не появлялся. Именно тогда он решил, что в феврале вечернюю романтику следует ограничивать десятью минутами после ужина вместо осенних пятнадцати, хоть в этом и есть определенный риск нажать себе несварение желудка. Окна прачечной! Вот уже много лет ничто не могло заставить его — ни снег, ни денежная реформа, ни лопнувшие подвальные трубы с горячей водой — сократить вечернюю

романтику и окна прачечной до десяти минут. И только ночь знает, как тяжело вздыхал бессонный ботаник, заваривая чай, подбадривая Турнефора на пути к вершине Арарата и проклиная весь конец двадцатого века, всю его шумную молодежь и весь этот законный снег. Солодовым пятном он... И больше не появлялся.

Продвигаясь между дебелим снегом, вязаными черными шапками с мышастым отворотом и мелкополосчатыми свитерами завоза семьдесят восьмого года, он пытался высморкаться и обугленным краем глаза наблюдал, как девушка поднималась к двери, в двух шагах от которой рос тополь. Строители оставили под деревом лебедку.

Оранжевая краска с редуктора облупилась, и, хотя она была покрыта листом фанеры и придавлена кирпичом, лист этот оказался с трещиной и раскололся, снег зарельефил канатные витки. Ведра, мятые и в известке, оставляли подвешенными у балкона верхнего этажа. Взгляд съезжал по канату, дальше по склону и крышам, набросанным, как в пьяной карточной игре, теми же строителями, скакал по хмурым вазонам венчающих карнизов и терялся в снежной мгле...

2

Брентон извиняется за то, что беседует с ними на лестнице и не может уделить много времени. Он очень изменился с тех пор, как поступил в это агентство. «Вчера встретил Соню. Она купила такой же берет, как у тебя. Спрашивала о тебе. И вот ты появляешься. Она мне рассказала свой сон. Ты догадываешься, кто в нем участвовал и в каком качестве. Я тебе перескажу... Потом». — «Почему потом? Давай сейчас». — «Два известных тебе лица... Ну, нет, потом, заходи в мастерскую...» — «А те фотографии получились?..» — «Пленка почти вся засве-

тилась, но как раз те кадры получились». — «Так что сон?» — «Я тебе потом расскажу, короче, море, сам понимаешь, выплывает она из моря, ногами вперед...». Проходит американка, гортанит и шевелит джинсовыми ягодицами. Шахта лифта, табличка «Perekhid Media». На улице прорвало снегом и уже стемнело. Он выходит раздраженный, останавливает спутницу и всматривается в ее глаза. «Что ты там ищешь? Любовь? Ее можно сыграть...» — «...» — «...Я устала от твоей мистики, от твоих загадок, от твоих Сонь...» — «Ты устала? Ты уже устала? Тогда чего ты тут стоишь? Вали отсюда! Это мертвый город, здесь ничего не происходит, здесь миллионы шестеренок, но они не работают, потому что одна из них сломана, и у меня такое чувство, что эта шестеренка — как раз я...».

3

В квартире Шуры двери были сняты с петель.

Они дважды бегали за водкой и заодно выгуливали собаку, кобеля, которого теперь зовут Салт. Он ест яблоки, ему три года, он черно-красной масти и с обрубком хвоста. Странно смотреть на него, когда он пытается махать хвостом, которого нет. Он спит где угодно, особенно в больших кожаных креслах. «Когда он попал к нам, его звали Доллар, а уже будучи Салтом, он подрался с собакой по кличке Бакс...».

Когда они целовались, Салт стоял смирно, не дергал поводок и вообще делал вид, что размышляет о бренности бытия. Ночной центр города, улицы пусты. Светятся аптеки и зеркалятся будки охранников посольств. «На Богдана Хмельницкого всегда ветер, ты знаешь, в этом городе ветер дует только в определенных местах и только для определенных людей». Всегда ветер. Это видно по

волнам снега на асфальте. Она в распахнутой шубе, бежит за собакой и хлещет рыжими волосами при поворотах. На нее засмотрелись два молодых человека в пальто, которые тоже что-то покупали в ночном киоске. Собака пыталась заглянуть в окно гастронома, сначала со ступеньки, потом, определив, что рост ей позволяет, прямо с асфальта, но там были только синие советские весы идохлые мухи.

Они опять шли по улице, попеременно играя с собакой и целуясь. У Шуры дома много всяких штучек с запахом. Шура вспоминает рассказ, в котором описано, как женился гусар, он прочитал его в сборнике английских новелл. А поздно ночью, когда те двое съели яичницу, они завели разговор о своем о мужском, типа: «Я сейчас трахнул бы бабу, только снег сухой, совершенно сухой снег идет сегодня». Потом рассуждали о поэзии... Она села на матрас. За ним в кучу свалены были флейты, а на матрасе, горячий от бронхита и пьяный, спал ее возлюбленный. Она села так, чтобы не мешать ему, и открыла книгу...

4

По городу проходят тенями желтые девочки с прилизанными желтыми волосами в желтых гольфах и блестящих серебряных куртках, как пустые банки от ХТС, их носит ветром от вокзалов и найт-клавов. Они умеют танцевать. Они просто великолепны, когда танцуют и щебечут...

«Ну, ты же знаешь, скоро утро, сама понимаешь...».

Они достали фломастер с запахом клея «Момент» и рисовали им на стене, на зеркале и на полу. Они ели воющий рис с соусом, Дзы вырезал трубки из вишневых веток и кричал в телефон, что «она плохая актриса», утюгом на теплочувствительной бумаге и паяльником разри-

совывал длинные свитки, где одуванчики растут из курительных трубок. У него портативная печатная машинка на постели, куда он не пускает собаку, на ней он печатает стихи: «рельсы лижут поезда перед шпалами и за». Он работает на радио. У него есть альбом «Москва–Берлин» с лысым портретом Маяковского, но нет гвоздей, и поэтому он не может подбить дверь войлоком, чтобы ночью не сквозило. Пришлось снять ее с петель. Есть Санта-Клаус со срезанной крышкой черепа. Если нажать ему на живот, он играет детский похоронный марш. Еще есть рояль, много керамических и хрустальных пепельниц и старая лошадка без колес.

5

Жена Нью-Йорка уехала в Америку на заработки. Оставила ему квартиру прямо над гастрономом и телевизор. Недавно прислала джинсы. Нью-Йорк макает кружок сардельки в горчицу и рассказывает, что за два месяца прочитал восемьдесят книг. Сейчас перечитывает роман о голоде. «Когда читаешь его, ты чувствуешь голод... Нет. Лютый голод!». Он налил им похмелиться. Потом валялись на лестнице, и была почти весна. Она лежала своей рыжей головой на его сумке, а он — на ее животе, и смотрели в небо. Это единственное место в городе, где нет проводов и видно чистое небо. Мимо проходил дед с малышом, улыбался и что-то ему говорил, а они просто не могли двигаться от алкоголя в ослабевших телах, как весенние змеи от холода, не могли дышать легкими и оба задыхались от бронхита. Он предложил ей бронхолинтин. «Правда, там эфедрин... Ты потом и на реальный эфедрин подсядешь, если будешь со мной встречаться...» — «Я и без тебя подсяду на эфедрин». — «Как себя чувствуешь?» — «Earle Thompson. No Deposit. Sometime

you feel like a bottle sitting by itself; no return, just empty; ready to be thrown away». — «А у меня водка уже все сняла, так светло». — «Нет, мне хватило томатного сока». — «Нет? Почему ты начинаешь с "нет"? Тебе пора привыкать к позитивному мышлению. Помнишь тот бутерброд с маслиной? Мне его сейчас не хватает!» — «Какой?» — «Неделю назад, помнишь, мы, купили хлеб, сыр и одну маслину за десять копеек на Лукьяновском рынке?» — «Наверное, ты был с кем-то другим», — «Не исключено. Я и людей многих не помню, и вообще всю эту осень и зиму. Только не говори, что это уже алкогольная амнезия: этой весной я только еще жду похмелья, у меня его до сих пор не было, я беспрерывно пил».

6

Она рассматривает себя в утреннем зеркале и пробует на движение, как новорожденный ребенок. На кресле разбросано белье (в любом случае, она решила, что надо принять ванну), чехол от бас-гитары и кукла, негритенок с волосами, поставленными в ирокез силикатным клеем. На шее у куклы ожерелье из красных отравленных семян кукурузы, точнее, не красных, а сердоликовых, с желтыми прожилками и папюсовыми тенями со скипетрами.

Ей захотелось нарисовать себя, но рыжего цвета не было, и она начала расчленять себя на фракции, от легионерской до мазутной, начав с каркасной индейской женщины со смолистыми волосами, затем подняла лицо к солнцу — и ярко-желтое солнце орельефило лицо женщины, густо растеклось по скулам, и лилось дальше по винтовой лестнице пятен женских лиц, больших и маленьких, в булавочную заколку центральной маленькой японской женщины; индейская женщина, она же —

женщина с чемоданом, в чью голову из смолы и солнца впрессовывалась труба Уинтона Марсалиса, отблески завитков ее были двумя большими крюками, которые впились в ее солнечный мозг, к другому концу трубы присосался сам фиолетовый Уинтон с фиолетовыми пальцами и ваксово-коричневым катком волос, фиолетовые отблески оправы его очков расползались по шелковичным щечкам нижней параболической девушки.

«Contemplating jazz», — сквозило в ее голове, на щеках жильными нитками вышиты были лабиринты индейских богов. Красное индейское лето. Dark skin's her only disgrace. И та, что шампанскими пузырями взлетала вверх, пушистая и мягкая с пышными плечами апси-дейзи, с сердоликовыми мягкими губами для кокосового шоколада и поцелуев, упругими щечками и желтыми липоцветными завитками, ниспадающими на оголенные плечи, та, что раздваивалась и картонно просвечивалась, скрещивалась с короткими картонными волосами картонной девушки-экстази, суховейной, как пустынный цвет ее волос. Голова апси-дейзи мылилась и шампанилась пузырями, солнечными и радужными разных цветов, линии не завершались, пузыри то лопались, то возникал медлительный персонаж мультфильма с небритым собачьим обрюзгшим лицом, длинными черными ушами, мешками, полными глаз, в фиолетовом цилиндре и фраке, и даже с тростью, рядом с которой солнечным диском по траектории бумеранга влетела ковбойская шляпа и под ней ковбой с грустными глазами и ружьем, в грубом фронтирском коричневом сюртуке, а из шампанской головы апси-дейзи торчала краснополосая трубочка для коктейлей, пересекалась с тростью и гармошкой сгибалась для губ. Вуд ю мерри ми? Из чьего пузыря, из какого мультфильма лилась эта фраза, ей было непонятно, но она уже была в мираже свадебного платья, на котором люминес-

центно светилось название этого комикса, фиолетовыми прожилками тянущееся по лицу картонной девушки, стенда возле ресторана или продающей желудочные лекарства возле аптеки, этот цвет стекал по гладким стенам космодромной гостиницы, сквозь звезды лопнувших пузырей апси-дейзи, холодные стены высотного здания, пустоглазые подпорки для рекламных щитов... И красные плечи ее, и бритые подмышечные впадины танцевально выворачивались в горы, где сидела маленькая японка и красно-черный портрет ее мужа, она в красном халате и черных волосах, над ними свиток с иероглифами, как стоячие, воткнутые в землю мечи с развевающимися на них кишечными лентами. Пэрис. Парабола, срезающая отзеркаливающиеся красные сосцы, разметки по абсциссе и ординате... И все это была она. Она чувствовала себя ими всеми, и это пугало ее больше всего.

7

Он часто приходит погреться на бесплатные сеансы в «Киев». Светловолосый мальчик с ободранным носом, в помятом синем спортивном костюме, похожем больше на пижаму, из горловины которого выглядывают воротнички двух рубашек (февраль). Сегодня зашел через пятнадцать минут после начала фильма с пареньком постарше. Ему самому лет десять. Он зашел с бутылкой джин-тоника, уже довольно пьяный, и, отклонив просьбу старшего оставить ему немножко («Пошел нахуй, пидорас, блядь»), присел рядом. Старший покорно смолчал. У младшего в двух местах проколото ухо и вставлены колечки. От них пахло селедкой. Усевшись, он первым делом спросил: «Вы не будете возражать, если мы тут поедим селедку?» — «Нет, пожалуйста... А уши больно было прокалывать?» — «Да, вы знаете, пирсинг — это

довольно болезненный процесс...». Он достал бумажный сверток и аккуратно распаковал на соседнем кресле. «Что это за селедку ты набрал?» — «Ешь, сука, что дают, и не перебирай... Не хочешь, я сам буду есть». Он поглощал селедку, по глотку запивал ее джин-тоником, уставившись в экран, икал и повторял: «Ой, извините», — не отрываясь от сцены, где бернардошоувский профессор работал с фонографом. Поужинав, он смял бумагу и выбросил ее назад через плечо в полупустой зал, явно пытаясь произвести впечатление... «А как вы считаете, это хороший фильм?» — «The rain in Spain...» — «Красивый. Это означает, что он хороший?» — «Я вот вчера фильм видел... У вас не будет сигареты? Курить хочу, бля...». Он становился пьянее и пьянее, дрожал, свернулся в кресле и в итоге объявил, что фильм скучный. «Не подскажите, который час?» — «Восемь десять», — «Скажите, когда будет без двадцати девять?» — «Хорошо». Через каждые пять минут он спрашивал, который час, и просил сказать ему, когда будет без двадцати девять. В его состоянии время движется совсем по-другому. «Ты домой не опоздаешь?» — «Нет, я здесь рядом».

8

Старуха с пятном зеленки на платке у левого глаза втискивалась в трамвай, оставив снаружи только зад и опершись на пакеты с портретом Синди Кроуфорд. Трамвайные двери так чуть не прищемили ей гузно.

Он обратил внимание на то, что в городе появилось много нищих, собирающих макулатуру, они передвигались, груженные картонными коробками, в направлении привокзального моста, где расположился пункт по приемке картона, похожий на заводской гараж.

Слева возникла тень дома с пустыми, залитыми светом прямоугольниками окон, сквозь которые прорастали

деревья. Тени перерезали бетон портиков по диагонали, и зеленое пятно светофора ползло в крайний правый угол неба, по дуге, как сигнальная ракета.

Трамвай ехал быстро: левые солнечные стены домов, рассыпая желтые брызги, хлопали по его щеке, как жабры вынутой на сушу рыбы, позвякивая кирпичной чешуей по картонной декорации ковбойского голливуда, дома защелкивались секретными файлами, один за другим.

По стенам домов будто прошлись рубанком, и балконы закрутило свежей стружкой. «Belle Epoque» при ближайшем рассмотрении оказался магазином бытовой техники. Орали вороны.

В потолок нижнего зала кафе маленьким пятном вмонтирован кругляк лампы, свет, отражаясь от разбавленного портвейна, лепился тремя рефlekсами от стаканов на потолке (соседний столик) и расплескивался рекламными девицами в мыльной ванне. На входе пожарный кран, дважды изогнувшись, открыл забитую конфетными бумажками пасть как раз под стеклянным щитом, как музейный экспонат анаконды.

9

Утром все в розовом цвете субъективного и полное забвение. Дом-колодец на Терещенковской с гулкой подворотней. Высокие потолки и антресоли из досок. «Сидеть в этой позе, когда удерживаешь равновесие, все равно, что спать на антресолях и чувствовать, как под тобой ничего нет». Все замкнуто в этих стенах. Люди низкого роста, бледные и сгорбленные, боятся свежего воздуха, мороза и движения. Красные стены, как в пожарной комнате. «А почему здесь красные стены?» Никто не знает. «Так всегда было, я знаю только, почему эта стена бе-

лая: соседи из дома напротив, вон в том окне, жаловались, что по ночам, когда у нас включается свет, до них доносится жуткий, дьявольский хохот, и они попросили перекрасить стену в белый». Лампа на длинном проводе, почти до середины между полом и потолком, создает ощущение придавленного комфорта, но при малейшем дуновении ветра из окна появляются резкие длинные качающиеся тени. За окном снег, мирные скаты низлежащих крыш, черные мешки под трубными глазами, тушно растекающиеся по вечерам от дыма. На окне блюдо, залитое золотистой блестящей краской, чтобы расписывать глиняных метростроевских ангелов, кисти, золотистая фольга, нарезанная треугольно и всяко. Над столом картина с человеком у пруда, мирная окраска молочного какао, бледно-оранжевые, желтые, светло-зеленые линии, стеклянно-рождественски позванивая, расплюснутые и стеклонадутые по центру, в виде подвесок шаманского костюма, и релаксирующие цветы, выражающие извечную тоску по царству покоя. Но ощущение, что все здесь изложено опарышами: люди, кошки, залитая борщом газовая плита и даже глиняные ангелы. Справа от картины — окно в туалет, периодически зажигающееся. Кошка этой ночью опрокинула Гайдна. Бюст Гайдна стоит в одной из комнат. Под батареей — чашка, и в нее по ржавой марлевой тряпице сползает вода... Мелькающая иногда мимо дверей опухшая приживалка с варикозными ногами, замотанными в три слоя шерстяных чулок. «Пожалуйста, потише, Таня спит». — «Там у них еще три женщины, ты их не знаешь, они немного выпили и очень устали». Нет, началось все не так. Компьютерный гений, уродец с мистической лысиной над очками, точь-в-точь такой же, как в мультфильме про Чипа и Дейла, не очень старый, низкого роста, брюки на ножках, как на палках, свисают, свисают — и усики, и очки, и лысина сморчковви-

того плюгавчика, его почитают за гуру и позволяют мыть ноги в раковине, слушают и помнят каждую фразу — и очень стыдятся, если он чего-то не одобряет.

10

«У вас здесь один хозяин?» — «Да», — «Тогда пройдемте, посмотрим». Это соседи снизу, причем это коммуналка — и каждый раз приходят новые. «Вы слышали шум в четыре часа?» — «Нет», — «У нас обвалился подвесной потолок». Это Гайдн. «Сделайте нам хороший пол, и тогда у вас будет хороший потолок». Соседи ушли ни с чем. «Однажды мы сидели без денег, и у нас прорвало трубу. Я говорю: “Ксюша, сейчас затопит соседей снизу, и они нам такой счет предъявят!” Я иду к ним и так и заявляю: “У нас прорвало трубу, и если вы не оплатите работу сантехника, мы вас затопим”. У нас здесь такая энергетика, что скоро будут прибегать соседи снизу и говорить, что у них отрывается паркет и прилипает к потолку». Кошка ходит по кухне: по газовой плите, раковине, столу, тихо и аккуратно. Ее блюдце с водой под подоконником. Ищет еду. Она всегда голодная и ест даже хлеб. Глаза у нее стеклянные, кукольные, как у них всех, никакой живой искры. Чайник, голубой с цветочками на боку, всегда на большом огне и всегда кипит: здесь всегда время пить чай, и над плитой всегда веревка с бельем и носками. «А время вообще есть? Или его нет?». Единственные живые впечатления у них были от детства, пока они не совсем законсервировались, а теперь они ищут их в себе, выжимают размягченную сопливость, имитируют детские голоса, делятся первыми опытами неприличного с добавлением всех этих виктюковских фокусов, наигранной таинственности, и все это выпаривается из них, как у ребенка с бессменным памперсом, преющего в собственном соку.

На окне обрезки зеленой бархатной бумаги. Все разбросано, как в детской, и вообще, впечатление всепоглощающей детской, разросшейся раковой опухолью, и жирного сладкого рождества. «Вы опять выбрасываете книги?» — «Да нет, мы делаем маски. Ножницы подай, там в шкафчике, выбирай любые». Она сжала рот, выпустила глаза и зашевелила скрюченными пальцами. Она отождествляется с новогодней маской. Огромные лица из папье-маше, разных цветов и форм, сзади пышно-складчато убраны гипюром. Она представляла маски. Первая: огромное лицо с тремя носами и четырьмя глазами, два центральных прорезные, лицо ничего не выражающее, вроде холодца, но от этой млявости делается страшно. Зеленая с длинным острым клювом, и вместо ушей — яблоневые листья. Это леший. Еще страшная черная маска, «баба со штанами на голове».

Маски делались для очередного Витиного предприятия. Денег у него не было, и обсуждался вопрос о том, отдавать ему эти маски или продать на Андреевском спуске.

Чайник для заварки, похожий на поросеночка, на четырех коротких ножках ручной работы, переходил из рук в руки. «А ты помнишь Светочку из Черновцов?» — «Помню, как не помнить», — «Я привезла фотографии, правда, от вспышек пятна. Это она сама с куклой Моцарта. А вот работы. Это игуменья. Тут игуменья гуляет с пансионными девочками. А это игуменья ловит рыбу. И маски мы тоже отснимем, а потом продадим».

Жители этой квартиры — словно экспонаты миног и миксин. Бледные срезы, личинки разных возрастов, вывороченные легочные пузырьки. Много лет они пролежали в формалине, кожа их отслаивается, морщинится. Личинки разговаривают. Тошнит от их ласковой трупноты, от серых складок на их лицах, будто вымоченных в формалине...

В кафе между витриной и витой решеткой сидит кошка, смотрит из-за стекла на пса, а из-за решетки ей подадут шкурки от сарделек гастрономные пьяницы, обосновавшиеся за столиком. Кошка с блеском в глазах наблюдает, как развлекается пес, ее тело сжимается и пульсирует в соответствии с движениями извечного врага. «Вот смотри, кошка! — начинает один. — За стекло она выйти не может, и за решетку тоже: если она выйдет за решетку, то ей не будет видно собаку, а если за стекло — то ей нечего будет есть. И она нашла для себя выгодную позицию. У кошки отсутствует воля: она не может выбрать, не может взять на себя ответственность за последствия своего решения», — «С другой стороны, это выгодно всему обществу: она не путается под ногами и не выходит на улицу, ведь кошка на улице — явление вообще антисоциальное: она может перебежать дорогу. Кошка в террариуме — это удобно». — «Да я просто хочу, чтобы эта война между нашей внутренней кошкой и собакой кончилась. Мозг человека построен сразу по двум принципам: по голографическому и структурному. И они не могут вытеснить один другой, но и не должны воевать, потому что они просто разные, у них нет общего поля боя: каждый воюет на своем собственном с собственной реконструкцией или голограммой противника. Но война продолжается. Геолог, анатом, физик-ядерщик знают так много, что не остается ничего, что могло бы удивить их, впечатлить и восхитить. Восхищается художник, который знает очень мало». — «А Леонардо да Винчи? Знать для того, чтобы восхищаться — вот наша цель...» — с вилки падает маслина. — «Давай перейдем к более пикантной теме: любовь мужчины и женщины... Здесь опять же: либо знание, полное знание, либо чувст-

во. Либо пятидесятилетняя Марлен Дитрих, которую уже ничего не удивляет в мужчине и ничего не может впечатлить, привести в восторг, потому что она знает слишком много, либо семнадцатилетняя девица из пансиона, которую восхищает все, потому что она не знает ничего». — «А ты встречал таких женщин, которые могли узнавать и не терять способности восхищаться?» — «Они играют. Я им не верю. Но однажды в Германии, в баре, где снимали «Небо над Берлином», я видел вокалистку, которая исполняла какой-то индустриальный скрежет, а потом с таким же драйвом выдала «I put a spell on you» — так, что все вспотели. Но это все сцена, маскарад, в реальности этого нет», — «Как ни выкручивайся, все уже сказано: “Choose betwix love and knoledge since there is no other choice”».

В подвал гастронома сносили телячьи туши. Раздатчицы обсуждали новомодное английское коровье бешенство, которое поселяется в мозгу на целых тридцать лет. «Всосать с материнской кровью», — последнее, что донеслось от философствующих пьяниц.

Пластиковый столик в кафе с отпечатанной бутылкой «Пепси» во льду на столешнице. Как у последнего матисса, полстакана портвейна, и полосатый свет от жалюзи рисует склонившего голову возлюбленного, пылинки в лучах света и на волосах, длинных, черных и липких. «Знаешь эту рекламу, как рабочие из ледяной скалы выбивают кирками кока-колу? Вот Андрюша пишет: “Не резинового, живого хочу Элвиса Пресли!”», — «Андрюша хочет казаться Маяковским», — «Сейчас не модно казаться Маяковским», — «Когда археологи найдут твой череп, они заключат, что ты едва мог членораздельничать, только научился владеть топором и ходить на двух ногах», — «А из твоего сделают пепельницу и на лбу напишут “но смокинг”».

Фонарь с козьими ушами и прожженная дыра в доске, железки, на которые укладываются брусья, которых давно уже нет, а о железки можно разбить голову при драке, бутылки с отбитыми горлышками и смятыми пластиковыми стаканчиками. Дерево с полукруглой каменной стенкой для ограждения от ливневых потоков.

Кадр разделен по горизонтали разрушенными зубами зданий, фиолетовой тенью под красным солнцем, в пустом дрожащем небе — два параллельных белых следа самолета, скатывающийся по ступеням пустой пакет от молока, три красных, луком изогнутых ветки бузины: маленькая, средняя, большая, перештриховывают от подножий домов до неба, на черно-белой — собачьими глазами — пленке дома черным массивом перебраны солнечными, словно хрустальными, ветками, луком простреливающими горные силуэты домов. Ветки распирает энергия, междоузлия, будто коленчатый вал: плоскость-ребро, на концах похотливо выглядывают губы почек. Но все начинает золотиться, если присесть и заклонить перилами глаза от солнца, и внизу по деревянным ступеньках уже ползет слизевик. С Подола, откуда в пять часов доносится звон колоколов, завывала сирена.

Седой старик говорит девице на заднем плане, что все должно быть в порядке, если есть вино. Себе он заказывает коньяк. Вережит кассовый аппарат. Обмерзшая груша, желтая пивная пробка и собака с отвисшими сосками и лишаем.

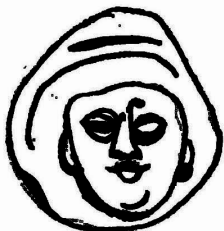
Они вышагивают по фундаменту Десятинной церкви, ветер мягко скользит в волосах. Ветер влажный, как в приморском городе, люди в распахнутых пальто заскакивают в гастроном. Небо было чистым, грачи кувыркались в воздухе, а когда она пришла — посыпал мокрый снег

с дождем. Сигареты Gitanes и кафе с видом на Париж, мостовая, тротуары, под прямым углом изгибающиеся в здания с цветочными горшками на решетках карнизов. Красные пластмассовые жалюзи, полукруги столиков — все напоминает скорее массандровский винный погреб. Остановилась машина. Вскоре зашел человек с оцинкованным лицом и спросил, сколько будет стоить самый дешевый бутерброд. «С креветками сорок семь копеек». Искусственные цветы свешиваются с широких подоконников. Рядом говорят о японской скульптуре.

«Собаке дают звуковой сигнал. Если она на него реагирует определенным образом — получает подкрепление. То есть ее учат сначала реагировать на этот сигнал. Вы в своих отношениях с женщинами пока усвоили только это, и все игры построены только на этом знании. А я же тебе говорю, что есть продолжение этих опытов, до чего еще не многие из вас сумели дойти: собаку учат различать частоту звуковых сигналов. Смотри: ей всегда давали сто сорок герц, но это было не важно, теперь ей дают пятьдесят, она реагирует как на сто сорок, за это получает электротоком, она не понимает, она ошарашена, и только после нескольких повторов до нее доходит, что теперь ее учат совсем другому фокусу — и начинает реагировать только на сто сорок герц. Зачем останавливаться на начальном эксперименте? Ты научил ее реагировать на звук, теперь тебе придется научить ее различать пятьдесят и сто сорок». — «А ты сам, вот кто ты вообще такой есть?» — «Вообще — это относительно кого?» — «Относительно меня». — «Относительно тебя меня нет».

Весна. Обрезают тополя. На солнце эти тополя выглядят особенно уродливо. Он подбирает с тротуара срезанную ветку омелы и поднимает над головой. Целуются под ней. Жесткая двуллопастно-разветвленная конструк-

ция, словно прорезиненная. Для него все отражается названиями архитектурных элементов, цветов и категорий людей, завернутых в ткани, тоже имеющие названия, фактуру, но они мертвые телевизионные дети, лишенные слов в этом городе: их кидает по собственным ассоциациям, когда они пытаются что-то объяснить, их первичные ассоциации тоже не совпадают, и это уводит их в объяснениях все дальше и дальше, и они так и не начинают понимать друг друга.



ЭССЕИСТИКА



Борис МАРКОВСКИЙ

(Бремен)

«И РЕКВИЕМА МЕДЬ...»

(Из записных книжек)

Мне Моцарт что-то обещал...
С. Илличевский

* * *

Вдруг вспомнился (совершенно некстати) эпизод из фильма «Женщина в желтых кроссовках», который посмотрел накануне:

Столик в кафе.

Мужчина и женщина. Оба немолоды.

Мужчина:

— Чем вы занимаетесь?

Женщина:

— Пишу роман.

— О чем?

— О правильной стимуляции клитора. Мужчины в этом ничего не смыслят.

* * *

Я открываю тяжелую двойную дверь и погружаюсь в душный полумрак чужого жилища.

Две комнаты, большая неприбранная кухня. Рассыпающаяся на части мебель. На подоконнике — транзистор образца 1967 года...

Квартира нафарширована книгами. Даже в туалете — какой-то справочник. Тут можно найти абсолютно всё: от полного собрания сочинений Диккенса до 6-ти томов Майн Рида (правда, в другом шкафу и в другой комнате).

* * *

Опоздав на двадцать минут, Вероника выныривает из метро. Я вручаю ей розу, и мы отправляемся в кафе с «египетскими фресками», расположенное неподалеку (раньше здесь было казино).

Не успев войти, она вдребезги разбивает стакан с яблочным соком.

— Хорошо, что не виноградный, — шепчет она.

Я пытаюсь отвлечь ее от мрачных мыслей:

— Послушай анекдот... Больной на приеме у врача. «Доктор, что со мной? Куда ни ткну пальцем — в бок, в сердце — везде адская боль...» Доктор: «У вас палец сломан!»

Вероника вежливо смеется.

Я исподтишка люблю ее нервным, чувственным ртом, потом вдруг (непонятно, почему) вспоминаю еврейский квартал в Париже, где мы год назад бродили с ней под дождем...

— Париж... — говорит она, как будто читает мои мысли. — Я себя тогда ужасно чувствовала. Всё было, как во сне...

* * *

Камень, брошенный в реку...

Круги по воде...

— Мне вот эту, зеленую.

Усталые глаза — из зеркала — не мои глаза. Какая-то чепуха. При чем здесь шляпа?

— Нет, не беру...

...Цветы-великаны. Лес одуванчиков. Белые панамки.

— Пойдем на вал. Смотреть, как поезда...

Поезда — мимо. В голубую мглу. Ромашки и поезда.

— Пойдем на вал...

* * *

Я — Иконниковой (в шутку):

— Да на тебе пахать можно. Ты здорова, как бык...

Она:

— У меня два диагноза...

Как-то спрашиваю (по дороге в гастроном):

— Иконникова, что-то никак не пойму: ты умная или глупая?

Она (не задумываясь):

— Я несчастная!

* * *

Мама сидит напротив, все еще красивая, восьмидесятивосьмилетняя. На ней синий шелковый халат. Мы пьем кофе. В этом году необычайно ранняя весна. Термометр за окном показывает +18.

— Когда ты вернешься? — спрашивает она.

— Дней через десять...

Мы оба знаем, что я говорю неправду.

* * *

В Мюнхене на первом съезде русских поэтов, живущих в Германии, куда я попал по недоразумению, некий автор, с которым до этого мы общались только по телефону, сказал: «Я думал, у вас горб, все редакторы — горбатые...»

Ему так понравилась эта шутка, что он повторил ее несколько раз, разговаривая в буфете с одной довольно известной (в эмигрантских кругах) поэтессой.

* * *

...Я стоял у окна. Сквозь частое вздрагивание листвы
я вдруг увидел брата, уходящего все дальше и дальше...
Несколько раз он останавливался, и тогда мне казалось,
что он смотрит в мою сторону.

* * *

Из стихов Н. Курилко:

Данута,
мой ангел бездомный,
я остаюсь все такой же:
четырнадцать шагов
наискосок
по шумному залу
с бокалом шампанского,
и на губах
лепестки
помертвелой
сирени...
Данута,
проворный чертенок...

* * *

Позвонила К.: «Последний номер¹ просто ужасный...
Хуже еще не было. На каждой странице — похороны...»

З. о том же: «А почему у вас в стихах постоянно гово-
рится о смерти? Вы что, больны?»

Конечно, болен. Разве здоровые люди пишут стихи...
В лучшем случае — плохую прозу.

В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин...

¹ Речь идет о журнале «Крещатик».

* * *

Бульдог по кличке Гонкур.

* * *

Некто Г. в юности сочинял стихи:

Да разве можно говорить о снах,
Когда такое на дворе творится,
Что улица написана в стихах,
И кто-то странный в белое рядится...
Кто суматоху поднял среди крыш,
На горизонте вычертил деревья...

Теперь он работает на телевидении.

* * *

«Когда моя сестра еще не заболела болезнью Боткина, мы с ней играли на рояле в четыре руки».

* * *

При слове «Бог», как и при слове «контрацепция», меня передергивает.

* * *

Нимб порой напоминает мишень.

* * *

Где-то у Оскара Уайльда: «Я сегодня неплохо поработал: убрал лишнюю запятую».

* * *

После Жюль Ренара (его дневников) на протяжении долгого времени не мог заставить себя читать прозу — казалась громоздкой и неуклюжей, — пока однажды (в который раз!) не открыл Диккенса.

— Ты ведь еще помнишь те времена, когда двойная половинка стоила всего восемь копеек? Помнишь? «Бульонка»... «Латинский квартал»... Вечно пьяный Соханевич... Гроза Крещатика — Шаповал... Баба Лена, скупщица краденого:

— Ну, и сколько ты хочешь за цю фигню?..

Помню, как впервые попал на Крещатик. Принц знакомил меня со своими друзьями.

— Это кто? — спрашивал я у него после очередного знакомства и очередной бутылки вина.

— Стукач.

— А это? — спрашивал я через полчаса о ком-то другом, с кем тоже было выпито немало.

— О-о, это большой стукач, — терпеливо объяснял Принц.

Сплошные агенты КГБ.

— А это кто? — уже под вечер, в какой-то подворотне.

— Это гениальный поэт, Николай Курилко.

— А что он написал?

— *«К чему мне равенство, когда я одинок!»*

— Это всё?

— Всё.

— А еще что-нибудь он написал? — мне как-то не верилось, что этот малый с кривым лицом, с которым мы только что выпили бутылку водки — гений.

— Еще?

— Да. Что он еще написал?

— Еще он написал стихотворение «Горы».

— Прочти.

— Оно очень короткое...

— Тем более прочти.

После долгой паузы:

— *Безмерным озарен!*

Сам Принц — не то художник, не то поэт.

Как-то договорились встретиться на Главпочтамте. Я прождал его полчаса и ушел. Через несколько дней случайно оказался на том же месте. Навстречу Принц:

— Привет, старик, ты меня еще ждешь?

Кто говорил о гибели идей,
Кто говорил о гибели пространства, —
Не те ли, чьих подкидышей-детей
Увидел я под крышей христианства?¹

Ну что ж, пророчества поэтов сбываются!

...Помнишь, Принц, как мы поднимались к Стефану в его мастерскую, туда, на седьмой этаж, на «седьмое небо», где вечно пьяный Поливанов колдовал над бюстом «вождя и учителя», а Стефан шурил хитрые глазки и торжественно, нараспев, словно заклинание, произносил волшебное слово: «заказчик»? — нет ответа!

Примерно в это же время Л. Аронзон в Ленинграде пишет одно из лучших своих стихотворений:

Несчастно как-то в Петербурге.
Посмотришь в небо — где оно?
Лишь лета нежилой каркас
гостит в пустом моем лорнете.
Полулежу, полулечу.
Кто там полудетит навстречу?
Друг другу в приоткрытый рот,
кивком раскланявшись, влетаем.
Нет, даже ангела пером
нельзя писать в такую пору:
«Деревья заперты на ключ,
но листьев, листьев шум откуда? —

¹ Из стихов А. Принца.

дата написания, предположительно: ноябрь 1969 года. Впрочем, о существовании Аронсона (и о трагической его судьбе) я узнал много позже.

По утрам похмелялись в «Гроте»; пьяный Мотрич нависал над собеседником и говорил всегда одно и то же:

— Хотите, я вам хорошие стихи почитаю?

Он был родом из Харькова. Несколько лет жил в Киеве. Читал трагические стихи:

Ночь длиннее, чем жизнь, я лежу, опрокинутый звуками.
Темнота, будто Вагнер, аккорды бессмертья берет.
Возвращайся, душа, пробирайся ко мне переулками,
Я — твой лагерь, пусть радость тебя захлестнет.

Я — сгоревший твой дом, а цветы не растут на пожарищах.
Только пепел да гарь, только ветер в пролетах свистит.
Мы жилища найдем, мы забудем бежавших товарищей,
Ночь, играй, теснотой сжимая виски.

Пусть угарно и душно — у Вагнера хватит терпенья:
Струны болью звенят под ударом тугой темноты...
Кто-то новый придет, и подслушает звонкое пенье,
И расчистит меня, и на чистом посадит цветы.

Рядом — Коля-горбатенький¹ с пустым стаканом в руке, с бессмысленной улыбкой на измятом лице, автор нашумевшего стихотворения:

Я геніальніш ніж Гомер,
Бо я живий, а він помер...

(интересно, жив он еще или наконец сравнялся талантом с Гомером?), а также другого, не менее удачного четверостишия:

¹ Киевский поэт Николай Максимов.

Люблю красивых женщин,
А некрасивых — нет.
Ценю в них ум тенденций
И разность многих лет.

Эти «ум тенденций» и «разность многих лет» преследовали меня потом на протяжении всей моей жизни. Еще у него была такая строка: «Моя душа лелеет к облакам».

Разве упомнишь всех!

...Как не вспомнить N, гордость Крещатика тех лет, поэта «во что бы то ни стало», бомбардировавшего издательства своими зловещими стихами: «Конъюнктивит, трахома, катаракта...» — это из больничного цикла.

Помню, как на мой вопрос, кто его любимый поэт, N произнес совершенно для меня не знакомое имя Мандельштама.

Стояла поздняя осень. Мы прогуливались возле центрального универмага, N читал стихи, ветер гнал листву по улице Ленина¹, мне казалось, что жизнь и поэзия — навсегда...

N давно в Америке. Я (кто бы мог подумать) в Германии. И только Коля Курилко по-прежнему живет в Боярке² в полуразвалившемся домике неподалеку от озера, занесенном осенью — листьями, а зимой — снегом.

Молчи, молчи, я песен не желаю,
Сегодня осень, гибели пора,
И бледный ветер сад опустошает —
Не доживет он даже до утра.

¹ Ныне Богдана Хмельницкого.

² Николай Курилко умер весной 2004 г.

Не потревожь же осени печальной
Ни горькой песней, ни рыданием своим,
Пускай листва еще необычайней
Летит сквозь осень, словно красный дым.

Это из его стихов, посвященных Циприану Норvidу.

Именно тогда открыл я для себя гениальную поэзию
Плужника, его монументальную поэму «Галілей», которую
спустя четверть века перевел на русский.

І коли повз кав'ярні, де теплі огні,
В черевиках іду подертих,
Чогось раптом спокійно-спокійно мені —
Чи то жити, чи вмерти...

И именно в те годы попала мне в руки книга Мыко-
лы Хвильового «Осінь», книга, которая потрясла меня.
Позже я узнал, что Хвильовый застрелился 13 мая 1933
года. В 1970 г. (через 37 лет) тоже 13-го числа, но только
в октябре, застрелился Аронзон (скорее всего, аналогия
здесь неуместна).

И вот теперь в Германии много лет спустя я осторожно
переворачиваю пожелтевшие страницы старинного издания
(книга издана в Харькове в 1924 году в издательстве «Черво-
ний Шлях») и с удивлением и благодарностью читаю:

«...І Франція, Париж. Але навіть останній скеп-
тик — Анатоль Франс покинув сумніви. Милий друже:
осінь — то спостереження»¹.

* * *

Москва — тревожный город...

Спали на узкой кушетке среди книг и засушенных
цветов.

¹ Микола Хвильовий. «Осінь». Харків, 1924.

Утром пили крепкий чай. Хозяйка стряхивала пепел в антикварную пепельницу и то и дело цитировала Гумилева.

Вероника методично ела апельсины, я думал о том, что пора уезжать в Киев, потом в Германию. Шел ровный московский снег...

* * *

1955 год. Мама везет меня в Крым. У меня астма.

Я не хочу оставаться. Мы оба плачем. Отвесная стена моря.

Когда вернулся, плел всякие небылицы — о Турции, о папуасах...

* * *

— Двери, мешком накрытые.

— *Что, что, что?*

— Двери, мешком накрытые...

— А ну-ка дай, я посмотрю... двери межкомнатные...

* * *

1953 год. Мое первое стихотворение:

Дядя Вася Калмыков,
Он залез под потолок.

Мне 4 года. Дядя Вася — маляр (запойный пьяница), возможно, татарин.

* * *

Мама поет:

Чайный домик, словно бонбоньерка,
с палисадником китайских роз...

— Еще, еще...

В кабаре Шенуар на Монмартре
В красном фраке танцует мулат...

* * *

Саша-Удав за стойкой в «Крещатом Яре».

— Я скоро умру...

«Разве можно такие слова произносить спокойно-но?» — думаю я.

— Через две недели, — продолжает Удав. — Почки отказали.

Он действительно вскоре умер.

* * *

— Вы не Факторович?

— Нет.

— Ну, ничего, бывает...

* * *

Вчера с Мурашевским и Ядловым сидели на Дерибасовской под чудесным осенним солнцем, говорили всякую чепуху. Мурашевский без конца повторял строку (вернее, обрывок строки), пришедшую ему в голову утром в туалете: «Остывает член...»

— Я обязательно напишу об этом, — приговаривал он, демонически улыбаясь.

Вернулся в Киев и тут же накатыл пародию:

Моя душа — коллизии идей,
фаллически зависших в мироздании...
Вот Штирлиц — горбоносый иудей —
осуществляет важное задание.

Уже оголены мечи,
уже взрываются петарды,
но ты, художник, не молчи,
пока народ играет в нарды.

Сны вещице осуществляй —
на то и созданы аэды, —
не жди признания и твердо знай:
тобой займется логопеды!

* * *

Подъезжая к Санкт-Петербургу, миновали станцию Шушары. От Витебского вокзала прямая ветка метро — сошли на площади Мужества. Там живет Игорь. Явился в двенадцать ночи, пьян и говорлив. Потащил на Невский.

* * *

— Скажіть, коли ви написали свій перший вірш?
— Свій перший вірш я написав п'ятнадцять років тому.
— А над чим ви працюєте зараз?
— Зараз я працюю над своїм другим віршем.
(*На русский не переводится.*)

* * *

Иконникова, собирая вещи и не находя книжки о вкусной и здоровой пище, которую вот уже три месяца таскает за собой в дырявой авоське, озабоченно бормочет:
— Куда я литературу вклала?..

* * *

Сегодня целый день бродил по Киеву. За три часа встретил одного знакомого, и тот приехал из Штатов.

* * *

К Илличевскому меня привел Зорик.

* * *

Всю ночь снилась Немирова. Вчера посмотрел «Сарабанду» Бергмана. За окном ветер. Катя говорит, что ей надоел Бремен, кругом — турки, а у меня в деревне ей хорошо. Мне кажется, я наконец начинаю стареть. Как говорил Сережа Чалый: «Молодость я просрал. Чувствую, что начинаю просерать старость...»

* * *

Лет двадцать тому назад обнаружил у Винокурова в его рассуждениях о поэзии (изданных отдельной книжкой) неточную цитату из Мандельштама. У Винокурова:

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю,
Потому что иной не видал.

У Мандельштама: «**Оттого** что иной не видал».

Казалось бы, невелика разница, но в варианте Винокурова поэзия отсутствует начисто.

...А вчера по ОРТ транслировали юбилейный концерт Евгения Петросяна. Ему, оказывается, уже шестьдесят. В течение нескольких часов юбиляра чествовали многочисленные персонажи «Кривого зеркала», а также Кобзон, Винокур и другие видные деятели отечественной культуры. В конце вечера распоясавшийся именинник приступил к чтению стихов Пастернака и Левитанского. Начал с первого:

О, знал бы я, что так бывает,
Когда **решался** на дебют...

У Пастернака эти строки звучат по-другому:

О, знал бы я, что так бывает,
Когда **пускался** на дебют...

Вряд ли кто-нибудь это заметил. Какая, собственно, разница — **пускался**, **решался**...

Впрочем, стоит ли быть слишком строгим к Евгению Вагановичу, который, в общем-то, к поэзии не имеет прямого отношения, если даже Эдвард Радзинский в авторской телевизионной передаче о Блоке (несколько лет назад) умудрился допустить неточность, декламируя перед многомиллионной аудиторией стихотворение «Поэты». Первую же строфу он прочел неправильно:

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Здесь жили поэты, и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.

У Блока: «**Там** жили поэты...»

Но и Петросян, и Радзинский — прекрасные декламаторы.

И вот что еще интересно: ни тот, ни другой, ни поэт Винокуров ни на йоту не отошли от смысла стихов. Они лишь нарушили строй гармонии.

Не об этом ли писал Мандельштам:

Я так и знал, кто здесь присутствует незримо,
Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье — суета, и слово — только шум,
Когда фонетика — служанка серафима...

* * *

В начале 80-х в Киев приезжал Арсений Тарковский. На одном из творческих вечеров (в Доме художника?)

Игорь Каплиенко передал ему записку. Тарковский записку прочел, но никак не отреагировал. Тогда Капа написал еще одну записку, в которой потребовал, чтобы Тарковский дал оценку только что присланным стихам.

— Хорошие, милые стихи, — несколько растерянно произнес Арсений Александрович.

Речь шла о следующем стихотворении:

Словно хор из тысячи цикад,
Монотонно прошлое звенит,
И под этот аккомпанемент,
Опаленный желтым зноем лета,
Я пасу стада печальных мыслей
И топча полынь воспоминаний,
Медленно кочую в осень.

Поскольку Тарковский стихи похвалил (или почти похвалил), я со спокойной совестью опубликовал их в одном из первых номеров «Крещатика». Посмертно¹.

* * *

Честолюбие — двигатель внутреннего сгорания.

* * *

Как-то позвонила Леночка Андрианова, сочинительница маловразумительных стихов, уже не молодая женщина с матросской походкой и плохой кожей лица:

— Ты не помнишь, что значит слово «мазумент»?

В первый момент я опешил, и только через несколько секунд до меня дошло, что слово-фантом произошло в ее отравленном никотином мозгу из двух других: «монумент» и «позументы».

¹ Игорь Каплиенко погиб в автокатастрофе.

* * *

Сначала пили в «Леваде». Потом переместились в «Грот». Оттуда вышли через четверть часа с бутылкой водки. Карабут с Кассандрой уснули прямо за столиком.

К вечеру в совершенно незнакомом подъезде обнаружил себя в странной компании: пожилая, но все еще красивая женщина (пьяная вдрызг), карлик и уже немолодой работник ОБХСС. Женщина прокуренным голосом пела романс «Гори, гори, моя звезда...». Карлик, посапывая, пил портвейн (стакан за стаканом) и закусывал маринованным чесноком. Работник ОБХСС оказался интеллектуалом — после первого же стакана водки начал читать стихи. В течение 15 минут он умудрился прочесть пространную поэму (в духе «Тамбовской казначейши») и не менее десяти лирических стихотворений собственного (по его словам) сочинения. Одно из них звучало приблизительно так:

Она сказала:

«Ты хороший, очень...»

и ушла.

А он пошел, пугая прохожих
своей огромной душевной болью.

Ты знаешь, я знал человека,
который был на луну поцелуем заброшен.

И люди видели, как в небо,
которое под мостом,
бросился человек,
перила отбросив...

* * *

Из школьных воспоминаний:

Аглая Франсовна (учительница физики) вызывает к доске ученицу 8-го класса Людмилу Корецкую.

— Что это? — вкрадчиво спрашивает заслуженная учительница республики, указывая пальцем на трансформатор, лежащий перед ней на столе.

Корецкая долго смотрит в окно, где под лучами холодного октябрьского солнца шелестит последней листвою облетевший тополь, потом — так же долго — на трансформатор и, наконец, с нескрываемым отвращением провозносит:

— Автотранспорт!

* * *

Кстати. У Николая Курилко было замечательное стихотворение:

Когда я выхожу на закате из дому
и вижу вдалеке
силуэт облетающего тополя
во мне возникает целый вихрь ассоциаций
я могу сравнить его с чем угодно
но чаще всего я его сравниваю
со скупым рыцарем...

* * *

Приснился сон, будто я сижу за письменным столом (за окном — сад) и листаю две толстые тетради, исписанные аккуратным (не моим) почерком. С увлечением читаю страницу за страницей.

Утром не мог вспомнить ни единого слова.

* * *

«В 1954 году в подмосковный санаторий под Люберцами приехал отдыхать Валентин Николаевич Старгородцев, преподаватель физики из города Ямска...» — хорошее начало для фантастического рассказа.

* * *

Как любил повторять Лессинг, у прогуливающегося любая кривая — прямая.

* * *

Остановился в «Пассаже», дешевой гостинице без удобств и без горячей воды. Зато близко к центру и недалеко от моря. Добирался на такси. Внезапно машина затормозила. Шофер (мальчишка лет восемнадцати) нарушил какие-то правила. Достал документы и пошел разбираться с гаишником.

— Сейчас, только дедушку в гостиницу отвезу.

Это он обо мне, с горечью и не сразу понял я. Дедушка — это я.

* * *

Из стихов А. Принца:

Зеленый лист,
последний, может быть,
из всех зеленых...
На сером тротуаре —
оброненной монеты бренчанье...
Как пусто!
И только кто-то ходит по деревьям...

* * *

Иконникова: «Пришли могилокопы и стали копать могилу». Она же: «Штудируют почву».

* * *

Валера Вофси (в прошлом художник) вот уже несколько лет не может устроиться на работу. Недавно явил-

ся в театр оперетты в отдел кадров и говорит: «Хочу у вас поработать сторожем». А ему отвечают: «Вы не подходите — у вас слишком интеллигентное лицо».

* * *

Я стоял у «Латинского». Слева по курсу нарисовался Зорик с потрепанным журналом «Москва»¹ в кармане пальто.

Мир качнулся и куда-то пропал.

...Первое, что сделал по приезду в Киев (много лет спустя) — купил пиратскую копию «Мастера и Маргариты». Затаив дыхание, включил компьютер.

Вдруг голос Иконниковой:

— «Мастера» кто написал? Достоевский?

* * *

Последние лет 7–8 имею дело, в основном, с текстами. Иногда слышу голоса (по телефону). Время от времени некоторые авторы присылают по электронной почте свой профиль (или анфас). И уж совсем редко (несколько раз в году) кое-кто из виртуальных собеседников материализуется — тогда я имею сомнительное удовольствие общаться с живым (и не всегда умным) человеком.

* * *

Обсуждали с Петром возможное название нашего предполагаемого совместного издательства. Я сказал, что было бы неплохо, если бы оно начиналось на букву «А», в этом случае во всех каталогах и справочниках оно стояло бы в самом начале. На следующий день звонок:

— Я придумал название: «Армагеддон».

¹ Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» был впервые опубликован в журнале «Москва» в 1966–1967 годах.

* * *

«Я делю испанцев на две неравные части. Одна — маркиз де Брадомин, другая — все остальные».

Рамон Валье дель Инклан, «Сонаты»

* * *

На протяжении всей своей жизни стеснялся того, что сочиняю стихи. Когда с кем-то знакомился, говорил: грузчик, полотер, ювелир, на худой конец.

* * *

...Курилко, Принц, Сердюкова, Стефан, Сережа Маманко, Фугалевич, Кот, Мама-Жанна, Гриша Хорошилов...

И я уйду, приемля формы сна,
Как гордый сгусток медленного света...¹

* * *

«...Но лучше всего в Балаклаве в феврале — те же самые рыбаки на набережной, что и сто лет назад. И много пустоты и ветра. Зимующие лебеди и бродячие собаки у причалов».

* * *

Из Николая Курилко:

Луна, твои желтые струны
поют под дыханием птиц.

И девушка в бронзовом платье
над миром о чем-то грустит.

¹ Из стихов Г. Хорошилова.

Колеблются бледные струны,
ночные мерцают глаза...

Ладони мне кровь обжигает,
о звезды дробятся слова.

О, девушка в бронзовом платье,
ты слышишь, как плачет Земля?

* * *

Вспомнился Деревянкин (Борис Кононенко).

Лет сорок тому назад зависли мы как-то с Эмилем Голубом на Оболони на кухне у моей первой жены, в результате чего появилась на свет следующая «бессмертная» поэма:

ДЕРЕВЕНИАДА

Сизый нос, румяные глаза —
нет, не Фуга¹... Черт возьми, так кто же?
Над Крещатиком плывет гроза,
в гастрономе беспокойно тоже.

И пока волнуется народ,
перед колбасой благоговей,
боком, боком, мимо бакалеи
Деревянкин медленно идет.

Как всегда один, почти без денег,
без пальто, ну чем не семьянин?
О, очаровательный бездельник,
улицы Песчаной² гражданин!

Как печально и полу-прощально,
полу-без-очков, из дальних стран
ты идешь — легко и гениально, —
полу-дерево, полу-стакан.

¹ Владимир Фугалевич. Культовая фигура тех лет.

² В Киеве на улице Песчаной находился вытрезвитель.

* * *

Я — Фугалевичу: «Володя, вчера написал стихотворение...». Он, наливая: «Борис, неужели ты думаешь, что какое-то твоё стихотворение может изменить моё отношение к тебе?».

* * *

Все хотят быть гениями, никто не хочет прозябать в безвестности. И я не хочу. Какое мне дело до того, что Державин за два дня до смерти написал на аспидной (грифельной) доске:

Река времен в своем стремлении...

* * *

Третью ночь подряд снится совершенно голая Немирова с сигаретой в губах и книгой в руке. Я сижу напротив на табуретке. Она с выражением читает «Приглашение на казнь» Набокова.

— Хочешь чаю? — спрашиваю я.

— Нет, — отвечает она. — Лучше martini.

— Со льдом? — спрашиваю я.

— Нет, — отвечает она. — Без льда.

Я протягиваю ей бокал. Она делает глоток, затем говорит:

— Как тебе Набоков?

— Не очень... — говорю я и просыпаюсь.

* * *

Какая прекрасная оговорка: Осип Леонидович.

* * *

Ночью снились кошмары: КГБ, милиция... Встал, попил воды. Иконникова разлеглась на диване по диагонали, храпит.

Утром проснулся — никого. Августовское уже осеннее солнце, на душе тихо, светло...

* * *

«Я беру пустяк — анекдот, базарный рассказ, и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться...»

И. Бабель. Автобиография (1924)

* * *

В один из своих приездов в Киев встретил возле Дома офицеров Николая Троха. Неподалеку (на Шелковичной) находилась его мастерская.

Он пригласил в гости. Едва вошли, сказал:

— Живи, сколько хочешь. Только блядей не води, соседи стучать любят.

В юности Трох работал слесарем на заводе. Потом переквалифицировался в фотохудожники.

При первой же встрече, еще не видя его работ, я распознал в нем гения.

— Пить будешь? — задумчиво спросил он, доставая из бумажного кулька бутылку водки.

— Нет, — как можно тверже ответил я.

— А я буду, — строго сказал он.

Налил, выпил. И стал рассказывать очередную историю «из жизни».

— Нужно было слоган придумать... Для рекламы... Что-то вроде «Виагры»... Сидят, думают... И так и сяк... Не выходит... Я говорю, мужики, чего вы мучаетесь?... Напишите просто: «Допоможи бажанню!»¹

¹ Помогі желанію (укр.).

* * *

Мне кажется, стихотворения некоторых современных поэтов похожи на венозные трофические язвы.

Трофические язвы русской поэзии.

* * *

«Я сижу в баре, среди бела дня, поэтому наедине с барменом, который рассказывает мне свою жизнь. Почему, собственно? Он говорит, а я слушаю, пью заодно и курю, жду кого-то, читаю газету. Вот как дело было! — говорит он, моя стаканы. Он вытирает вымытые стаканы. Да, говорит он еще раз, так было дело! Я пью — я думаю: человек что-то испытал, теперь он ищет историю того, что испытал...»

Макс Фриш, «Назову себя Гантенбайн»

* * *

С утра, едва проснувшись, Мудозвонов направляется в туалет, потом — в ванную, где с отвращением разглядывает себя в зеркале (мешки под глазами и пр.), чистит зубы, причесывает остатки седых волос. Затем подходит к письменному столу, включает компьютер и в течение получаса сочиняет несколько (не менее пяти) стихотворений. Стихи тут же размещает в Фейсбуке, после чего возвращается в ванную и там, жадно вглядываясь в зеркало, произносит (в который раз) свою будущую речь нобелевского лауреата.

* * *

«Человек — пастух бытия...»

Хайдеггер

* * *

Начинающий стареть поэт.

* * *

«Там такие санатории, такие санатории — одно стекло и кибернетика...»

* * *

«Кирилловна, представляете, сижу на кухне, читаю Трифонова, а она ходит и пердит...»

* * *

Единственное, чего он добился в жизни — бросил пить.

* * *

Из Екклесиаста: «От лени потолок провисает...»

* * *

«...За два месяца до смерти он стал наконец владельцем собственной квартиры, но так и не успел в нее въехать. У него случился инфаркт, потом второй, третьего он не пережил. За три недели до смерти Кайдановский женился...»

Андрей Плахов

* * *

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

«Вероятно, никогда столько сочувствия людям не изливалось разом в одном — таком маленьком — стихотворении. Плакать хочется — до того Пушкин хорош».

Абрам Терц, «Прогулки с Пушкиным»

* * *

Не пой, красавица, на мне...

* * *

Звоню другу-поэту. Говорю:

— Вчера стихотворение написал, посвятил жене. Ей понравилось.

Друг в ответ:

— Это ничего не значит!

* * *

Лаоконичный стиль.

* * *

Хорунжий: «От скромности ты не умрешь... зато вполне можешь умереть от паники».

Он же: «Скинулись с Луизой на флакон. Выходим из гастронома. Я спрашиваю, в каком парадном пить будем?

Она: “В ближайшем!”»

В память врезались две строки:

Вот идет она, вся — эрогенная зона

От кармина ногтей до коленного звона...¹

* * *

Сергей Илличевский о Наташе Грубер: «Не грубер будет сказано». О Бальцере: «Бальцер за свободу».

* * *

я знаю
счастливые не ищут правды
она им ни к чему
она горька
порою беспощадна
и никогда не закрывает глаз.

Николай Курилко

¹ Из стихов А. Хорунжего.

* * *

Фамилии: Химерик, Зубэ и Винярский.

* * *

Объявление

Меняю пожилого племянника на молодую жену.

* * *

Поцелуи звонкие, как поспевающая морковь.

* * *

Одни — развратные кокетки,
другие — синие чулки...
А мне по нраву людоедки,
их губы, зубы, коготки.

Еще, строптивые красоти,
до вашей доберусь красы,
со стройных ног сорву колготки
и в клочья изорву трусы.

И вдруг замру в недоуменье
пред видом строгой наготы...
Мне кажется: еще мгновенье
и мной позавтракаешь ты.

* * *

За 3 года до смерти Тургенев пишет стихотворение
в прозе «Старуха»:

Я шел по широкому полю, один. И вдруг мне по-
чудились легкие, осторожные шаги за моей спиной...
Кто-то шел по моему следу. Я оглянулся — и увидел
маленькую, сгорбленную старушку, всю закутанную
в серые лохмотья.

.....
«Ах! — думаю я... — эта старуха — моя судьба. Та
судьба, от которой не уйти человеку!»
.....

Старуха стоит позади, в двух шагах от меня. Я ее
не слышу, но я чувствую, что она тут. И вдруг я вижу:
то пятно, что чернело вдали, плывет, ползет само ко
мне! Боже! Я оглядываюсь назад... Старуха смотрит
прямо на меня — и беззубый рот скривлен усмеш-
кой... — Не уйдешь!

* * *

Крепкие тектонические отношения.

* * *

Ударь по венам
Ибупрофеном!

* * *

Карлик приходит в библиотеку и просит дать ему сло-
вари. «Какие?» — спрашивает библиотечарша. — «Мне
все равно, — говорит карлик, — я на них сижу».

* * *

Тавтологический сквозняк.

* * *

«...он будет идеально и страшно один».
*Гайто Газданов. «О молодой эмигрантской ли-
тературе», «Современные записки» (1936)*

* * *

Январь по Брейгелю, февраль по Реомюру,
капризный март, бесхозная капель,
и солнце на губах — свою фиоритуру
выводит на трубе неряшливый апрель.

* * *

«Если бы только Бог дал мне какой-нибудь ясный знак! Например, открыл счет на мое имя в швейцарском банке».

Вуди Аллен

* * *

Играй, покуда над тобою
Еще безоблачна лазурь...

Тютчев

Играй, трубач, ты нежен и плечист,
Твоя труба печальна, как невеста.
Так некогда швырял аккорды Лист
В партер под реплики оркестра...

Охрипших пальцев не коснется стыд,
А медь груба, и ей чужды уловки.
Играй, трубач, играй без остановки...
Рассудит время, вечность промолчит.

* * *

Изъеденная ветром луна.

* * *

Из письма Иконниковой:

«Алевтина ушла, Анька с перегаром обматерила
Ольгу. Та швырнула в нее нож, огурец — вдребезги.
Анька ушла к хахалю и в запой».

* * *

Не следует путать деменцию с медитацией.

* * *

Прочитайте из китайских переводов
мне о том, как наша жизнь проста,
как из яшмы каплют мысли Бога,
скатываясь с чистого листа.

Ты меня заполнишь по странице,
нарисуешь титульный овал,
черного дрозда на красной спице,
чтобы пел и не переставал.

С. Илличевский

* * *

...Я люблю стройных, длинноногих марксисток с чекистским прищуром тяжелых распутных глаз, изощренных (и извращенных) коммунисток с кавалерийской осанкой, люблю их лебединые шеи и тонкие пальцы, аромат их духов, напоминающий о смерти... Их грудной голос по-прежнему волнует меня...

* * *

Одинокая арфа трамвая.

* * *

«Какие должны быть стихи? Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле и вдруг взлетали... если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы всё было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а всё вместе слегка двои-лось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны.

Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы “ах!”, чтобы “зачем ты меня оставил?”, и вообще, чтобы человек как будто пил горький, чёрный, ледяной напиток, “последний ключ”, от которого он уже не оторвётся. Грусть мира поручена стихам».

Г. Адамович

* * *

Фамилии:

Быкодоров
Дворецкая
Топоногов
Вздоров
Картавцева
Небыков
Халвицкий
Клара Шох
Инна Галс
Игорь Плохов

* * *

Мания преследования постепенно перерастала в теорию относительности.

* * *

Я живу на Корнштрассе, слева от моего дома переулок Гегеля, справа — Канта.

* * *

«Дождь бормотал что-то по брезенту...»
Аркадий Белинков. «Черновик чувств»

* * *

С удивлением обнаружил в «Дневнике» братьев Гонкур свою фамилию:

«— А что это за птица Марковский? — спрашивает Флобер.

— Марковский, мой дорогой, был сапожником, — говорит Сен-Виктор. — Он самоучкой научился играть на скрипке и, тоже самоучкой, танцевать, а потом принялся устраивать вечеринки с участием девиц, адреса которых он давал желающим. Бог благословил его усилия: Адель Куртуа уделила ему кой-кого из девок, и теперь он владелец того дома, где он живет».

* * *

Целлофановый хруст зубов.

* * *

Стараюсь писать каждый день, но странное дело: количество страниц не увеличивается, а жизнь стремительно идет к концу.

* * *

Хочется невозможного — услышать по телефону: «Ну как дела?»

* * *

Из стихов Сергея Илличевского:

Мне Моцарт что-то обещал,
и реквиема медь
меня облепит,
и повелит, как в летописный бред,
уйти от смерти в *lento*...

О, в медленный озноб
оркестра, начинающего петь
вступает некто,
некто в сером,
как дирижера тень,
как капюшон без веры...

Ом!

Звуку подобны смертные!

.....

О, реквием!

О, реквием этернам!

Ася ПЕКУРОВСКАЯ

(Нью-Йорк)

**«ДВОЙНАЯ СЕССИЯ»: ТЕКСТЫ В ТЕКСТАХ
ДМИТРИЯ БОБЫШЕВА**

В интервью, данном Ларисе Пушиной («Независимая газета»), Дмитрий Бобышев делает признание:

«С этой книгой в руках я готов предстать перед любым литературным судом, даже если он будет происходить в трактире “Гамбург” под председательством Виктора Шкловского, и посостязаться с тяжеловесами <...> книга задумана как галерея эпических форм, о которых ненароком забыла поэзия XXI век. С давних пор, едва почувствовав в себе силушку стихослагателя, я стал ее испытывать на крупных формах».

Под обложкой «Петербургских небожителей» оказались произведения разных лет, а принцип их отбора зеркально отразил авторский замысел периода их создания. Ведь тогда, вспоминает автор, была поставлена задача освоить «принцип циклического построения» с оглядкой на «Полуночные стихи» Ахматовой.

Все эти циклы держатся в текстах Дмитрия Бобышева нитью Ариадны, помогающей «Петербургским жителям» искать выход из лабиринта чудес, т.е., конечно же, не из лабиринта Дедала и даже не из Египетского лабиринта, описанного Геродотом и построенного греками вблизи Города Крокодилов. Скорее, это...

Город-нищий, город-принц,
где имперски мыслят камни.
В преломленьях невских призм
Держит череп город-Гамлет.

«Книга “Петербургские небожители”, — подсказывает нам Бобышев, — названа по одной из поэм, посвященной высоким точкам города-западника», под которыми имеются в виду «более чем известные ангел-столпник, две монферрановых славы, Адмиралтейский кораблик и сферические наверхия на Кунсткамере и Доме книги. Они охраняют город и спасают его от старинного заклятия царицы Авдотьи [Евдокии Лопухиной — А.П.]: “Городу сему быть пугу!” Нет, возражает автор: “Город — улицы и лица, не без моего лица”».

В юности Петербург покори́л Бобышева своими «высокими точками» как в прямом, так и в переносном смысле: башней над обсерваторией, первоначально помещенной в здании Кунсткамеры на 3-м–5-м этажах; адмиралтейской иглой и шпилем Петропавловской крепости — символами Петербурга как города науки. В зрелые годы «высокие точки» Петербурга уже рассматривались как билет на двойное гражданство, своего рода небожителство. Считая себя петербургским небожителем, Бобышев надеется этим титулом своих героев.

А образ небожителей — это оксюморон, использованный Бобышевым с типичным для него преломлением, которым является знак равенства между «углубленным погружением» в земное и взглядом «с птичьего полета», предполагающим отождествление поэта с птицей:

Ведь я себя бегу, как птица,
что перьев собственных боится.

Страх, навеянный поэту-птице видом своего пера, возвращает нас из символического контекста в реальный,

а точнее, сначала в опыт поэтов-акмеистов, отождествлявших след пера со следом «гравировальной иглы на металле или резьбы алмазом на стекле», а далее к мотивному контексту воска — необходимого для гравирования металлов. <...>

В одном из центральных стихотворений Мандельштама — в *Грифельной оде* — именно это семантическое поле широко и многослойно разворачивается: здесь старомодный пишущий инструмент — грифель — ассоциируется с графической, архитектурной и поэтической сферами, объединяет био- и семиосферы в том смысле, что грифель-игла татуирует кожу природы, пергамент неба и доску». A. Hansen-Löve, *TEXT—TEXTURE—ARABESQUES. The Expansion of the Fabric Metaphor in the Poetics of O. Mandelstam*, [Tynyanov Readings 6,7, p. 261].

Конечно, это семантическое поле, соединяющее графическую, архитектурную и поэтическую сферы, выраженное метафорой «грифеля-иглы», разворачивается во времени.

«Задолго до изобретения воздушного шара люди искусства могли, используя графические и проекционные средства, создавать виды “с высоты птичьего полета”, в которых точка зрения, постоянно меняясь, вроде бы простиралась к бесконечности. Когда Нью-Йорк еще назывался Новым Амстердамом, голландский художник Ян Миккер написал “Вид Амстердама”, в котором сеть каналов представлена не столько в традиционном панорамном виде, сколько в виде аксонометрического плана *avant la lettre*, ориентированного относительно точки, расположенной где-то под экраном облаков, отбрасывающих тени на город» [Damisch H. *Skyline. The Narcissistic City*. Translated by John Goodman. Stanford: Stanford University Press, 2001, p. 93].

Проницательный Александр Карпенко заметил, вроде бы мимоходом, смену темпа в текстах Бобышева («аллегро, анданте, аллегро модерато, адажио и т. д.»). Текст Бобышева — это «абсолютный текст, в котором воспомина-ния — только повод, только шампур, на который нанизаны, может быть, более глубокие вещи — размышления о мире вообще, оценка тех или иных культурных явлений. Можно открыть книгу и попасть на глубинное литературо-ведение, можно — на теософию, можно — на афоризмы и мысли».

Метафора шампура, предложенная Александром Карпенко, как нельзя лучше выражает формулу времени у Бобышева. (Время мыслится, как миг, способный охватить всю вселенную):

Ты единственный, дымный, чадающий,
жизнь черкающий, как черновик,
ты, себя, уходя, не щадящий, —
вот мелькнул, вот запутался в чаще
из деревьев, троллейбусов, книг,
пульсов, роз, поцелуев, гвоздик...
Нет святых, нет больнее и слаще,
нет — тебя, пропадающий миг.

Автор поясняет:

«Мысль, в самом деле, была непомерной, рас-крывающей всё сущее, как если бы глаза возобладали зрением на полный круговой обзор, а темный древне-греческий хаос превратился бы в проницаемый ра-дужными лучами космос. Стали видны исходные пре-делы, отодвинувшись далеко назад за границы Ра-зума, к кипящему прото-сиянию, ко всеохватному и всеблагому изначалу всего. Ничто отсутствовало, пус-тоту заполняло *Всё*, бурно творящее *Чудеса* ради себя же *Другого*».

Встреча с этим «Всё» происходит на символическом уровне, где ведется счет

не “богом из машины”, а машиной,
сказуемой из глотки божества,
где, знаками осмысленно блистая
(сим электронным мега-языком),
горит надчеловеческая тайна,
с которой ты дикарски не знаком,
но силишься вписаться в начертанья.
И странно — чем вольнее мысль о ней,
чем больше от нее отнумерован,
тем сущность домышляется полней —
и кем? — тобою, трепетным нейроном
с обрубленной мутовкою корней.
Здесь мига не отложено до завтра...
От первых нужд, чем живо существо,
до жгучего порока и азарта, —
КРОМЕШНАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВСЕГО
из черепа торчит у Градозавра.

Череп Градозавра [фантастического зверя из фантазий Станислава Лема] возвращает нас к именованию Петербурга Городом Гамлета. Петербург, как и Гамлет, после Гамлета, решает тот же вопрос: «быть или терзаться собственным небытием»? И бытие Петербурга, как и бытие Гамлета, определяется значением слова «Танатополис» (город могил). В перифразе «Гамлета» это — королевство Призраков, в текстах Бобышева это — голос расстрелянного поэта, «Николая Гумилева, незадолго до ареста и казни начитавшего на валик с воском свою любовную канцону. Страстная, завораживающая манера чтения вдруг воскресила его, я услышал его живым, и это меня поразило. Спасибо технологическим гениям, одарившим такими чудесами всё человечество»!

Бобышев продолжает:

«В связи с этим я вспоминаю загадочное стихотворение Михаила Кузмина. “Есть у меня вещица, подарок от друзей...” где он описывает, не называя, волшебный подарок, который помогает в пути, поет, утешает музыкой и разгоняет тоску. Эта хрупкая вещица запечатлевает любимый облик, протягивает незримые связи с далекими друзьями, «пускай они в Париже, / Берлине или где...».

Этот текст седьмой части эпической поэмы Кузмина «Форель разбивает лед» (1929) носит название «ДОБРЫЕ ЧУВСТВА ПОБЕЖДАЮТ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО».

И эти «добрые чувства» (прежде всего, любовь) удерживаются в памяти Гумилева перед смертью и в сердце Кузмина за семь лет до смерти. Те же «добрые чувства» всплывают в памяти зрелого Бобышева. Ими открывается цикл полифонической поэмы «Небесное в земном» с любовным сюжетом, в котором прослеживаются автобиографические мотивы:

Тогда, с тогда еще чужой невестой
шатался я, повеса всем известный,
по льду залива со свечой в руке,
и брезжил поцелуй невдалеке.
И думал он в плену шальных иллюзий:
страсть оправдает всё в таком союзе,
все сокрушит, кружилась голова,
слов не было.
Какие там слова!

Обратим внимание, что сочинитель, который не находит слов (и речь здесь пойдет сугубо о тексте полифонической поэмы) представлен двумя местоимениями первого и третьего лица. Но тождественны ли они? На первый взгляд, от лица «я» лирический герой описывает свои на-

дежды, в то время как «он» готов ретроспективно признать иллюзорность этих надежд. Здесь уместно вспомнить Мандельштама с его тождеством, описанным в предпоследней главке эссе «Утро акмеизма»: «А = А: какая прекрасная поэтическая тема. Символизм томился, скучал законом тождества, акмеизм делает его своим лозунгом и предлагает его вместо сомнительного *a realibus ad realiora*». Мандельштам [International Literary Union, 1971, vol. 2, p. 324].

Ore A. Хансен-Лёве называет тождество, покорившее Мандельштама, Готическим тождеством, видимо, ставя под вопрос стабильность и единство «я». Цитируя дальше Мандельштама, Лёве замечает смену авторского восторга от тождества удивлением перед ним:

«Способность удивляться — главная добродетель поэта. Но как же не удивиться тогда плодотворнейшему из законов — *закону тождества*. Кто проникся благоговейным удивлением перед этим законом — тот несомненный поэт. Таким образом, признав суверенитет закона тождества, поэзия получает в пожизненное пользование всё сущее без условий и ограничений. Логика есть царство неожиданности» [Мандельштам. Цитирую по A. Hansen-Löve, *TEXT—TEXTURE—ARABESQUES* [Tynyanov Readings 6,7, c. 247].

Закон Готического тождества контролирует у Бобышева первый катрен любовной поэмы:

Знаю, возможно... А ветрениц вислую стаю
мне за цветы посчитать не дано.
Нет, невозможно, я знаю...
Или возможно, а стало быть, и суждено.

Что же представляется лирическому герою «наверняка возможным» и «наверняка невозможным» и в то же время все-таки возможным? И о какой стае ветрениц идет речь? Пояснение дает Андрей Арьев. Цитирую:

«Эти “ветреницы”, травянистые цветочки, растут сами по себе, ими весной полны лесные и парковые лужайки, склоны канав и каналов. Мы и за цветы их почти не принимаем. Но достаточно вспомнить, что имя этим “ветреницам” — “анемон”, как включается культурная память, вспоминаются имена Афродиты и Адониса, миф о смерти и возрождении. И то, что “анемон” этимологически восходит к греческому — “ветер”. “Воздушность и почвенность” [небесное и земное — А.Л.] сплетаются в стихах Бобышева в одно». Андрей Арьев. «Портрет вселенной с анемонами». [Послесловие к сборнику «Петербургские небожители»]

Однако это Готическое тождество не всегда определяется знаком равенства, пусть перечеркнутого. Возможен и другой его вариант:

Страсть, осененная ответом,
Ослеплена своим же светом.
Опоминается она,
Когда уж всё, разделена.

— Ты не покинешь? — Не покину...
Самой уж не наполовину...
— Так не оставишь? — Не оста...
Звук пропадает. Даль пуста.

Фрагментированными в этом тождестве являются не только личность поэта, но и произнесенное слово («— Так не оставишь? — Не оста...»). Как видим, нестабильность «я» подтверждается реальным тождеством: «А» логически совместимо с «не-А». Это то же самое, как если бы кто-то сказал «да» и «нет» одновременно. («*Королева мгновений* — И вот уже не королева».)

С таким напутствием попробуем проследить развитие любовного романа. Нет, не сюжета, а его перевода в стихотворный текст.

ПРОПИСЬ
ПЛОДЫ ТВОИ НЕ В ВЕТКАХ — В ОБЛАКАХ
ДЛЯ СЛЕЗ РИСУЙ И ДЛЯ УВЕСЕЛЕНИЙ
НЕ ЯБЛОКО — НО С ЯБЛОКОМ В РУКАХ
ПОРТРЕТ ВСЕЛЕННОЙ

Далее следуют два оксюморонных табло:

ПЕРВОЕ ДВОЙНОЕ СОЛО (ДЕНЬ)

*А на одной из этих веток
висит, качается от ветра*

Как яблоко, безбедно круглый день...
И мы с тобой на берегу залива,
и даже солнце не бросает тень,
и ты счастлива...

Как солнце, яблочко желтеет,
а у него на чистом теле,
поглубже спрятать норовя
разлуку, черный след червя.

Вправе ли мы предположить, что яркий солнечный день *сулит* (именно сулит, ибо все глаголы даны в настоящем времени) вечное блаженство для влюбленных? Текст настаивает на том, что след червя, это предвестие беды и разлуки, глубоко спрятан и пока не замечен. Но настоящее время, в котором эту мысль доносит текст, является ловушкой. Ведь события происходят не в настоящем, а в давно прошедшем времени. Позыв «отыскать то, что повторяется, возвращается и гарантирует нам свое возвращение на то же самое место — приводит нас к последнему пределу, у которого мы ныне находимся, — пределу, где под сомнение мы вправе поставить любое место, а в ре-

альности, которую мы столь замечательно научились ставить с ног на голову, ничто не тешит нас уверенностью в своем возвращении».

Попробуем распаковать второй оксюморон:

ВТОРОЕ ДВОЙНОЕ СОЛО (НОЧЬ)

Рассыпалось вверху сиянье, прах...

А в черном, а в блестящем свете
на продолжении каждой ветви
как знак условного плода
блестит не ягода — звезда.

...по небу — сеть ветвей до половины...

*И страсть мерцает дивно, грозно,
и лобный свод ночного мозга
сквозь эту сетку тянет ввысь
свою ветвящуюся мысль.*

...и ягоды запутались в ветвях...

Не в бездне, нет, не кружит, нет, не прах —
кора небесных нежных полушарий
шлет сведения о свете, свет — во мрак.
И в холод — о пожаре.

...ночной рябины.

И светлый мрак и жаркий холод,
как уголь и селитра — в порох
соединенные — одной
вдруг стали взрывчатой средой.

Смысл в тексте контролируется, с одной стороны, смешением земного с небесным, а с другой — оксюморон. Всё это представлено *ветвящейся мыслью*, т.е., мыс-

лью, где на ветвях деревьев висят плоды (надежды?), а сорванный плод, хотя кому-то и напоминает о вековечном запрете, как сосуд, выполняет функцию возлияния: «Переливает аромат в свете, свет — во мрак. / И в холод [возвещает] о пожаре». Получается, что неминуемое несчастье приходит как бы случайно, как если бы ночь, черпая небесный свет, по ошибке соединила уголь с селитрой.

Речь здесь идет о метаморфозах вещного мира, чьи истоки следует искать за пределом поэтического текста. Но далеко ли? Мартин Хайдеггер¹ выстраивает диалектику вещного мира вокруг... сосуда или чаши и на пересечении *небесного с земным*. В центре его рассуждений — функция возлияния (наполнения сосуда жидкостью и опустошения).

«Когда мы наполняем чашу, вливаемое течет до полноты в пустую чашу. Пустота — вот вмещающее в емкости. Пустота, это Ничто в чаше, есть то, чем является чаша как приемлющая емкость». И хотя гончар творит чашу из глины или керамики, сам факт творения (т.е. наличие творца и твари) «позволяет сказать о творце, что он творит вазу из ничего (*ex nihilo*)».

Лакан вторит Хайдеггеру, добавляя, что «любое искусство характеризуется тем или иным способом организации вокруг этой пустоты» и последующего наполнения. Чем, спросите? Словом, ответит Бобышев из другого столетия, при этом скромно добавит: такова моя догадка.

ДОГАДКА

Горит, я вижу, рот у страстотерпца,
и слово — из-под неба до небес
ширяет меж глубин, высот и бездн,
беда и радость разом входят в сердце.

¹ Доклад, прочитанный в Баварской академии изящных искусств 6-го июня 1950 и включенный в сборник «Доклады и статьи» (1954).

*Ах, радость эта пуще заусенца
И саднит, и отпущена в обрез...
Но отчего же так во тьме широко
поет его беда с припевом рока?.*

Что же это за слово, которое наполняет изначальную пустоту? Оно, напоминает нам Бобышев, «ширяет меж глубин, высот и бездн». Что значит «ширяет»? Этот глагол уже много десятилетий как не употребляется в русском языке. Но в словаре Бобышева он один из важнейших. Ведь «ширять» исторически означало «широко взмахивать крыльями» [Даль, Толковый словарь, т. 4, с. 1346]. Но означает ли это, что даром наполнения изначальной пустоты обладают, наряду со словом, еще и птицы? В чем именно состоит этот дар наполнения?

Послушаем МОНОЛОГ СПЯЩЕГО:

Цветок, раскрытые страницы,
кружащий лист — все птицы, птицы;
движение брови, взмах ресниц, —
ты всюду, всюду видишь птиц.

Они летят в твоих тетрадках,
их тень на вологодских трактах
пересекает поперек —
как шпалы — рельс твоих дорог.

Но видела ли ты когда-нибудь
(заранее тебе в сердечном вздроге
скажу по правде — нет!, что птичий путь
Висел бы вдоль дороги?

Птичий путь имеет траекторию, которая не оставляет следа вдоль дороги. Однако ее след «ширяет меж глубин, высот и бездн», т.е. летит к звездам, но не прямо, по вертикали, а по колеблющемуся маршруту. Ведь звезды, как стало ясно уже во времена Канта, находятся в постоянном движении.

Лакан напоминает нам:

«До Галилея аристотелевская космология постулировала резкое разделение: небеса были совершенны, вечны и неизменны, в то время как земное царство было тленным и управлялось другими принципами. Галилей с его эмпирическим методом и телескопическими наблюдениями разрушает это вертикальное разделение. Гравитация, инерция, движение — они действуют наверху так же, как и внизу. Символически: Небо и Земля, когда-то радикально разные, теперь являются частью единого механического порядка. ...Галилеевская физика восходит обратно на небеса...».

Она же, Галилеевская физика, кажется, подсказывает Бобышеву, выпускнику технологического института, контекст для описания любви к «Несравненной». Этим контекстом является мысль о «Волнах». В «Волнах» было задумано «медитативное чередование строф (каждая из семи строчек) с попытками доискаться до внутреннего смысла великого действия: не «рождение красоты из пены морской», как это представлялось грекам, а рождение «волны» как творца великого чуда, которое возникает непрерывно и в каждое «сейчас». Поэма включает 20 септим. Начну с первой:

Кто живущий у волн не знавал,
как идет приобщение вещи
к ритму? Как начинается вал?
Вот порыв, и пролет, и провал...
Сам окрестит и тут же раскрещет.
Сколько раз он пловца принимал
В эти нежно-могучие клещи!

Нельзя сказать, что тема «волны» является в русской поэзии уникальной. О волне писал Федор Тютчев («Волна

и думы», 1851); Константин Бальмонт («Волна», 1899); Велимир Хлебников («Я видел юношу-пророка», 1923); Давид Самойлов, озаглавивший целый сборник стихов («Волна и камень», 1974). Да мало ли кто еще.

У модернистов обращение к волнам связано с общей направленностью на антропоморфизацию природы. А если перефразировать «программное» определение Шкловского, касающееся «остранения», данное в статье «Искусство — как прием», можно сказать, что для того, «чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того чтобы сделать любовь эротической [у Шкловского «сделать камень — каменным», — А.П.] существует то, что называется искусством». И именно в искусстве творения природы могут быть приравнены к творениям человека, во всяком случае, это справедливо для поэзии Бобышева.

Прежде чем продолжить чтение поэмы Бобышева о любви, я делаю амбициозный вызов в надежде доказать уникальность этой поэмы для русской мысли. Уникально у Бобышева соответствие заголовка тексту как способ формирования и проверки читательского ожидания. Но важно ли это? Слышу я вопрос проницательного читателя. Моим ответом будет прочтение поэмы Бродского «Письма римскому другу» (1972), где автобиографические корни любовного и даже эротического сюжета не привлекли внимания ни одного исследователя. Соответственно, поэма Бродского считается «метафизической», а поэма Бобышева причислена к любовной лирике, хотя оба указанных текста повествуют о расставания с одной и той же возлюбленной, Марианной Басмановой. Я ограничусь прочтением первого октета:

Нынче ветрено и волны с перехлестом.
Скоро осень, всё изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги.

Дева тешит до известного предела —
дальше локтя не пойдешь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела:
ни объятья невозможны, ни измена!

Благодаря популярности автора его поэма была иллюстрирована художником-графиком Натальей Гончаровой-Кантор и представлена в Иерусалиме в выставочном зале Арт-Центра «Бейт От ха-Муцар». Не скрывая своего восторга от поэмы, одна из устроительниц выставки пишет следующее: «Мне всегда было и есть интересно, почему слова “Нынче ветрено и волны с перехлестом” вызывают у меня в душе — да и даже где-то в “животе” тихий восторг. Почему “Письма римскому другу” Бродского становятся не просто прекрасными стихами, а необходимостью душевной».

Полагаю, что традиция избавляет читателей от ответа на вопрос почему, если речь идет о творении Нобелевского лауреата. Я же попробую этот ответ предложить.

Находясь где-то у воды, лирический герой Бродского наблюдает за разбушевавшейся стихией волн: одна волна находит на другую, предвещая конец лета, наступление осени и связанную с этой переменой смену красочной палитры. Что должен чувствовать в этой ситуации наблюдатель? Или даже так. Как чувствует приближение осени актер, которому поручено сыграть эту роль на сцене театра, драматического или оперного. Занавес вот-вот поднимется, открывая пустынное великолепие (ощепенение?) осени, и дирижерская палочка ожидает сигнала.

А всякое ожидание чревато последствиями, предвидеть которые дано немногим:

«Никогда не опустился бы самовластный смычок, отмеряющий первый такт, если бы нужно было, чтобы в это особое мгновение года люстра, расположенная в зале, своими многочисленными гранями представляла бы просветленность публики относительно того, зачем она пришла» [Деррида, Ж. *Диссеминация*, пер. с франц. Д. Кралечкина. Екатеринбург: У-Фактория, 2007, с. 228].

И аудитория, вероятно, думает, что пришла сюда с той же целью, что и Деррида, не подозревая, что Деррида построил сложный вербальный эдифис, чтобы понять, что происходит или не происходит между литературой и истиной. Более того, его конструкция не исключает понимания реакции лирического героя Бродского на «переход волн» и приближение осени, то есть оценки того, является ли ответом предложенная Бродским фраза:

Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги.

Но адекватен ли этот ответ? Связан ли он с наблюдением за бушующей природой и приближением осени? Нет ли здесь отказа от наблюдения настоящего момента в пользу момента прошлого? Но о каком прошлом идет речь? Что могло так растрогать лирического героя, извлекшего из памяти сюжет под названием «наряда перемена у подруги»? Попробую сделать несколько предположений. Чтобы подруга поменяла наряд, находясь в поле зрения друга, ей нужно определиться в статусе. В следующем катрене этот статус дан со всей определенностью. Подруга демонстрирует «другу» перемену наряда в предвкушении coitus'a или post coitus. Эпизод, вынуждена признать, далек от «трогательного». Я уже не говорю о сомнительном достоинстве самого эпитета «трогательный», легкомысленно введенного в поэтический глоссарий Бродским.

Продолжим чтение (строки 5, 6):

Дева тешит до известного предела —
дальше локтя не пойдешь или колена.

Многозначный глагол «тешить» здесь используется в значении «тешить свою утробу». Указав на это значение, Владимир Даль дает пример из Грибоедова: «Мне кажется, так напоследок, людей и лошадей злобя, я только тешил сам себя». Даль, Толковый словарь, т. 4 [М.: 1940, с. 705]. Цитата из Грибоедова вполне уместна для понимания двух финальных строк.

Но не будем забегать вперед. Действию по глаголу «тешить» наложен предел, смысл которого раскрывается в строке 6 («дальше локтя не пойдешь или колена»). Не подлежит сомнению, что под движением «дальше локтя» имеется в виду не названный эротический объект (проблему с названием этого объекта Бродский решил в шестом сонете к Марии Стюарт), а указание на движение дальше от «колена» ведет к другому эротическому объекту, здесь не названному, но также обозначенному в одном из 20 сонетов к Шотландской королеве.

Здесь я вижу шанс для выполнения данного выше обещания: предоставить ответ на вопрос «Почему “Письма римскому другу” Бродского становятся не просто прекрасными стихами, а необходимостью душевной», заданный устроительницей выставки в Иерусалиме. Впрочем, ответ уже дан в заключительном двустии:

Сколь же радостней прекрасное вне тела:
ни объятья невозможны, ни измена!

В тексте соблюдено настоящее время. Только в этом настоящем уже нет мысли о превратностях бушующей природы. Как следует из заключительных строк, мысль

поэта сосредоточена на «измене». Чьей измене? Ответ лежит за пределом стихотворного текста. Измена бывшей возлюбленной, ставшей возлюбленной Бобышева. Можно ли сказать, что стихотворение состоялось, если в его последних строках лицемерно воспеты ум и мудрость Небесной Афродиты, заимствованной из речи Павсания в платоновском «Пире», а эротика «пошлой» Афродиты, заимствованная из того же источника, приписана оставившей его возлюбленной?

Дмитрий Бобышев, возможно, ознакомился с «Письмами Римскому другу» до того, как сел за сочинение поэмы о любви, тем более, повторяю, объектом его утраченной любви была всё та же Марианна Басманова.

Как и в первых строках октета Бродского, в первой септете 20-частной поэмы Бобышева «Волны» описано бесчинство природы («вал» как «порыв, и пролет, и провал») и реакция на него лирического героя. Однако... герой Бобышева встречает это бесчинство не с безопасного расстояния, как герой Бродского, но в эпицентре опасности. Он — пловец, а штормовая погода представляет для него угрозу жизни. Дополнительно о коварстве волны он знает из строк Константина Бальмонта:

И смеётся волна: «Я тебя утоплю!
Утоплю, потому что безмерно люблю»!

В конечном счете, именно это двустигийе, как мне представляется, лежит в основе всей поэтической концепции Бобышева. «Безмерная любовь», подобно волне, включает в себе и смертельную опасность, и высшее блаженство. Возможно, именно поэтому волна в стихотворении Бобышева — не метафора, а реальная сила природы. Она служит прелюдией к любовной песне, обращённой к «Несравненной». Она также бросает вызов самим чис-

лом 20 «Двадцати сонетам Марии Стюарт», напоминая, что Бродский с достоинством включил шотландскую королеву в число своих *inamorata*...

В моем прочтении поэмы о любви Бобышева я оттолкнулся от последнего двустручия первой септимы:

Сколько раз он пловца принимал
В эти нежно-могучие клещи!

Глагол «принимать», столь же многозначный, как глагол «тешить» у Бродского, имеет, по Далю, четыре значения, из которых я выбрала после некоторых колебаний, четвертое: «Присутствовать при родах в качестве акушера». Даль. Толковый словарь, [М., 1940, т. 3, с. 826].

«Он» («шквал волны») принимает «пловца», не образуя с ним двуединства, ибо «он» действует, пользуясь клещами как инструментом. Но насколько эти клещи «нежны» и насколько они «могучи»? Предупреждаю, в поэме о любви Бобышева не следует искать метафор. Нет в ней и голоса лирического героя. Что же тогда есть?

Есть безымянные результаты исследований, записанные в некий научный журнал: детали, позволяющие понять, как именно волна принимает пловца в свои клещи и справедливо ли сказать о клещах, что они «нежные» и «могучие»? Послушаем акушера.

Пока волна не вышла на разрыв.
она тверда.
Но раздвоив себя, распятерив,
Разбрызжется вода.
И гладкий перелив
обрушится, в щебенку навсегда
себя зарыв (септима 2).

Что в движении могучей волны делает уступку нежности? Попытку ответа содержат септимы 3 и 4:

Темных, древних движений полна,
то ли слева накатит облава,
то ли — дикою влагою — справа!
Время с временем сплавит она,
и навеки срастаясь двуглаво,
и на миг мне ломая суставы,
и отхлынет, в себя влюблена (3).

Порядок не откроет совершенства.
Но в истовой ритмической работе
родится нас рожающее женство.
Пускай порыв морской свободной плоти
в одном дыханьи с волнами на взлете...
роит соблазн доступного блаженства ...
Зато какую песню вы споете! (4).

Но осуществилось ли эта мечта о создании уникальной песни, навеянной «истовой ритмической работой»? Представьте, ДА, хотя и годы спустя. Уже находясь в эмиграции, в штате Иллинойс, Бобышев сочиняет 12-частную поэму под названием «Облики», женские облики, то есть, датируя поэму ноябрем 1986 года. Является ли она отголоском 20-частной поэмы «Волна» (1970–1971)?

Цитирую три «облика»:

8; 9.

И — вновь уловлен... Чем? Поводкой брови ль,
миндальных, стоп; (скорей, — маслинных) глаз?
Но прям не по медалям этот профиль —
по выгибам краснофигурных ваз.
И — правильно, и хорошо, что склонна,
и вовсе не к чему-либо, а от-,
а из — античных мраморов — и в лоно

сиюминутности, мгновеньями живёт.
Капризничает... Загляденье, чудо:
запястий тонких, сильных плеч и рук...
Что этот знак? Приязнь? — Да не хочу я:
там зренью делать нечего; какую.
Там сердце: тут как тут, — и вспых контакта,
смеженье глаз, приоткрыванье губ,
касания тактильное стоккато...
— А вот и нет! Я — буду: взглядолюб.

10.

Как ни хмелён тяжёлый винный улей,
не там, не тем утешен водохлёб,
но — лепоте, лепнине всех июлей
предпочитая взгляд. И — лоб, и лёд!
И — весь прохладный лад: льняные дали
её, ея, которую я зрю, —
на выморг ока только, навсегда ли, —
такую не зазорно, как зарю
вос-созерцать! Но пристальные зёрна
несносны ей... Ей-ей, наперерез
рванётся, передёрнется озёрно,
и севером обдаст мой интерес.

Но вернемся к поэме «Волны», которую мы оставили
в момент рождения волны как женского начала, и, по ана-
логии — любви поэта и пловца. Но не только.

Перепоясан лимбами долгот
и выверен кругами астроябий,
у моряка целенаправлен ход.
Хотя б для нас разверзлись те же хляби,
иная склонность нас к волнам зовет:
в кромешной и качающейся ряби,
бывает, некий очерк промелькнет (7).

Что это за «склонность», зовущая нас к волнам?

«Механизм работы текста подразумевает какое-то введение в него чего-либо извне. Будет ли это “извне” — другой текст или читатель (который тоже “другой текст”), или культурный контекст, он необходим для того, чтобы потенциальная возможность генерирования новых смыслов, заключенная в имманентной структуре текста, превратилась в реальность». Лотман Ю. ТЕКСТ В ТЕКСТЕ. Труды по знаковым системам XIV [Тарту 1981, с. 8–9].

Вопрос заключается в том, чтобы остановить внимание именно там, где это «извне» (по сути — код, ведущий к пониманию текста) вливается в текст. Есть тексты, в которых этот код провозглашен рассказчиком или самим автором, но в текстах Бобышева этот текст-код вводится без какого-либо предупреждения. Эту функцию нередко выполняет у него рифма: «и выверен кругами астролыбий», / «Хотя б для нас разверзлись те же хляби». Кто или что выверено несмотря на то, что «для нас разверзлись те же хляби» / «в кромешной и качающейся ряби»?

Речь, как уже заявлено, идет об «очерке», т.е., тексте, а точнее, «тексте в тексте».

Лотман продолжает:

«“Текст в тексте” — это специфическое риторическое построение, при котором различие в закодированности разных частей текста делается выявленным фактором авторского построения и читательского восприятия текста. Переключение из одной системы семиотического осознания текста в другую на каком-то внутреннем структурном рубеже составляет в этом случае основу генерирования смысла. Такое построение, прежде всего, обостряет момент игры в тексте: с позиции другого способа кодирования, текст приобретает черты повышенной условности, подчеркивается его игровой характер: иронический, пародийный, театрализованный и т. д. смысл».

Оказывается, склонность, зовущая нас к волнам, возникает с пониманием кода, которым является текст, намекающий на родство опознанной «волны» с «промелькнувшим» очерком. В чем же, если не в двойственности самого текста, заключается это родство? «Волна» и есть этот «текст», ибо она:

Сначала по кругу походит...
Еще не совсем рождена,
а прочь из пространства — по хорде
и вбок убегает длина.
И — круто от самого дна,
из голых аорт — и на холод...
и — жгучая — чем не волна? (8)

Поразмыслив, начинаешь понимать, что промелькнувшее слово «очерк» не является оптимальным выбором. Этих выборов, по Далю, несколько. «Очерком» является еще и «контур», «очертание» [т. 2, с. 1033]. Но чего?

Очерком, понимаемым как очертание, поэт снимает с волны маску. Ведь по убеждению древних маска не отлична от лица. Она как бы не маска, а само лицо. Нет ли здесь зачатков нового родства поэтического очерка с очертанием (почерком) творца маски, предвосхищением невнятного и вместе с тем кристально ясного в своей уникальности текста? Тынянов описывает почерк Растрелли, готовящегося снять маску с Петра I. Цитирую:

«И на листах он написал великое количество нескладицы, сумбура, недописи — заметки — и ясных чисел, то малых, то больших, кудрявых, — обмер. Почерк его руки был как пляс карлов или же как если бы вдруг на бумаге вырос кустарник: с полетами, со свинными хвостиками, с крючками; внезапный, грубый нажим, тонкий свист и клякса. Такие это были заметки, и только он один их мог понимать. <...>

А рядом с цифрами он чертил палец, и вокруг пальца собирались цифры, как рыба на корм, и шел объем и волна — это был мускул, и была толстая фонтанная струя — и это была вытянутая нога, и озером с водоворотом был живот. Он любил треск воды, и мускулы были для него как трещание струи».

И вот маска готова:

Лазурные кристаллы зла
И розовые пятна благодати
подкрашивают рыхлые тела,
подобные разобранной кровати,
по ярусам прохлады и тепла.
И синева кроваво разнесла
Свои покровы на закате (10).

От будущего в прошлое — смотри-ка:
изрыт сквозными арками излет
до беспредельности раздвинутого мига.
Архитектура беглая растет
от прошлого до будущего сдвига.
А миг уже разрушен и растерт.
И лишь волна волне равновелика (11).

Волне в очерке (поэме) о любви предназначено быть посланницей благой вести, которая, как известно, может быть передана разными способами. Вот один из них:

Волна то вспыхивает тускло-голубым,
то завернется в неприступный глянец,
а то зальется медью из глубин
и вдруг осмысленно и дико взглянет:
— Готовься, ты угадан и любим (17)...!
Таврическая улица, 1970–1971.

Новым текстом в тексте поэмы о любви является малая циклическая поэма «Вся в пятнах» (1965). Отсылая читателя к тексту, Бобышев пояснял в беседе с интервьюером «Независимой газеты»: «небесный план отражается в земных контурах солнечной лужайки». Но прежде, чем предложить мое понимание этого «отражения» (небесного в земном), хочу заострить внимание на рифме.

«Рифма — не только эхо и отражение, но и риф, заслон, барьер, который необходимо преодолеть. <...> Полнота бытия создается бесконечным эхом, взаимоотдачей и отражением звездного простора и пульсирующих корней. Рифма и есть такое эхо»² Г. Амелин, В. Мордерер. *Миры и столкновенья Осипа Мандельштама* [Post scriptum, с. 213].

Примером мне послужит текст, уже цитированный выше, в котором вопрос: «Что такое миг»? не ставится на обсуждение. «Миг» не является для лирического героя Бобышева предметом, который хотелось бы остановить, приручить, понять. И если у Гете нашелся для слова «миг» («мгновение») эпитет, продиктованный неумением его остановить и в то же время желанием его пригвоздить, подкупив лестью: «Ты прекрасно!», то текст Бобышева лежит в иной плоскости. Доминирующая роль в ответе на вопрос «Что такое миг»? играет рифма («риф», «заслон», «барьер,

² Эта пушкинская мысль существенно переосмыслена Пастернаком. У Пушкина (прежде всего, в стихотворении 1830 года «Рифма») скорее идиллия: Рифма — дочь Феба и нимфы Эхо, воспитанница Мнемозины — земное и гармоническое отражение божественной первореальности. Обратной связи здесь нет, да она и не требуется. У Пастернака эхо не предшествует рифме ни во времени творения, ни в иерархии соподчинения. Первореальность не отражается, а открывается благодаря рифме. Рифма и создает полнокровное эхо бесконечного взаимотражения земного и небесного [Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер. с. 227].

который необходимо преодолеть»). Понимание «мига» в тексте Бобышева определено (было определено) в ходе диалога:

Ты единственный, дымный, чадающий,
жизнь черкающий, как черновик,
ты, себя, уходя, не щадящий, —
вот мелькнул, вот запутался в чаще
из деревьев, троллейбусов, книг,
пульсов, роз, поцелуев, гвоздик...

Так определив «миг», текст Бобышева претендует на то, чтобы дать определение всей поэзии, ибо стихосложение — это «conVERSiO». Обмен как универсальный принцип циркуляции смыслов и установления эквивалентности уровней бытия. «Мир как стихотворение» и предполагает онтологическую уравниенность мира и стиха — VERS/UNIVERS. Глагол *verser* имеет значения: 1) «сыпать, насыпать» и 2) «лить, наливать, проливать». <...> «Сыпать» и «лить» обозначают два полюса, два противоположных и взаимосвязанных начала в поэтическом универсуме — дискретность и континуальность, в каждом конкретном случае конкретизирующиеся по-разному, — как жизнь и смерть, огонь и вода, сон и бодрствование и т.д». [Г. Амелин, В. Мордерер. Ibid, с. 218].

Второй части поэмы «Вся в пятнах» предпослан эпиграф из Тютчева: «Не то, что мните вы, природа...». Любопытно, что при составлении сборника «Петербургские небожители» поэт поместил эту, более раннюю поэму, следом за более поздней. Не берусь ответить, почему?, хотя попробую обозначить релевантность этого выбора для такого поэта, как Дмитрий Бобышев. Поэма «Вся в пятнах» целиком посвящена метаморфозам природы, вроде бы поэзией изначально экспроприированных.

Однако, это не совсем так. Исторически наблюдается контаминация, проистекающая оттого, что метаморфозы природы часто путаются с метаморфозами, претерпеваемыми поэтами, описывающими природу. В частности, Евгений Тоддес указывает на тождество природы с культурой в «Камне» и «Тристии» Мандельштама (*«волы, пчелы, ласточки <...> целиком окультурены, в них нет ничего собственно биологического»*). «Летят стрекозы и жуки стальные»). Он же сообщает об исчезновении этого тождества после 1920 г., когда «статус культурной символики сильнейшим образом поколебался».

Природы, насквозь тождественной культуре («Природа — тот же Рим...»), и культуры, гармонично продолжающей в мироздании природу, — более нет. При всей обратимости и тождественности двух универсальных начал культура была первична для художественного сознания Мандельштама 10-х годов. Теперь в его мире происходит инверсия культуры и природы». Тоддес Е. «Пшеница человеческая» в творчестве Мандельштама. [Третьи Тыняновские чтения, 1998, с. 200–201]. Уже в стихотворении 1916 года этот мотив выражен со всей очевидностью через выбор тропов³.

Подобный сдвиг, возможно, испытал и Бобышев. Очевидно уже в 1965 году, в композиции «Вся в пятнах»,

³ Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд (1916).

он отказался от тропов и от вмешательства авторского голоса в дела природы, сделав заявку на уникальность. Что делает его тексты уникальными?

Сквозь облако в поляну луч
вонзился, щекотно-колюч,
и мелким, пусть,
но жарким рвением
закопошился муравейник.

Начнем с точки зрения. В тексте фиксируется начало траектории луча, пронизывающего тучи, после чего, на том же дыхании, оценивается «жаркое рвение»... Чьё рвение? Луча ли или просыпающегося муравейника? Загадки такого типа не подпадают под понятие «*deus ex machina*», где текст создает проблему, но не решает ее, внедряя чью-то всеильную мудрость. Тогда что это? Это, полагаю я, система пропусков, о которой когда-то говорил Мандельштам. Что же здесь пропущено?

Траектория луча (солнечного луча?), начавшего путь по обратную и невидимую нам сторону облака и приземлившегося возле жилища муравьев, можно было бы назвать вертикалью. Но слова «вертикаль» в тексте нет и не должно быть, так как луч, который пробуждает муравейник, проделывает нелегкий путь, то пробивая облака, то отступая в поисках более доступного пути. Здесь как раз и находит применение то «жаркое рвение», необходимое для того, чтобы луч пробился по вертигоризонтали. И здесь зарыт секрет уникальности метода. Траекторию луча передает ритмический рисунок текста. Предлагаю взглянуть снова на текст. Разве он не движется по вертигоризонтали?

В предисловии к сборнику «Петербургские небожители» Бобышев сочувственно цитирует Мандельштама:

«На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира».

И хотя было бы поспешно причислять Бобышева к цеху акмеистов, полагаю, что слово «акмеизм», понимаемое как «стрельчатая поэтика», вполне приложимо к его стилю. Это замечательно сформулировал Aage A. Hansen-Love, хотя его адресатом был не Бобышев, а Мандельштам.

«Слово акмеиста — это та “игла”, которая — как жало пчел или ос — укалывает в тело читателя, и в то же самое время служит вышиванию текста-орнамента, состоящего из риторических и текстильных фигур. Таким образом, “игла” служит инструментом писания (в графике так же, как и в литературе), инструментом ранения в телесном и нарушения в культурном, нормативном смысле. В конце концов, “игла” — инструмент для вышивания “кружева” — и фигуральный элемент в каменном кружеве готической архитектуры. Поэтому Мандельштам говорит о “стрельчатом мышлении” Чаадаева, первого оригинального русского философа культуры, критикующего ее закрытость и бесперспективность и требующего переориентировки на западную, латинскую, готическую культуру». Aage A. Hansen-Love, ТЕКСТ—ТЕКСТУРА—Арабески. Развертывание метафоры ткани в поэтике О. МАНДЕЛЬШТАМА. [Тыняновский сборник, вып. 10, с. 255].

И далее:

«Вертикальность у Мандельштама понимается, как в латинском языковом мышлении термин “altus”, в смысле протяженности вверх и вниз. Принцип “стрельчатости” действует и в стремлении вверх стволов деревьев, камышового тростника, мачтового леса, с одной стороны, и, с другой, в стремлении вниз отвеса — инструмента архитектора мира, а также символа масонов (ср. “лес корабельный, мачтовый” и “отвес, пригнанный к пляшущей палубе” в “Нашедшем подкову”» [Там же, с. 255–256].

Во втором стихотворении сборника «Вся в пятнах» текст исследует, переключаясь с заголовком, горизонталь, причем, исследует в нескольких ипостасях, каждая из которых видится как пятно:

ПЯТНО

Себя накапливает день,
гудит и лиловеет тень,
гудят шмели,
и что-то шевелит листом,
и тихо веет от земли
большим теплом...

Как видим, природа знает разные виды пробуждения, и их сюжеты зависят от местонахождения и направления взгляда. Не случайно «взглядом» поименован третий стих, который потребует обширного комментария.

ВЗГЛЯД

Запятнанный теплом и светом,
луг загудел тенистым,
зазвенел нагретым
медовым золотым пятном;

и навзничь в небеса срываясь пчелы
летят, на миг увидев сверху дном
мир подгулявший в час его веселый,
и этот мир уносят густоселы,
как взяток, в дом.

Полагаю, что слово «густоселы», авторский неологизм, образован по матрице образования прилагательного «густолиственный». «Густоселы» это пчелы, вырвавшиеся из тесного улья и, заполонив собой небо, вбирают природу в себя в перевернутом виде, чтобы «возвратить» ее такой в свой улей. Эта картина, представленная с точки зрения пчел, не является острашением авторства Шкловского. Скорее, она напоминает читателю о философском различия между зрением и видением (*gaze and vision*), которому Лакан посвятил один из своих семинаров.

Памятуя об анализе Фрейдом визуальных сцен — снов, воспоминаний и фантазий пациента Сергея Панкеева в работе *Wolf Man*, Лакан замечает, что наблюдатель всегда структурирован полем зрения, хотя и доступным ему лишь частично. Недостаток возмещается на символическом уровне — в языковом выражении, которое никогда не воспроизводит реальный объект. Отсюда и противопоставление схемы зрения схеме взгляда (*gaze versus vision*), наглядно представленные Лаканом в ходе анализа феномена анаморфоза.

Слово «анаморфоз» происходит от греческого префикса *ана-*, означающего «назад» или «снова», и *morphe*, означающего «форма» или «образ». Анаморфоз — это деформированное изображение, которое предстает в своей истинной форме, если смотреть на него «нетрадиционным» способом.

«На семинаре, посвященном анаморфозу, Лакан комментирует картину Гольбейна «Послы» как «своего

рода конструкцию, созданную таким образом, что в результате оптического смещения некая форма, недоступная поначалу для восприятия как таковая, складывается в легко прочитываемый образ. Удовольствие состоит в наблюдении над тем, как образ неожиданно появляется из ничего поначалу не говорящей формы (пятна). Однако встав к картине под определенным углом зрения — таким, что в результате схождения перспективы трехмерность изображения на картине исчезнет — вы увидите, как появится перед вами череп, эмблема классической темы *Vanitas*. И всё это на великолепной картине, заказанной императорскими посланниками в Англии, которые остались, судя по всему, работой довольны и немало порадовались использованному в ней трюку.

Явление это исторически локализовано. Именно в шестнадцатом и семнадцатом веках к нему стали испытывать острый, даже завораживающий, интерес. Так, в одной построенной во времена Декарта иезуитской часовне была стена длиной восемнадцать метров, на которой сцены Рождества Христова и житий святых были написаны таким образом, что ни с какой точки самого зала разобрать, что на ней изображено, невозможно, и только при входе в зал из определенного коридора хаос линий складывался на мгновение таким образом, что сюжет росписи становился ясен». Лакан Ж. Анаморфоз. Четыре основные понятия психоанализа. [М.: Логос/Гнозис, 2004].

Предваряя свое видение картины Гольбейна и, возможно, для большей наглядности, Лакан приносит на семинар коллекционный экземпляр — полированный цилиндр с зеркальной поверхностью, рядом с которым имеет место плоская поверхность с нанесенным на нее множеством неразборчивых линий. Лакан поясняет:

«Посмотрев на нее под определенным углом, вы увидите, как появится в цилиндрическом зеркале искомый образ — очень красивая анаморфоза Рубенсовского распятия. Объект этот не был бы создан, не приобрел бы нужного смысла без предшествовавшей ему длительной эволюции».

Лакан продолжает:

«Возвращение искусства барокко к играм с формой и всевозможным, вроде анаморфоз, трюкам как раз и представляет собой попытку восстановить подлинный смысл художественного поиска. Художники барокко пользуются открытием свойств линий для того, чтобы добиться возникновения чего-то такого, чье местонахождение сбивало бы зрителя с толку, ибо место его, строго говоря, нигде. Картина Рубенса, возникающая на месте непонятого дотоле изображения (множества пятен!) служит прекрасной иллюстрацией того, о чем идет речь — речь идет о том, чтобы аналогическим, анаморфическим способом напомнить зрителю, что искомое нами в иллюзии является чем-то таким, в чем иллюзия, в каком-то смысле, выходит за собственные пределы, разрушает себя. <...> И именно это возвращает поэзии первенство среди искусств».

Конечно, чтобы деформированный образ, а точнее, множество пятен, нанесенных на поверхность пластины, трансформировался в зеркале в виде прекрасного образа, зрителю нужно всего лишь занять правильное положение, в то время достижение этого эффекта требует от художника особых знания и умений.

«Обычно анаморфирование осуществляется специальными оптическими системами, такие системы содержат цилиндрические линзы или зеркала, а также

зеркала разных форм». Jurgis Baltrusaitis, *Les Perspectives dépravées, Anamorphoses* (1984) [Paris: Flammarion, coll. Champs arts, 2008, p. 7].

Но прав ли Лакан, полагая, что явление анаморфоза «возвращает поэзии первенство среди искусств»? А если исторически поэтам удалось постигнуть искусство анаморфоза, в чем я сомневаюсь, почему этот феномен не привлёк внимания знатоков поэзии? Ведь Лакан ориентируется не на русскую, а на французскую поэзию, выбрав том Жака Дерриды, написанный по-французски же: *Dissemination*, переведенный на английский язык Барбарой Джонсон (University of Chicago Press, 1981), а на русский язык Дмитрием Кралечкиным (Диссеминация, 2007).

Я задержусь лишь на главе под названием *La double séance*, 1972 [Двойная сессия, 2001], где Деррида распаковывает текст Стефана Малларме, описывая технику анаморфоза, ни разу не упомянув самого слова, столь знакомого живописцам. Однако....

Первая версия «Двойной сессии» была опубликована в журнале *Tel Quel* (41 и 42) 1970 года, хотя текст был послан в редакцию без заглавия, т.е. так, как он был зачитан в двух докладах на двух заседаниях «Группы Теоретических Исследований» 26 февраля и 5 марта 1969 г. Взяв в качестве примера два стихотворения Малларме, Деррида обращает внимание на отсутствие заглавия (я адресую тему заглавия и его отсутствия в рукописи *Как обстоят дела в империи N?* — А.П.), и даёт определение текста, которое можно было бы дать анаморфозу:

«Текст является текстом лишь тогда, когда он скрывает, с первого взгляда, *закон своего построения и правила своей игры* [выделено мной — А.П.]. Более того, текст всегда остаётся не воспринятым. Его закон

и правило не окутаны непроницаемой тайной; скорее, они никогда не даны восприятию как таковые, в настоящем» [Деррида, *Диссеминация*, 2007].

Возможность того, чтобы текст не был текстом, подтверждается другим автором в контексте детального исследования архитектурных музеев — музеев, чья музейность далеко не очевидна. Их статус зависит от более глубокого исследования:

«Это уже не просто исследование того, что такое проектная работа — архитектура как произведение — и чем она может быть. Речь уже не идёт просто об описании противопоставления реальных архитектурных практик и набора воображаемых практик, но о понимании посредством музея природы *взаимоотношений между замыслом и реализацией* [курсив введен — А.П.]. Иначе говоря, мы используем, с некоторой долей неуверенности, язык «деконструкции»: использование музея для того, чтобы поставить под сомнение предполагаемое противопоставление между искусством строительства и самим строительством, между архитектурой и конструкцией» [Домуш, *Skyline. Нарциссический город*, с. 65].

Деррида адресует своё прочтение одного из сонетов Малларме Р. Г. Кону, который предпринял реконструкцию «всей цепочки, связывающей пустое пространство с семенем — будь то путём прямого присвоения свойств, через семемическую⁴ ассоциацию с молоком, соком, звёздами [étoiles]... или через тот Млечный Путь, который затопляет весь корпус Малларме» [Деррида, «Dissemination», с. 387].

⁴ Слово «семемический», производное от слова «семема», является новообразованием, обозначающим минимальную единицу плана содержания языка. Принцип образования «семемы» из «семени» аналогичен принципу образования «морфемы» из «morphé» («вид», «форма») или «фонемы» «phoneme» («звук»).

Хотя Бобышев не использует подобных атрибутов, семимические ассоциативные цепочки присутствуют почти в каждой строке его стихов. Позволю себе минутку педантичности, повторив ранее сделанное замечание: поэзия Бобышева отличается полным отсутствием поэтических тропов — даже там, где можно было бы предположить их наличие. Например:

Из бывшей, списанной столицы
Мы вырвались, как две страницы;
лес эту грамотку обстал
и наспех нас перелистал.
Листал, как ветер лищет книгу,
нисколько не следя интригу, —
взглянув поверхностно, чуть-чуть,
он сразу схватывает суть.

Этим строкам предпослано указание на отсутствие и наличие соглядатая.

«Никого — только мы да глядевшие в нас сквозь тяжелую хвою: и рдение рябины, и глаз той сиреневогрудой внимательной крохотной птицы; как зрачком, этой птичкой водили лесные глазницы, с нас ее не сводили, пока не смежилась хвоя».

Уже в этом прелюде нам дается ключ к прочтению стиха. Два объекта созерцания представлены анонимно (как «мы»), в то время как два соглядатая названы («рдеющая (красная) рябина» и «сиреневогрудая птичка»), хотя представлены загадочно. Они, конечно, соглядатаи, но вместо того, чтобы глядеть «на», они предпочитают глядеть «в», хотя... это затруднительно, ибо им предстоит взгляд «сквозь хвою», а точнее, с разрешения хвои, ибо им дано смотреть «сквозь хвою» ровно столько, сколько хвоя им позволяет. Всё это пишет поэт Бобышев, приступая к занятию, подтверждающему его великий титул поэта.

Загадка выражена в *ottava rima* со слегка нарушенной структурой рифмы. «Мы» — всё те же анонимные «мы», теперь завершившие некое действие. Мы «вырвались». Вроде бы важно не откуда, *но как*. Но не верьте тропу. Его там нет. Страницы не могут сами вырваться. Их должен кто-то вырвать. Этот кто-то — ветер. Теперь эти вырванные ветром страницы («грамотка») могут быть при желании прочитаны. Но кем?

Возможно, «лесными глазами», которые в прозаическом отрывке «с нас ее (птичку) не сводили». Запутанно? Безусловно. Но допустим речь идет о «лесе», который... «Лес эту грамотку... обстал», т.е. «обступил» (слово устаревшее, поэтическое!) и по-поэтически намекающее на то, что эти два вырванных ветром листа...

Внимание! Сейчас текст подключает нас — уже не к рамочке, а к лесу. Что же делает расступившийся лес?... «и наспех нас перечитал». Кто же эти «нас» — неужели те анонимные «мы», которые откуда-то «вырвались», чтобы поделиться своими стихами? Но теперь «мы», уже читатели, которые находятся в эпицентре анаморфоза. И это «мы», читатели, держим в руках грамотку, и нами, читателями текст остался (бы) доволен, если бы мы, прочитав этот текст «наспех», схватили (бы) его... «суть».

Что же это за условие? Здесь речь, кажется, идет о заражении текстом. Припомним пчел, которые на свободе увидели мир перевернутым. В тексте Бобышева, скажу точнее, в «Двойном сеансе» (тексте), который... «обстал», но теперь уже не грамотку, а тех самых пчел:

Звезда в потемках заблестала...
Укромное огромным стало,
и всей вселенной нехватало
поляну сонную вместить;

тогда небесная поляна
уже без умысла и плана
вниз головой пошла, как спяна,
вовсю соцветьями светить.
Таврическая улица, декабрь 1965

Есть ли во всей этой конструкции место для тропа?
Нет, это место занято самой конструкцией.

«Давно замечено, — писал П. Флоренский, — что в литературном произведении внутренне господствует тот или другой образ, то или другое слово; что произведение написано бывает ради какого-то слова и образа или какой-то группы слов и образов, в которых надо видеть зародыш самого произведения...».

У поэтов ОБЕРИУ таким словом был «шкаф». В философском трактате 1934 года Александра Введенского *Мне жалко что я не зверь* (№ 26) есть такие строки:

кончик буквы взяв,
я поднимаю слово *шкаф*,
теперь я ставлю *шкаф* на место,
он вещества крутое тесто.

Слово «шкаф» появляется в стихотворении Введенского как бы случайно, т.е. благодаря случайному же прикосновению «я» к кончику буквы (какой именно буквы — неизвестно). Но за этой случайностью скрывается принципиальная философская концепция обэриутов: принцип превращения слов в предметы и, наоборот, предметов в слова.

«Особого внимания заслуживает категория превращения слова в предмет, — вписывающаяся, в широком контексте аналогий, помимо своего философского и поэтического смысла у Введенского, в эсте-

тику авангарда, как ее одновременно декларировали в 1913 году и футуристы (с их (анти)эстетикой “слова как такового”), и акмеисты (с пресловутой розой, которая “опять стала хороша сама по себе своими лепестками, запахом и цветом”) — и как она формулировалась, с настойчивым соположением слова и предмета, в манифесте ОБЭРИУ.

Впервые категория превращения слова в предмет эксплицирована у Введенского в стихотворении 1929 года *Две птички, горе, лев и ночь* (№ 9), где слово племя (игравшее с барыней в ведро в стакане, что в руке у носящегося по морю тушканчика, — птички тщетно пытаются выяснить значение этой игры):

...слово “племя” тяжелеет,
превращается в предмет.

Являясь ключевым словом обэриутов (“искусство это шкаф”), слово “шкаф” материализуется в “центральной шкапе”, на котором во время знаменитого обэриутского вечера в Доме печати сидел Хармс и из которого выходил на сцену Введенский (шкаф этот оставался от постановки Игорем Терентьевым гоголевского “Ревизора” на сцене Дома печати); наконец, в записи Хармса 1930 года упоминается статья “Шкап и нуль” или “Ноль и шкаф”, — возможно, первоначальное название его трактата “Нуль и Ноль” (записная книжка № 18). Шкаф присутствует и среди трансформируемых предметов» [Мейлах, с. 190–191].

Аналогичным образом ключевым словом для Пастернака является слово «двор», центральное в стихотворении «Посвящение»⁵.

⁵ Переработанный текст этого стихотворения назывался — «Двор» (1928).

Двор, этот вихрь, что, как кучер в мороз,
Снегом порос и по брови нафабрен,
Снегом закушенным, — он перерос
Черные годы окраин и фабрик.

«Символика двора отражает структуру творческого процесса, его истоки, телеологический градус, если воспользоваться известным выражением Мандельштама. Двор, а вместе с ним и поэт, приговорены к какой-то вечной нехватке бытия (“на недоед, недосып, недопой”), на “боль” и страдания» [Г.Г. Амелин, В.Я. Мордерер. POST SCRIPTUM. Тыняновский сборник, Том 6,7, с. 216].

Ключевое слово оттого и называется ключевым, что открывает заветную дверь к словам, родство которых вне корпуса стихотворений данного поэта не представляется возможным. В частности, «вторым словом, совершенно необходимым для понимания стихотворения и держащим своей языковой и метаязыковой формой всю структуру “Посвящения” является слово — “Post”» [Г.Г. Амелин, В.Я. Мордерер. POST SCRIPTUM. Тыняновский сборник, Том 6,7], с. 219. Третьим словом является слово «преграда», «застава» (от *франц.* *barriere*): «Люди, горожане ограждены от холода и тьмы свечами, шубами, фужерами — домашним теплом и уютом. Но не поэт, он не огражден, его место — в департаменте голи, его ханская власть — в нищете. Он — Прометей не огня, но стужи. И это не случай какой-то особой диалектики, а типичный пример пасернаковского мышления».

«В последующих текстах «Поверх барьеров» мы будем сталкиваться с ними буквально на каждом шагу. Так, например, в стихотворении «Мельницы» не фантаст Дон-Кихот будет сражаться с ветряными мельницами житейской косности, а сама мельница как символ поэтического гения, перемалывая благоразумие, будет нести по всему свету фантазии искусства. Помол — дар фантастических

вероятий дробимого слова. Дон-Жуан получает отказ и одерживает победу над собой (“Марбург”)) [Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер. POST SCRIPTUM. Тыняновский сборник, Том 6,7, с.120–121].

Таким «дробимым словом», внутреннее господствующим в текстах Бобышева, является слово «звезда» и целый ряд производных от нее слов, отражающих траекторию движения звезды. «Звезда» — это конечно «свет» и «луч», соединяющие небо и землю по вертикали. Однако «Звезда» — это также «птица», «ночная птица», как порой называют соловья, чья песня, в той же интерпретации, «льется и поется звездой». Это равенство есть знак приобщения к поэтическому слову как таковому. У Пастернака это приобщение загадочно:

Ночам соловьем обладать,
Что ведром полнодонным колодцам.
Не знаю я, звездная гладь
Из песни ли, в песню ли льется.
Но чем его песня полней,
Тем полночь над песнью просторней.
Тем глубже отдача корней,
Когда она бьется об корни («Эхо»).

Загадочным в тексте является испытание «Или-или» Кьеркегора: то ли соловей обладает ночью, то ли ночь соловьем, то ли звездная гладь льется из песни, то песня льется из звездной глади? Одного решения нет, ибо оба возможны. Ведь «обманутый» по Плутарху, «мудрее того, кто не обманут». Бобышев испытывает эту ложную альтернативу в первой трети стихотворения «Ноктюрн», правда, испытывает со свойственным ему преломлением.

Знаю: взрывы и пульсары,
лёд и гнев огня.
Может быть, такой же самый
такт и у меня?

Я ль тогда, как белый карлик
в прорвах чёрных дыр,
вдруг — случайный отыскал их
смысл: зенит, надир?

Этот знак, души побудка,
Божья звездоречь
обещают: будут, будто,
ночь меня стеречь.

В этих трех катренах «или-или» Кьеркегора осложняется тем, что эта ложная альтернатива озвучивается от имени «я», *реального* или псевдо-реального, обычно в поэтических текстах Бобышева отсутствующего. Этот чуждый, а, стало быть, чужой голос утверждает свое «знание», являющееся знанием в кредит, или предположением, которое может быть выражено древнерусским словом «посул» (своего рода взяткой). Как это следует понимать?

Начну с того, что «знаю» лирического героя, если и является знанием, есть знание предварительное. Самоидентификация «я» «как белый карлик», дана не только через маловероятное сходство, но и в форме вопроса, хотя и не случайного. «Белым карликом» называется маленькая звезда, которая из-за своей массы, сравнимой с массой солнца, может считаться заместителем солнца. Но в первом катрене «я» делает заявку на знание других звезд:

«Пульсары» — пульсирующие звезды (pulsing stars), своим названием напоминают о пульсе или, в терминах поэты, «такте», наличие которого лирический герой предполагает и у себя. Но откуда у «я» возникает это предположение? Лучи «Пульсара» опознаются, среди прочего, по рентгеновскому излучению, которое в фантазии лирического героя способно создавать, помимо изображения внут-

ренных органов, еще *такт* с его чередованием холода и жара («льда» и «гнева огня», возможно, даже «зенита» и «надира»). Как видим, для понимания хода поэтической мысли в тексте не достаёт именно того, что объявлено в «я знаю». Но есть обещание. Дана взятка, предлагающая читателю будущее знание, как было обещано, в другом тексте. Вот он:

ЗВЕЗДА

Какая яркая — огня и льда слиянья,
и — силится внушить пульсирующий знак!
Я мог его понять, но только сам сияя,
сияя, — что давно и далеко не так.

А виделось: горит в селеньях занебесных
оконная свеча в покое, где ночлег.
Последний перегон, и мысль истает в безднах...
И всё же не совсем, — так верит человек.

Но ежели вблизи мерцания и света
на месте мировом откроется дыра
и слижет огонек, — примите весть, что это
кому-то на покой в той горнице пора.

Какая яркая, какая ледяная
и вечная... Хотя — вся вечность: до зари.
Мгновения мои в себе соединяя,
вот — и сорвется луч. Я говорю: — Гори!

Речь в этом, другом, тексте, снова идет о пульсирующей звезде, и наблюдение над ней ведется тем же «я», что и в «Ноктюрне», но с другой позиции. «Я» уже не верит в родство «пульсирующего» луча (и «пульсирующего» этой звезды *сияния*) с пульсом собственной жизни:

Я мог его понять, но только сам сияя,
сияя, — что давно и далеко не так.

Эта вера, которая показалась надежным маяком тогда, (в «Ноктюрне»?), сейчас это «я»... оставила.

Но ежели вблизи мерцания и света
на месте мировом откроется дыра
и слижет огонек, — примите весть, что это
кому-то на покой в той горнице пора.

Но оставила ли «я» эта вера? Ее всемогущество (лед и пламень) имеют срок действия:

... Хотя — вся вечность: до зари.
Мгновения мои в себе соединяя,
вот — и сорвется луч. Я говорю: «Гори»!

Таков текст в тексте — *mise en abyme*⁶ — дающий необходимые знания для прочтения «Ноктюрна». Но почему стихотворение названо ноктюрном? Ведь «ноктюрн» не является поэтическим жанром, а само слово происходит от французского «*nocturne*», что означает «ночной». Тогда почему Бобышев назвал «Ноктюрном» философские размышления? К тому же мысль лирического героя даже не привязана к ночи.

Ну, а днём что с ними делать:
карту Мира смять?
Было мук у Данте — 9.
у меня — их 5.

5 неправых нетерпений:
чтоб сейчас, и здесь
непременно, и теперь, и —
«бы», — чтоб стало «есть».

⁶ *Mise en abyme* — расхожий термин, используемый в теории литературы и пришедший туда из средневековой геральдики, где миниатюрный герб оказывался помещенным в центре герба.

Признавая за собой «5 неправых нетерпений»: чтобы все желания исполнялись «сейчас», «здесь» и «непреренно», лирический герой Бобышева возводит это «нетерпение» в философское правило: «“бы”, — чтоб стало “есть”».

Полагаю, что это правило, на первый взгляд странное, приглашает равенство между желанием и исполненным желанием в реальном мире. Не случайно эти два фактора соприсутствуют, как показал Фрейд, именно во сне, а, будучи приуроченными к ночи, нарушают табу на разглашение тайн, которое непременно нарушается во сне. А так как это философское правило предполагает наличие строгой художественной структуры, оно становится неотъемлемым свойством художественного и конечно же поэтического текста.

Интервьюируя Бобышева в конце 2024 года, талантливый журналист «Сноба» Алексей Черняков позволил себе нарушить табу на чувствительные темы, способные вызвать дискомфорт у интервьюируемого лица.

«Вы чувствуете зависть к Бродскому или обиду на него? Неужели не хотели бы оказаться на его месте в 1963-м, если можно было бы при этом не меняться поэтическими голосами?»

Как видим, вопрос, прозвучавший в интервью или «ИНТЕР-Фью», если воспользоваться словарем Бо, был рассчитан на эффектный ответ, который был ему незамедлительно дан. Бо разбил свой ответ на два голоса. Первый голос прозвучал, как серия риторических вопросов с очевидными ответами:

«Скажите, как может счастливый любовник завидовать несчастливому? Как может живой человек быть в обиде на мертвого? Хочу ли я сейчас перелететь из моего американского дома через океан и оказаться лежащим в могиле на острове Сан-Микеле? Это абсурдно. Скорей

наоборот, это он мог бы мне позавидовать. Если б мог... Ведь даже богоравный Ахиллес завидовал последнему живому батраку, как свидетельствовал Одиссей, вызвавший его тень из Аида».

Но далее... Второй голос объявил о новом свидетельстве в форме «моего собственного сочинения»... под названием... «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК». Вот этот текст:

Счастливый человек поцеловал в уста
Венецию, куда вернулся позже.
Такая же! Касаниями рта
ко рту прильнула тепло-хладной кожей.

Приметы на местах. Лев-книгочей;
зелено-злат испод святого Марка,
а мозаичный пол извилист и ничей:
ни Прусту, никому отдать его не жалко.

Ни даже щастному, счастливому себе.
Или — тебе? Поедем «вапореттом»,
и вверим путь лагуне и судьбе,
и дохлым крабиком дохнёт она, и ветром

По борту — остров мёртвых отдалён:
ряд белых мавзолеев. Кипарисы.
Средь них знакомец — тех ещё времён —
здесь усмиряет гнев и капризы

гниением и вечностью. Салют!
Приспустим флаг и гюйс. И — скорчим рыла:
где море — там какой приют-уют?
Да там всегда ж рычало, рвало, выло!

Но не сейчас. И — слева особняк
на островке ремесленном, подтоплен...
Отсюда Казанова (и синяк
ему под глаз!) в тюрьгу взят был во-плен,

в плен, под залог, в узилище, в жерло, —
он дожам недоплачивал с подвохов
по вексяям, и это не прошло...
И — через мост Пинков и Вздохов

препровождён был, проще говоря...
А мы, в парах от местного токая,
глядели, как нешуточно заря
справляется в верхах с наброском Рая.

Она хватала жёлтое, толкла
зелёное и делала всё рдяно-
любительским, из кружев и стекла,
а вышло, что воздушно-океанно,

бесстыдно, артистически, дичась...
Весь небосвод — в цветных узорах, в цацках
для нас. Для только здесь и для сейчас.
В секретах — на весь свет — венецианских.

«Счастливым человек», Дмитрий Бобышев, пишет стихи о «Венеции», выбрав знаковое место Иосифа Бродского. Ведь именно там Бродский вроде бы побывал ни много ни мало 17 раз. Однако прежде чем привести для сравнения строки Бродского, предлагаю припомнить поэта, которого Бобышев открыл в ранней юности и считал своим единственным ментором. Рильке был в Венеции 10 раз: впервые — в марте 1897 года, а в последний раз — в июне 1920. Что же влекло к Венеции Рильке?

Для него «узнать Венецию <...> со временем как бы стало означать “перестать ее узнавать”, научиться ее “не узнавать”, потому что наивный отклик на всем известные черты города, сугубо венецианские внешние детали, перенесенные в стихи, почти наверняка оказывались писанием Венеции мимо ее сути». Цитирую по Зиновьева А.Ю.

«Венецианское искусство в творчестве Р.М. Рильке». Литература и искусство. Век двадцатый, пятая серия. [М.: 2020], с. 259.

Не тому ли завету свято следовал сам Бобышев, наблюдая, как Венеция, «бесстыдно, артистически, дичась», приподнимала для него полу небосвода: свои, сугубо Венецианские «узоры» и «секреты»? Но приоткрывала ли? Разве речь идет о далеком прошлом? Венеция открывает свои сокровища поэту «Для только здесь и для сейчас».

Бродский посвятил Венеции два стихотворения, главное из которых «Венецианские строфы 1 и 2» (1982) состоит из восьми октав, из которых только шестая может быть, хотя и не без натяжки, отнесена к Венеции:

Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную
раковину заполняет дребезг колоколов.
То бредут к водопою глотнуть речную
рябь стада куполов.
Из распахнутых ставней в ноздри вам бьёт цикорий,
крепкий кофе, скомканное тряпье.
И макает в горло дракона златой Егорий,
как в чернила, копьё.

Натяжка заключается в том, что «раковина», хотя и является религиозным символом, всё же в самой Венеции остается элементом декора. Как раз символы Венеции — крылатый лев святого Марка-евангелиста, часто изображаемого с книгой, как видим, воспроизведены Бобышевым:

Приметы на местах. Лев-книгочей;
зелено-злат испод святого Марка,
а мозаичный пол извилист и ничей:
ни Прусту, никому отдать его не жалко.

Я вижу натяжку еще и в небрежности. Например, изображение Георгия Победоносца (Егория), «макающего копьё в горло дракона»... соединено союзом «и» с «запахом кофе» и «скомканного тряпья», «бьющим в ноздри из распахнутых ставней». Но, пожалуй, главной для нашего контекста является последняя, восьмая, октава, сочиненная от первого лица:

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.
Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.

Пейзаж, способный обойтись без поэта, это Венеция, которой поэт посвящает стихотворение. Однако вместо мысли о «пейзаже-Венеции», поэт занят мыслью о «казни», которую приготовила ему венецианская природа за подмену мысли о пейзаже мыслью о себе.

И всё же...

Какими бы ни были самооценки заявленных здесь поэтов, каждый из них по праву может претендовать на обширный круг восторженных (по)читателей. И эта счастливая мысль, которую я с радостью разделяю, принадлежит поэту, занявшему место в квартете под названием «Ахматовские сироты». Имя этого поэта Анатолий Найман (1936–2022). Он ушел от нас через 40 лет после того дня в 1983 году, когда он посвятил каждому из заявленных здесь поэтов по октаве, взяв излюбленный стихотворный размер Бобышева.

Вот эти строки:

Я знал четырех поэтов.
Я их любил до дрожи
губ, языка, гортани,
я задерживал вздох,
едва только чуял где-то
чистое их дыханье.
Как я любил их, боже,
каждого из четырех!

Первый, со взором Леля,
в нимбе дождя и хмеля,
готику сводов и шпилей
видел в полете пчел,
лебедя — в зеве котельной,
ангела — в солнечной пыли,
в браке зари и розы
несколько букв прочел.

Это конечно же Бобышев. Он первый, и первое, что заметил в нем Найман, это сходство: Бобышев-Лель, бог любви. Опознавательными знаками Бобышева-Леля являются отсылки к «хмелю» и «ангелу в солнечной пыли», взятые из поэмы «Вещественная комедия».

Третья октава посвящена (нетрудно догадаться):

Другой, как ворон, был черен,
как уличный воздух, волен,
как кровью, был полон речью,
нахохлен и неуклюж,
серебряной бил картечью
с заброшенных колоколен,
и френч его отражался
в ртути бульварных луж.

Ярким брюнетом был безусловно Рейн, опознаваемый еще и по «френчу», который он носил на первом курсе Технологического института, где учились вместе с ним Найман и Бобышев. Поэтом четвертой октавы представляется мне Михаил Кузмин, автор поэмы «Форель разбивает лед» и меломан, способный слушать и озвучивать «подлёдную музыку», хотя дочь Рейна, Анна Наринская, полагает, что им мог оказаться Стас Красовицкий, что маловероятно хотя бы потому, что он был москвичом.

Третий был в шаге лёгок,
в слоге противу логик
летуч, подлёдную музыку
озвучивал наперед
горлом — стройней свирели,
мыслью — пружинней рыбы,
в прыжке за золотом ряби
в кровь разбивающей рот.

В пятой октаве, по общему убеждению, выведен Бродский, автор «Рождественского романса», посвященного Рейну «с любовью», где опознаваемым знаком является «ночной кораблик негасимый из Александровского сада»:

Был нежен и щедр последний,
как зелень после потопа,
он сам становился песней,
когда по ночной реке
пускал сиявший кораблик
и, в воду входя ночную,
выныривал из захлёба
с жемчугом на языке.

Как видим, Бродский упомянут Найманом последним. Однако, сам являясь четвертым в квартете «ахматовских

сирот», Найман отменяет принцип очередности. Последняя октава уравнивает поэтов, будь то четыре поэта, любимых автором, или четверка ахматовских сирот, к которым по праву принадлежал Анатолий Найман:

Оркестр не звучней рояля,
рояль не звучней гитары,
гитара не звонче птицы,
поэта не лучше поэт:
из четырёх любому
мне сладко вернуть любовью
то, что любил в начале.
То, чего в слове нет.

Последний вопрос интервьюера был задан Бобышеву как поэту, судьба которого была определена поэзией:

«На мой взгляд, и Рейна, и Бродского, и вас — каждого по-своему — поэзия стерла в человеческом отношении, «употребила» в своих интересах вашу дружбу и ваши судьбы. Она сделала вас своими инструментами. Вы были готовы к тому, что стихи сделают с вашей жизнью? И ощущаете ли это экзистенциальным поражением?»

«Поражением — никогда. Это моя цель. Я сознательно стремился к ней, и вот — достиг! Я стал человеком-текстом. “Человекотекст” — так я назвал по жанру свою автобиографическую трилогию: “Я здесь”, “Автопортрет в лицах” и “Я в нетях”. Или даже — тетралогию, если считать дополнением книгу “ЗЫ, или Post Scriptum”. Но и это, возможно, еще не конец». Таков был ответ Бобышева, завершающий интервью.



IN MEMORIAM

Владимир НАУМЕЦ

(Одесса – Кёльн)

ШЛЯПА С ПОЛЯМИ

(Отрывки из повести)

Так на холсте каких-то соответствий
Вне притяжения жило Лицо.

В. Хлебников

Это было время, когда, увидев милиционера, переходил на другую сторону улицы. И каждые две недели ко мне в мастерскую на Солянку приходил оперуполномоченный. Проверять. Как я рисую. И что. Иначе — за 101 километр. Ведь из моей мастерской был виден Кремль.

Середина 80-х. Кухня на Казанском переулке. За окном глухая стена французского посольства. Пьем черный чай. По-настоящему черный. Хрущ заваривал. Курим. Помню — считал. По восемь трубок за ночь.

— Чай и табак — это вставляет, — слегка заикаясь, говорил Хрущик. Закатываем кресло на кухню. Хрущик укладывается поглубже, как в гнездо. Шляпу на глаза! Ноги на батарею. Стекло кухонной двери плотно прижималось к креслу.

У Хруща цепкая память. Всё обточено. Какие-то сюжеты, которые часто повторялись. Как у него в кармане план Исторического музея. То есть всех подвалов и переходов. А в это время наверху, в залах музея, проходила выставка скифского золота. И он не мог себе простить, что этим не воспользовался.

Серьезно это или нет? Байка. Очередная. Потом следующий сюжет. Всегда интересно и неожиданно.

Как-то я ему сказал:

— А у тебя всё готово. Только записать — и будет книга.

Как бы ты ее назвал?

Хрущик (тут же):

— Окорок, душа и анкета для заполнения.

Я вспомнил его текст в каталоге (середина 70-х): «...по профессии печник. Живу на сбережения бабушки».

В конце 70-х я сделал портрет Хрущика на Чижикова. Он очень обиделся. Но ничего не сказал. В ответ сделал мой, но так зашифровал знаками, что неясно, кто это.

Я б на его месте тоже обиделся.

Грязная «стетсоновская» шляпа.

Она была хороша. Но как-то мы зашли в московскую чебуречную на Сретенке. Сначала Хрущик бросил шляпу на скользкий столик. Уходя, прихватил жирными от чебуреков пальцами. Теперь шляпа по-настоящему стала «родной».

Еще на портрете был изображен жировик на щеке. Он уже был со сливу (потом его вырезал знакомый хирург в самый последний момент).

На портрете огромную курительную трубку охватывала неуклюжая ручонка. И это при необыкновенно пластичных пальцах Хрущика.

Линялая, перепачканная краской майка, надетая наизнанку. Вечный хохолок на затылке.

...И надпись по фону: «Табак утром и вечером».

Курили, меняли перегретые трубки. Все были фирменные, никакого фуфла Хрущик себе не позволял.

В перерывах — сигареты. И крепкий чай. Ворованный. Зубы табачно-чайного цвета. Когда хихикал.

Моя маленькая Дашенька:

— Папа, а Хрущик такой красивый!

— А что красивое?

— Зубы.

Она воспринимала его особенно.

— Папа, а собак в метро пускают?

— Нет, конечно.

— А почему Хрущика пускают?

Это время, когда собака была эталоном.

— Мама, ты такая хорошая, как морская свинка или хомяк.

— Может быть, как собака?

— Нет, собака лучше.

В 1975 году Хрущик объяснил мне, как заправлять трубку табаком. Не вынимая из пакета. Чтоб не рассыпать драгоценный табак. Потом «раскопчегарить». И что «от хорошего табака дым, как молоко». И что от Чижикова до бульвара — одна трубка.

Хрущик предпочитал трубки прямые, английские, крупных размеров, «с большой колбой».

Сцена на Чижикова (конец 70-х).

Двери распахнуты. Всё в состоянии постоянного ремонта. В углу мешку цемента уже пять лет. В другом — несколько кирпичей и стекла стопкой. На стенах доски с помойки.

На них наклеены кружева.

Изящно промазаны малярной краской. Огромное окно, разбитое на квадраты.

Под ним длинный стол.

Стаканы, черные от чая.

Рядом гнутое кресло-качалка. Для гостей. В нем сидит длинная голландка и курит маленькую голландскую трубку.

Рядом с трагическим лицом сидит Хрущик. Он курит огромную английскую трубку. Молчат.

Объединяет только трубка.

Точнее — голландский табак.

Если отодвинуть кресло-качалку, то в полу будет дверца.

Хрущик открыл ее.
В темноте засветился унитаз.

Прямо вниз.

К нему ведут три-четыре гнилых ступеньки. И садись.
У Хрущика был свой туалет.

По-моему, дверцу в полу Хрущик открывал ключом.
Весомое количество ключей, самых невообразимых, висело на цепи. Цепь крепко приделана к джинсам и опущена в карман.

Хрущика явно при ходьбе клонило в правую сторону.
Вечная шляпа на голове.

С загнутыми полями. Или прямыми. Не шляпка. Не местное производство. Не «самопал». А лучших фирм.
«СТЕТСОН».

Если Хрущик снимал шляпу, он как бы терял половину себя.

Не только в росте.

Шляпа с полями ловила импульсы.

Концентрировала энергию.

На ее полях собирались биополя.

Она окуривалась трубочным дымом лучших сортов.
Магических.

Дашенька:

— Знаешь, какие слова я люблю? Пескарь. Хрумкать пескаря. Хрущик хрумкал пескаря.

Сейчас в левой руке у меня дымится трубка. Прямая, с медным кольцом.

По меди резаны листья. Узор не кончен. С левой стороны кольца цифры 1982, с правой — буквы ХВ.

Кольцо и резьбу сделал Хрущик.

В 82 году я купил у него эту трубку. За тридцать рублей.

Вероятно, она была продана только потому, что мундштук не вынимался из-за плотного кольца.

Конечно же, Хрущик ничего не сказал. Прочистить ее было невозможно. Пропорции и качество трубки были классических традиций. Англия.

Я залил коньяком трубку на ночь.

Смола растворилась. Трубка ароматизировалась. И теперь обычно из нее курится табак специальный, пропитанный виски или ромом.

Как-то на Пасху я зашел на Чижикова. Хрущ в новых домашних тапочках. На них свежие буквы. Праздничные. На правой — Х, на левой — В.

— Неужели Христос воскрес? — ужаснулся я.

— Хрущ Валентин, — был ответ.

Тогда же у Хруща увидел я необыкновенной красоты портрет.

Исполнен как бы дымом и мельчайшими штрихами. Не рукотворный.

Но все же рука Хрущика.

Он и объяснил, что дело в фиксативе. Его не было. Пришлось фиксировать рисунок сладким чаем.

На сладкое налипли мошки, комары, мухи...

Никто не знал. Все высохло. Прошло лето. Когда Хрущик смахнул тряпкой лишнее, остались одни лапки.

Счастье увидеть работу художника (гения) не в окончании, а в процессе.

В Лондонской национальной галерее выставлен неоконченный холст Леонардо. Умбра, кость и белила выявляют форму из общего тона.

Точно свет постепенно нарастает. Но цвета еще нет. Его и не надо. Видимо, Леонардо «раскрашивал» уже потом, когда все найдено.

Для массового зрителя.

Сама работа многое при этом теряла. Так как опускалась из духовного (светового) пространства в чувственное (цветовое).

Англичане умно выставили этот шедевр. В отдельном, затемненном зале. Он постепенно высветляется для входящего.

Входя в темноту, нужен свет.

О цвете он не думает.

Хрущ не понимал букву «Щ».

Хотя она и присутствует в его фамилии. При мне он писал записку Щукину. Написал — «сцюкину». Конечно же, с маленькой буквы.

Вспоминал, что пошел в первый класс по крышам, влез в окно. И со своими папиросами. В 1955 году директор одесской художественной школы был без глаза и с фамилией Горб. Милейший человек. Голоса его я не слышал. Общался интеллигентно, на импульсах.

Хрущик тогда был другой.

Чистый, упитанный.

Грудь колесом, ученическая форма застегнута на все пуговицы. Только форма, другой одежды не помню.

Иссиня-черная щетка волос.

Смуглое круглое лицо.

Умные узкие глаза.

Лучшего рисовальщика не было.

Натюрморт с уткой, безупречной красоты.

Точными короткими штрихами.

Нежнейшими полутонами.

Он ничему не учился.

С этим рожден. Просто проявлялся. Постепенно.

В глубине его работ я всегда вижу чистоту, ясность и выверенность древнего японского искусства.

Несмотря на любую внешнюю неряшливость.

Этому научить невозможно.

Чувство композиции, которое потеряно.

Чувство формы нездешнее.

Кем он был в предыдущей жизни?

Два-три взмаха стамеской.
Где-то потерто цветным мелком.
Что-то пропитано акварелькой.
Процарапано шариковой ручкой.
Из помоечного обломка какой-то старой мебели — живая рыбка.
Просто обманка.
Такую не раз хватали, чтоб закусить.
Как-то в Москве мы зашли в храм Иоанна Воина поставить свечку.
Хрущик замер перед Распятием.
Приложил шляпу к груди.
Почти не дышит.
Я подошел и увидел замечательной резьбы Распятие. Нераскрашенное. Из ценного дерева. Цельное.
Глазами Хруща я проследил каждый поворот стамески.
Мастерская работа.
Выйдя из храма, Хрущ точно определил, за какое время он сделает такое же.
В журнале «Аполлон» за октябрь 14 года перечислены семь духов, помогающих иконописцу в работе.
Седьмой — дух Святого страха — напоминает, что ты ничего не можешь (от себя).
Тут же, неподалеку от храма, был антикварный. Хрущик не упустил случая туда зайти.
Он знал толк в старье. Не знал, а чувствовал. С порога он попросил две наполеоновские вазы. По 10 тысяч каждая (это при том, что в кармане нет и на пачку сигарет).
Не смущаясь, со знанием дела, Хрущик рассматривал фирменные знаки. Продавец покрывался потом, когда он их переворачивал, вертел так и сяк, стучал пальцем, прислушиваясь к звону. Заикаясь, Хрущик узнавал, сколько еще таких ваз и сколько еще они будут в продаже. Указывал на трещинку. Другую вазу просил оставить за собой.

Приподнимал шляпу. И мы уходили.

Хрущик знал много фирменных знаков. Старинных. И придавал им огромное значение. Старался коллекционировать. Школу он прошел еще на Староконном. Потом он не пропускал ни одного антикварного.

Как-то я показал ему свои рисунки на металле. Серия разных типов. Из сумасшедшего дома. Всё с натуры. Документ.

Сразу же вопрос: «Какими резцами?».

— Голландскими, — соврал я. — Клеймо — обезьянка в короне.

Хрущик задумался. Такого клейма он не знал. Не сказал ни слова.

А самодельные резцы были куплены с рук в Строгановке.

Как-то отвечал на вопрос о том, как я работаю, одному из искусствоведу (в штатском).

— Выпью полбутылки портвейна — остальное — на холст. Покурю — посыплю сверху пеплом из трубки. Окурком проведу пару линий. Потом все закрепляю лаком для волос «Прелесть».

Лиечка Орлова, добрый ангел и друг московских неформальных художников, многих спасла в 70–80-е годы.

Работая в издательстве «Искусство», она обеспечивала работой и их.

Но в какой-то момент она увлеклась.

И забыла, что сама художник.

Решила посетить свою мастерскую.

Открывает с трепетом.

Видит — кто-то лежит. Мятый.

В невообразимом прикиде.

Быстро вскакивает.

Изогнувшись, галантно целует ручку Лиечке.

И высоким голосом: «Х-Х-Хрущик!».

Что это? Условный знак или ключевое слово? Она не поняла. Она не была в Одессе.

Но запомнила.

После каких-то праздников я был несколько возбужден. Но денег не было. Проходили мы с Хрущиком около памятника. Димитров. Нога вперед. Рука вперед. С кулаком.

Хрущик от кулака в восторге.

Останавливает московскую девицу и интимным полупшепотом: «А что у него в кулаке?».

Но возбуждение не проходило.

И надо было его загасить.

Хрущ все понял.

И повез в метро непонятным маршрутом.

Временами доставал массивную связку ключей. Перебирал.

Спальный московский район.

Многэтажки. Темно.

Куда-то входили.

И на какой-то этаж.

Хрущик ловко открывал замки.

Видно, что место ему знакомо.

Одна стена — золотая черепица икон.

За дверцей стеклянного шкафа — набор бутылок.

Хрущик наливал из лучших.

Особенно коньяк.

Себе ни капли.

— И ты что, уже никогда?

— Нет — если только выбор — петля или стакан.

Сережа Ануфриев однажды имел неосторожность, когда говорил о многогранности души человеческой.

Он сказал (27.6.86): «Человек как граненый стакан, светится то одна грань, то другая. Мерцает то внутренняя, то внешняя. Граней много, и они разные».

Хрущик: «А я как старый алкоголик интересуюсь только тем, что внутри стакана, и мне наплевать, какие грани при этом светятся. Главное — чем стакан наполнен».

Это как почтальон. Неважно, в какую одежду он одет и на каком велосипеде приехал. Важно — какую почту он принес.

В 87 году я сделал не менее трех портретов Хрущика. Возможно, и больше. Но в дневнике зафиксировал три.

2 ноября — на большом оргалите маслом. Парадный. Поколенный.

Шляпа прямая. Трубка.

Дым. Как после битвы полководец.

Но спокойный. Царский.

А 24 декабря еще два Хруща.

Один — небольшой. Меловая бумага. Акварель.

Другой побольше. Красная сангина. Соус черный. Гуашь. На коричневом картоне.

На них редкий вариант Хруща.

В ночном колпаке, высоком, точно у кавказских пастухов. Шерстяном и рваном. В этом колпаке он спал на столлярном станке в ЖСК.

Старенький свитерок с вытянутым воротом. Во рту редкая для Хруща гнутая трубка. Впервые. Жизнь прогнула.

Тоска-печаль всего облика.

Огромная усталость. Бездомность.

Этот портрет сконцентрировал в себе все предыдущие. Всех периодов и состояний. В этом облике Хруща они мелькают мгновенными кадрами, собираясь в один.

Рембрандт. Если бы получилось.

Если мы начинали с Хрущиком ходить по мусорникам и грустными глазами рассматривать хлам — значит, скоро предстоит совместная работа. Внутренний зов. Настало время разбрасывать камни.

Мастерская Васи Рябченко великодушно до утра.
Куски оргалита, картоны от ящиков, столешницы,
дверцы тумбочек и прочая, прочая.
Подходила к работе почти любая поверхность.
Музыка на полную катушку.
Дешевый портвейн. Хрущину — чифирь.
Когда падали сумерки, начиналось действие.
Бралась дверца.
Один из нас делал мазок.
Лучше неожиданный. Невразумительный.
Предоставлял ход другому.
И ответ еще более неожидан.
Ты так. А я вот так. Нищак.
Игра посложнее шахмат.
Но проще, чем перетягивание каната.
Каждую секунду в голове миллион вариантов. Только
выбирай. Лучше такой, какой не ждал ни он, ни ты.
Особенно приятно мазнуть поверх неудачного. Своего
или не своего. Хрясь! — и все разрушить.
По стенам течет краска, лицо в брызгах. Начинаешь
пальцами выявлять пятно.
И вдруг неожиданно какой-то закорючкой объеди-
нять. На разрушенном построить новое.
Разрушить холст и в три мазка построить новый.
А так как критерии и оценки у нас были одинаковы, то
лучшие места мы оставляли. Делать ход только по неудач-
ному. И без обид.
С молчаливого согласия.
Только так вся плоскость действий может прийти к ло-
гическому завершению. К гармонии.
Необъяснимой. Прочувствованной внутренне.
Помню, одна работа явно не получалась. Не находи-
лось решение.
Мы понимали оба, но не обменялись ни словом.

Вообще, за всю ночь не более трех слов.

Понимая, что с этой плоскостью нам не справиться, пишем крупными буквами по всему полю: всё это эстетство.

И это оказалось окончательным решением задачи.

Работа получилась. Состоялась.

Потом шедевры подписывались. Каждый с той стороны, какая больше нравится.

Хрущик заикался: «Все мы х-х-художники. Только один ч-ч-член, а другой не член».

И когда члены правления расселись в автобусе куда-то ехать, и шофер высунулся с криком: «Так куда едем?!» — Хрущик всех оглядел и ответил: «В газовую камеру».

Хрущик был непрост на подъем.

Чтоб куда-то ехать.

Сколько раз слышал, как провожали его на вокзале.

Хрущик со всеми обнялся. Расцеловался. Вошел в вагон. Прошел насквозь.

И вышел через другую дверь.

Смешался с толпой.

Все машут вслед уходящему вагону.

Как-то уговорил он меня ехать с ним в Молдавию. Его приглашали оформить охотничий дом.

Резать по дереву для начальства.

Он почему-то никак не мог собраться.

Не мог один.

И мы даже взяли билеты.

За час до отхода поезда Хрущик штукатурил стену. Потом строгал доску. За двадцать минут до отхода поезда стал ставить чайник. Расставлять чашки.

Он явно не понимал время.

Или не хотел.

Но билеты куплены.

И я стою с вещами на выход.

Пришлось в последний момент вскочить в тамбур. Чтобы перекурить. У небольшого озера рядом с охотничьим домом мы забили по трубке. Молдавия.

И тут Хрущик приметил у воды двух смуглых девиц.

Они стояли невдалеке и сушили длинные волосы.

Глаза у Хрущика загорелись, и он раскурил трубку.

Надел шляпу.

Потом штаны. И заправил цепь.

Майку швырнул в сторону.

Выпячивая грудь как-то петушком, стал укорачивать расстояние. Между ним и девицами.

Когда поравнялся — девицы оказались на голову выше.

Они смотрели сверху на шляпу и хихикали.

Хрущик доверительным тоном им что-то шептал.

Они стали хохотать.

Хрущик показал массивную связку ключей, которые тяжелой цепью свисали с его тощего и жилистого тела.

Девицы уже плакали от смеха.

Хрущик развернулся.

Медленно подошел ко мне.

— Поехали отсюда.

И мы уехали из Молдавии.

Одно время у меня была мастерская на Войковской. Две пустые комнаты. Высокие. Тихие.

На стенах сохнут трехметровые холсты.

Все горизонтальные — «Тело на камнях».

Все вертикальные — «Распятие».

Приезжала туда Рита с маленькой Юлей. Внимательно рассматривали этот экспрессионизм без границ.

Тогда я открывал банку краски масляной. Переворачивал ее на холст, который на полу. И возил по нему, пока краска не кончится. Открывал следующую.

— Ну, как тебе? — спросил Рита Юлю.

— Мощняк, — ответила маленькая Юля и чуть было не заплакала.

(Я еще по Одессе запомнил ее замечательный объект с деревянным бруском и подписью «ЮЛЯЖ».)

Перед моим отъездом в Одессу Хрущик предложил присоединить ключи от этой мастерской к его могучей связке.

Что я и сделал. В тайной надежде — Хрущик будет работать, выйдет на размер, найдет свою тему. А то всё какие-то рыбки, кайфики. И все чемоданного размера.

Материалы есть. Тихо. Светло.

Полы свободны. Соседей нет.

Но через месяц я нашел только пару угольных почеркушек и пепельницу. Переполненную. Не только окурками.

Тяжелыми размышлениями.

Все непросто.

Это не выход из метро. С указателями.

Направо — «выход на тему».

Налево — «выход на размер».

Не станешь же рисовать рыбку в три метра? А почему бы и нет? Смотря как.

А как?

Как-то в конце 70-х была квартирная выставка.

У Хрущика на Чижикова.

Я по всем стенам развесил много маленьких ярких работ.

Красное с зеленым, синим, белым и желтым.

Все на дощечках.

Блестят. Переливаются.

Написаны на густом лаке.

— Сплошное лакомство, — сказала мне тогда Людочка Ястреб. Умела определить точно.

В двух словах.

Но этого достаточно.

Я тут же забросил это сладкое дело.

Но попробовать было надо.

По длинному коридору ЖСК шла женщина преклонных лет с внешностью современной ведьмы.

От нее исходили резкие нездешние звуки. Позывные. Как спутник в космосе.

Но сама она их не слышала.

Звуки издавал ее слуховой аппарат.

В руках длинный металлический штырь. Он выдвигался. Легко вертелся по сторонам. Это Альвика вышла проверить ауру помещения. Астральное тело коридора.

Немного раньше я делал рисунки на репинские темы. Целую серию.

«Астральное тело бурлаков».

«Астральное тело Волги».

Видимо, что-то висело в воздухе.

Однажды Хрущик проснулся в поту. Темно. Над ним стоит Альвика. А перед лицом Хрущика качается и мерцает длинный железный палец. Альвика проверяла ауру Хруща.

Но он был неуловим.

Стрелка прыгала то в минус, то в плюс, издавая космические сигналы. Альвика удалилась.

Этим прибором и таким же манером она проверяла все работы Хрущика. Перед тем как их купить.

И собрала уже много.

Вся отдельная комната в ЖСК была увешана Хрущем.

В рамках. Под стеклом.

Все желающие и платежеспособные приходили посмотреть.

На то, что понравилось, указывали пальцем. Пока Альвики не было. Хрущик тут же доставал работу из-под стекла.

Мгновенно делал копию.

Приблизительную. Похоже, но только издали.

Копию он вставлял в стекло.

Постепенно вся комната была скопирована. Точней — вся коллекция. Альвика не замечала.

При проверке аура оставалась той же.

В оригинале остался лишь портрет самой Альвики. Изумительного мастерства. Такой не подделать.

Но после проверки ауры самого Хрущика он перешел спать в столярку. Спал на столярном станке, завернувшись в тулупчик.

Весь в стружках приходил ко мне пить чай. Только перейти дорогу. Напившись, садился к телефону.

Со всеми, с кем он разговаривал, обязательно договаривался о встрече.

Сегодня. Сейчас. И звонил следующему.

Тоже договаривался.

В другом месте. В другое время. Но сегодня.

Договорившись со всеми, оставлял телефон в покое.

И мы спокойно заваривали чай.

Кастрюлю овсянки.

Доставали табак. Книги.

И до утра.

А если Хрущик уходил, то обычно к тому, с кем не договаривался. Спонтанно. Как в голову придет.

Делал ход неожиданный.

Всех рассыпал вокруг.

Всё разрушал. Все связи.

Потом неожиданным, но гениальным ходом все объединял.

Как в живописи.

Не делал ходов, которые ожидали.

Просчитывали.

Поэтому Хрущик непредсказуем.

Неуловим.

Разве можно его представить с книжкой-календарем, расписанным по дням и часам?

Хрущ — птица вольная.

Мир его ловил, ловил и не поймал.

Хрущ ему назначил встречу, а сам ушел в другую сторону.
Сейчас мир таков, что каждого можно просчитать.
Или каждый себя просчитал и все свои последующие
ходы.

Вольная птица редкость.

Птиц, отрабатывающих траекторию своего полета.
А не в ежедневной борьбе за рыбку голову.

Свобода дорого стоит. И платить нужно собой.

Хрущик обожал женщин.

Всех. Начиная с бабушки.

Она для него как Арина Родионовна и Анна Керн.

В одном лице.

А сам Хрущик для Одессы как Пушкин в иной ипоста-
си. Изобразительной. Пластической.

Постоянно при первом взгляде на его работу хочется
воскликнуть:

— Ай да Хрущик, ай да сукин сын!

Камер-юнкер Хрущик на балу у графа Воронцова.

Нет. Хрущик свободнее. Отвязнее.

Ему, признанному баловню Одессы, надо.....

Как Бенвенуто Челлини. Флоренция. Любимому не-
разумному сыну. Например — памятник-шляпа.

Из суперсплава, как космический корабль.

Как летающая тарелка.

Главное — передать чувство, что вот-вот она внезап-
но оторвется и улетит.

Передать оторванность.

А вообще, Хрущик нездешний.

Помню его любимый анекдот.

Двое бандитов, достав ножи, стоят на дороге и спо-
рят, луна в небе или месяц. Решили спросить у прохоже-
го. Тот, смекнув ситуацию:

— Ребята, я не местный.

Это его позиция. Просто никто.

Просто выбежал пописать.

По паспорту Хрущик был прописан в доме, который 15 лет как снесли. Хрущик пытался делать и мои портреты. Но не мог справиться с натурой. Не понимал. Редькой вверх или редькой вниз. Получалось слащаво. Приукрашено и омоложено. Преподносил в виде комплимента.

Однажды Хрущик долго бился над моим неуловимым обликом. Веер всевозможных поворотов.

Листы разбросал по полу.

Стали обсуждать.

Из соседней комнаты выбегает трехлетний Илюшка.

Начинает по рисункам бегать.

Туда-обратно. Как челнок.

Уголь на листах не зафиксирован.

И рисунки покрываются крошечными пальчиками и пятками.

— Всё. Теперь можно фиксировать.

«Хрущик, — ты гений», — думаю я.

Как Хрущ писал женщин!

Обнаженное тело. Как он его чувствовал!

Чем больше вывернет, тем сексуальнее получится.

Он его знал. Изучал. Понимал.

Не думаю, что он рисовал с манекена, лежащего у него в мастерской на Пушкинской в позе Венеры Джорджоне.

Вот мы в две руки пишем «Кающуюся Магдалину».

Хрущик вывернул грудь Магдалины так, что я ничего не мог дополнить. Но я написал Христа, и он не тронул.

Забавная картинка получилась.

Грудь Магдалины размером во все Распятие.

— Да, Мемлинг, Мемлинг, — как-то особенно задумчиво произносил Хрущ.

И глаза его приобретали такое выражение, как будто он смотрел вглубь себя.

И мне вдруг стало ясно, что во многих работах Хрущика присутствовал Мемлинг. Его утонченность и «изошренность».

В 88-м году Ириш уговорила меня делать выставку.

Натворил много. Разного.

Пора показать. Открыть лицо людям.

Альвика предоставляла две комнаты в ЖСК. За картинку.

Нежилое помещение.

Канторская атмосфера.

Позывные Альвики.

И кто сюда пойдет?

Но помещение не отслеживалось КГБ.

И это был центр Москвы.

Я вяло согласился.

Кое-как разбросал по стенам большие холсты. Маленькие поставил на пол. Ведь самому интересно посмотреть на все это со стороны.

Помню, как увидел по-настоящему одну свою работу только в Шереметьево, когда таможенники попросили несчастного американца развернуть трехметровый рулон.

А я стоял за перегородкой и с расстояния отмечал про себя удачные и неудачные места.

Теперь, когда все собрано вместе и развешено, многое можно увидеть.

Моя предыдущая выставка случилась в детском саду. Бывшем.

Старинный дом. Уютно. Светло. Второй этаж. Во всю стену 6-метровый холст «И смерть убивает смерть».

Он и написан был здесь же, на полу.

Было живо. Толпа. Американка Эн Левит от галереи Мэри Бун.

Какие-то люди из швейцарского банка.

Много молодых концептуалистов.

Они потом и создали здесь свою группу «Детский сад».

Сейчас у Альвики все проходило спокойно.

Но вот является директор Бернского музея фон Тавель. За ним, вернее, по его совету, богатый немец Ланг.

И покупает всё.

Всю выставку. Два зала.

И Хрущик вдруг перестает общаться. Молчит. О чем-то думает.

Я решил, что он хочет процент. Альвика заявила о проценте сразу. Через помощников.

Но всё не так.

Хрущика мучила другая идея.

Творческая.

Все та же — тема.

Своя тема и соответствующей ей размер.

Ни фон Тавеля, ни Ланга на свою экспозицию он не пригласил. Маленькие стеклянные картинки.

Птички-рыбки. Для украшения.

Салон. Хоть и талантливо.

А внутренняя потенция огромна.

И силы еще есть (каких-то 45 лет).

Хрущик чувствовал нутром — срочно надо делать вывод. Но озвучить эту мысль он не смог.

Не было сил. Просто молчал.

Я понял.

Его надо остерегаться.

Он опасен. Непредсказуем.

Все может.

Московский период Хрущик провел в одежде днем и ночью.

Ночью, потому что не спал.

А днем — был всегда готов ко всему, если и засыпал ненадолго.

Не помню, чтоб принимал ванну или душ.

Не то что Руслан Макоев.

(Тот отмывался в ванной часами, и однажды, выйдя, попросил всю оранжевую одежду, какая есть в доме. Ириш ему выдала все, что имелось. И перевела на английский бумагу для Раджнеша. Руслан оделся, взял бумагу, и больше мы его не видели.)

Была у Хрущика мастерская на Пушкинской. Как бы запасная. Секретная.

В центре полутемной комнаты на полу полулежал женский манекен.

Весь в цветных драпировках.

Руки-ноги на шарнирах.

На голове и в нужном месте настоящие волосы. Или очень похожи на настоящие.

Помню в углу тумбочку.

Набита бутылками с вином.

Для гостей.

Рядом на мольберте маленькие портретики маслом.

Тремя мазками прекрасное лицо (жена Аркаши Л.).

В разных вариантах.

Но ничего не закончено.

Все сделано урывками.

Три мазка в три секунды.

Работать здесь было невозможно.

Атмосфера была отравлена манекеном.

Есть мастерские с очень плохой аурой.

Конечно, тип он был отвратный.

Невыносимый.

Вот говорит, заикаясь, какие-то жаргонные словечки.

Хихикает театрально.

Шепчет. Смеется на публику.

Актер, конечно, гениальный. Но что он там себе думает? Где он? Где он настоящий?

При всем том чувствуешь, что в голове у него совсем другое. Какие-то варианты. Он далеко.

И где-то там строятся комбинации на всех уровнях. Как в его живописи. Почему почти что всё ему прощалось?

И на групповых фото художников он всегда в центре. Никогда где-нибудь на заднем плане. Или сбоку.

Попади он в тюрьму, я думаю, было бы то же самое. Сразу нашел бы общий язык.

Сыграл.

Зеки почитали бы его своим.

Да они и считали, раз приходили на Чижикова.

Случайный человек, со стороны, глядя на Хрущика, думал:

«Что за непонятное создание?»

«И откуда он такой взялся?»

А вот ниоткуда. Одесса родила.

И где эта елка, на которую вешались эти игрушки?

И какая она? Его внутренняя концентрация.

Загадка. Как и все его работы.

Другой уровень восприятия действительности.

Другой опыт предыдущих жизней.

И все это чувствовалось нутром.

Хрущик один из редких художников, кто видел красивое в некрасивом. Прекрасное в безобразном.

Во всем огромном диапазоне.

Так работал.

И так жил.

В Москве, в Беляево, был прекрасный выставочный зал. Высокий, просторный. Стены стеклянные. Всегда пустой.

Под ним бункер. Обычный. Бетонный. Коридоры, комнаты, тупики.

В бункере царил Хрущик.

Он был хозяином всех подземных лабиринтов.

И случись атомная атака, все посетители выставки, все любители прекрасного, могли спокойно спуститься под землю к Хрущу и пересидеть у него недельку.

В бункер приходили все.

Чаще ночью.

Днем хозяин спал.

Да и в бункере неясно — день или ночь.

Как под шляпой Хруща.

Бетонные стены. Пыточное освещение.

Работаем на ощупь.

Так, внутренним зрением представляешь, что должно получиться. Вынесешь на дневной свет — и ахнешь.

Состояние в бункере такое, будто завтра с утра должен принять яд. Тебя завернут в твои холсты и сожгут.

В душе что-то дребезжало.

Звенело.

Поднявшись из бункера на поверхность, я решил писать «Царь-колокол».

В натуральную величину. Иначе не зазвенит.

Диптих. Одна часть — колокол днем. Другая — ночью. Но из сколотой части колокола — яркий свет.

Только теперь мне понятно, что это была реакция на бункер.

Писал в выставочном зале, при дневном свете.

И там же, еще мокрые, выставил.

(11 сент. 88 г. открылась выставка «День Москвы». Хрущик решил не выставляться.)

Когда бутылка пива — драгоценность. Как и банка с окурками. Ими я набивал трубку.

— Глохни, рыба, горя хапнешь, — возник голос из будущего.

Звезды были расположены так, что Чистые Пруды казались мутным вермутом. Они были размытыми и счастливыми.

— Праздник одуванчиков, — говорил мой покойный друг.

И чувствовалось Присутствие.

Вздыхнул. Дождь.

Звезды расположены так, и все происходило так. Твоя задача — отдаться этому.

Ты ребенок и понимаешь цветные пятна и линии, которые вне времени. И перед тобой река. А за спиной церковь, мерцающая в зрачках.

Внутри тебя прокручивается исповедь.

Ты готовишься. Может, в последний раз.

Или первый. Это закрыто.

Взгляд скользит по воде, крестам, мелькающим фигурам.

А звезды (в их расположении) вверху.

Помню непреднамеренное убийство мышонка.

В распахнутых дверях с трагическим лицом стоит Хрущик с молотком в руке.

Забивал какой-то щит. Пробегал мышонок.

Рука сработала мгновенно.

Хрущик расстроился — он не успел даже подумать. А точный глаз и точная рука опередили его.

Руку Хруща, его пальцы, надо было видеть во время работы.

Он держал кисть так, что если с нее и упадет капля, то точно в зрачок.

Дурдом на Левобережной. Москва (начало 80-х). Курилка. Окна и лампы в сетках.

В центре — ведро. Туда плевали и сбрасывали окурки.

Все делились на «аликов» и «шуриков» — алкоголиков и шизофреников. Старая гармонь с инкрустацией перламутром и костью.

Все тихо слушают.

«Алик» поет: «Ты будешь уркам клей варить сапожный, а я — шнурками на базаре торговать».

Его глаза смотрят сквозь ведро с плевками.

Другой «алик», совсем юный, со слезами:

— Я скорее хочу вернуться. У меня на столе осталась неоконченная бутылка портвейна.

Я тоже хотел вернуться.

Меня ждала неоконченная мозаика.

Вот и сейчас из разных кусочков-камешков пытаюсь что-то составить. Кусочки все малозначащие. Но вместе могут что-то выстроить.

Какую-то сумму.

Не так важны сами детали, пустяковые случаи нашей жизни, вся мозаичная дребедень. Но они — та атмосфера. Которой уже нет. Тот воздух, на котором все держится.

«Главное не узор, а воздух,
на котором он держится».

О. Мандельштам

Позвонил Шура Ануфриев из какого-то штата Америки.

— Когда я видел в последний раз Хруща, он был мягкий-мягкий, — такой, как в детстве. Тогда он Риту называл — «т-т-тетя Рита» (это потом уже — Р-Ритуха).

Позже он стал жестким, очень жестким. Но я его увидел мягким — наверное, он уже знал, что болен.

Потом Шура сказал:

— Хрущик — это маленький Сычик. Так похожи.

Интересное сравнение, но поверхностное.

На самом деле Сычев — это маленький Хрущик (не смотря на свой рост и вес).

Если их сравнить по количеству таланта и свободы.

Сто двенадцать мгновений Хруща.

Конечно, каждый видел его разного.

По-разному.

У каждого — свой Хрущик. Неуловимый. Ежесекундно меняющийся.

Вот он говорит: «Нищак», — а вот — «Голдяк».

Хихикает. Заикается. Молчит.

Смеется декоративно.

Жокей. Тореадор. Целует ручки.

Оборванец. Бомж. Дамский угодник.

Антиквар. Старьевщик.

Печник. Эстет. Неуч-тонкач.

Лентяй-труженик.

Нищий. Матерщинник. Обманщик.

Без царя в голове. Божий человек.

Изощренно-утонченный. Звериное чутье.

Хам. Пижон. Вор и подонок. Гений.

Птица свободного падения.

И взлета.

— Я потерял в жизни много, а главное — здоровье, — не раз говорил Хрущик, — рассказывал мне по телефону незнакомый женский голос.

— Ночь на 24 октября спал спокойно. В 8 часов открыл глаза. Сказал: «Доброе утро», — и умер.

Любимая тема Хруща — это рыбки.

Он написал и вырезал из дерева их множество.

Я никогда не рисовал рыбок.

Как-то через год после смерти Хрущика прокрывал золотом небольшую рельефную плоскость.

Внизу появилась рябь воды.

А из каких-то затонов выпрыгнула из воды рыбка.

Я только чуть-чуть помог ей. Золотая рыбка в золотом небе. Ее полет описывал омегу.

«Что ты рисуешь лошадь?

Нарисуй хвост — что? тоже не можешь?»

М. Врубель

Вот и я пытался изобразить художника.

Но не могу даже и его шляпу.

Прости.

P. S.

В те годы мы жили и работали, «как на корабле во время потопа — писать и закупоривать в бутылку. Потом прочтут».

А пустых бутылок у нас было много.

Ловля Хруща

Когда Хрущик был совсем маленький и передвигался на колесах, к нему подлетел Ангел и протянул карандаши.

— Б-бабушка, — тоненько засмеялся Хрущик и уснул.

Как можно поймать Хруща?

Какие сети расставить?

Из каких линий, пятен, мазков?

Проведешь две линии — и он между них ускользывает.

Наносишь пятно — и он сквозь него просачивается.

Делаешь мазок — и он за ним исчезает.

Что такое Хрущик — его каждый видел по-своему.

Может быть, такой, а может, такой.

Если же проследить за процессом выявления неповторимого образа Хруща, то скорее видишь, кем он не был, чем кем он был.

Он изменчив
ни застенчивый, ни наглый
ни ударник труда, ни лентяй
ни любимчик союза и фонда
ни пижон, ни шантрапа
вчера он стар — сегодня молод
ни весёло-грустно-задумчивый
разве можно просчитать его алгеброй?
может — так? но — нет
при приближении просматривается
но это не то,
шляпа отдельно не имеет смысла
всё не то, не то,
можно зачеркнуть.
не получилось
его не поймать.
подведем черту



ИЗО

Андрей ГУЩИН

(Киев)

ВЫСТАВКА

(Отрывок из книги «Герой без романа»)

Назавтра Герой решил отправиться в гости к художнику Нивкинду. Тот жил на Подоле. Он заявился к мастеру прямо с утра, как Винни-Пух. Нивкинд, человек вынужденно непьющий, был уже на ногах и трудился. Обследовал купленные на развале окаменелые советские масляные краски. Эркюль горел идеей провести большую выставку, предложив к обозрению фотополотна, объединённые общей идеей с мифологическими картинами Нивкинда. Глаз Нивкинда загорелся:

— С нашим украинским счастьем вряд ли что-то выйдет из этой затеи. Но можно попробовать. А где будем выставлаться?

— А в «Дукате». Там же твои знакомые.

— Вот именно поэтому вряд ли получится.

Приятели не стали давать волю нахлынувшему пессимизму и отправились осматривать интересную локацию — заброшенный завод. Толстые кирпичные стены эпохи развитого социализма. Нужная атмосфера. К художественным съёмкам подключился известный нетрадиционный стилист. Его завиральные идеи пришлись товариществу по вкусу. Нужно было сшить белые полотняные балахоны, обрядить в них моделей, вознестя тех на деревянные пьедесталы, затянутые материей. Помимо моделей пригласили также весёлых балерин из Оперного. Их невероятные балетные па и прыжки на фоне достоверных картин советского упадка смотрелись так, как нужно — свирепо и нигилистично.

Съёмки продлились все лето. Было весело. Завод заволакивало разноцветными дымами. Актёры и постановщики кашляли, но мудро продолжали отчаянный труд. Центральной фигурой выставки стал «Красный Будда». Герой пригласил на съёмки натурщицу, не воротившую нос от стиля «ню». Она кланялась и припадала к стопам огромной картинной фигуры в красных шальварах, навеки замершей в величественной позе лотоса. Как выяснилось, просветление у древних гуров наступало после употребления не запрещённого в те баснословные времена галлюциногенного экстракта голубого лотоса. В разгар одухотворённых съёмок в помещение ворвался жених весталки и учинил небольшую потасовку. Нивкинд, в прошлом мастер по вольной борьбе, без труда вытолкнул разгорячённого страдальца в ветхий коридор и накрепко замкнул дверь...

Прошло время. Слово за слово, разговорились о выставке. «Дукат» предсказуемо отказал, и теперь выставка должна была состояться в музее Шевченко. Что ж, светлые залы, высоченные потолки. Все говорило за этот выбор. Дело было за малым — съездить на Хаджибейский лиман и запечатлеть во плоти гвоздь выставки — ещё одно воплощение Красного Будды. Причём Будда должен быть в женском обличье. Это — против всех канонов. Но тем лучше. Решено было ехать на следующей неделе. Сказано — сделано. И ровно через неделю странная артистическая компания в составе Эркюля, Нивкинда, Вагана и Будды по имени Натали выдвинулась в сторону Чёрного моря, пляжей и лучших в стране виноградников.

Вместе с зарей над морем вставал Хаджибей, блистая на солнце не хуже беломраморных Афин времён Перикла с их портиками и пропилеями. Солёный ветер норовил сорвать старомодную соломенную шляпу с удлинённой головы Вагана. Он придерживал её свободной рукой. В другой он держал архаичный саквояж. Нивкинд с Эркюлем ехали налегке. Будда катила вызывающе красный большущий пластмассо-

вый чемодан. Никто не встречал их цветами. Только часы на фасаде торжественно прозвонили для вновь прибывших регулярную осанну. Хорош утренний Хаджибей. Кроток и свеж, как румяный отрок, ещё не познавший мук любви. Можно резво вскочить в маршрутку, и она повезёт тебя вдоль станций Фонтана к самой дальней и благоуханной 16-й. Там можно будет, наконец, сойти, вдохнуть полной грудью целебный йодированный воздух, выдаваемый без рецепта, и ощутить себя немного счастливым.

Наши путешественники, однако, направили стопы в противоположном направлении — на улицу Еврейская. Там за лётных гостей всегда ждал и стол, и кров. Неля, большая растрёпанная дама неопределённого бальзаковского возраста нисколько не удивилась, увидев на пороге Нивкинды сотоварищи, и немедля предложила им чай с вареньем. Друзья обпились чаем в поезде, поэтому вежливо отклонили предложение. До съёмок было ещё целых полдня. Они решили не терять зря времени. Ходить гуськом было глупо. Засим Ваган с Нивкиндою отправились за шампанским. А Эркуль с Натали решили начать день с ритуального омовения. Благо пляж был под боком. Бдящие силы Понта Эвксинского приняли странников в свои белопенные объятия, окатив первой же волной с ног до головы.

Наконец Будда была запечатлена на цифру и плёнку в лучшем виде. Образность зашкаливала. Девушка в красном коктейльном платье стояла по колено в мутной воде лимана. В руках у неё — два воздушных шарика, неестественно зависших в воздухе параллельно друг другу. Глядя на такое произведение фотоискусства, хотелось искренне медитировать.

Живописец Вайсблат стоял посредине большого зала Шевченковского музея. Вокруг него расстилались фантазматические холсты и огромные психоделические дагерротипы. Складывалось впечатление, что коллективный Тяни-толкай балансировал на грани безумия, а в краткий период ремиссии быстренько разводил краски, протирал линзы и отправ-

лялся на иллюзорную охоту на сирен, валькирий, будд и прочих порождений воспаленного ежедневными медитациями сознания. Нет, к искусству все повешанное явно имело слабое отношение.

Между тем публика прибывала. Деловито сновали телевизионщики. Джордж раздавал интервью направо и налево. Нивкинд был более скуп на слова, лишь изредка таинственно улыбался, как Джоконда. Впрочем, согласно новой теории, нет у неё никакой особой улыбки. Просто так неудачно падают намалёванные да Винчи тени. Но не суть. Вот к Джорджу подошла чернокожая белозубая звезда экрана. Затем последовали победные реляции, выступления перед микрофоном, аплодисменты. И наконец, гвоздь программы — фуршет. Все огрехи были немедленно благодушно прощены. Алкогольное тепло разливалось по внутренностям, и тоска отступала. Кому нужна тщетная погоня за совершенством? Не лучше ли просто дегустировать южнобережный портвейн и наблюдать, как вызревают, наливаются соком, набирают силу и цвет хрустальные виноградные гроздья? Вот поистине достойное занятие для стареющего гения.

Красный Будда грозно и одновременно равнодушно (если такое возможно) взирал на человеческий муравейник. Откуда-то сверху, с музейных колосников ему представлялось, что все эти люди пришли по привычке о чем-то у него просить. И он милостиво удовлетворял самые сокровенные желания беспечных посетителей. И мечты начинали сбываться без предупреждения, помимо слабой воли ходатаев.

Выставка проработала две недели, став настоящим хитом того предгрозового лета. Её даже почтил посещением сам Пчеловод в окружении китайских импортёров янтаря. Впервые за много лет Нивкинд почувствовал настоящее головокружение от успехов...



















**«В каждом из нас есть
что-то от Одиссея, когда
мы ищем самих себя,
надеемся дойти до цели
и вновь обрести родину,
свой очаг. Но, как в
лабиринте, в каждых
скитаниях существует
риск заблудиться.
Если же тебе удастся
выйти из лабиринта,
добраться до своего
очага, тогда ты
становишься другим».**

Мирча Элиаде

